

Енисей

№ 2
2018



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах



Енисей

№2 * Красноярский литературно-художественный
2018 и краеведческий альманах

Михаил ТАРКОВСКИЙ главный редактор

заместители
главного редактора:

Александр Ёлтышев по прозе

Сергей Кузнечихин по поэзии

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр АСТРАХАНЦЕВ прозаик, член Союза
российских писателей

Леонид БЕРДНИКОВ краевед, председатель
историко-патриотического
общества «Краевед»

Иван БУЛАВА прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Марина МОСКАЛЮК доктор искусствоведения, профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный институт искусств»

Михаил СЕВЕРЬЯНОВ заведующий кафедрой отечественной
истории Гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
доктор исторических наук,
профессор

* Красноярск
«Ситалл»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
Владимира Фёдорова «Охотничья изба».

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 4.12.2018

Тираж: 500 экз.

Формат: 70 × 100 / 16

Объём: 17,55 усл. печ. л.

Отпечатано в ООО ПК «Ситалл»:
660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 14
тел.: (391) 218-05-15, www.sitall.com

ISBN 978-5-6041944-0-9

Содержание

ЮБИЛЕЙ

Лев Таран 5

ПРОЩАНИЕ

Помянем с любовью 12

ПРОЗА

Владимир Селянинов

Апокалипсис, белый танец 13

Евгений Мамонтов

Совсем чужие 62

Эдуард Русаков

Шорт-лист 68

Сергей Сутоцкий

Незаконченный портрет 85

Борис Петров

Капли живицы 98

ПОЭЗИЯ

Наталья Ахпашева 146

Татьяна Веснина 152

Николай Гайдук 158

Оксана Горошкина 162

Алексей Козловский 168

Дарья Лысенко 172

КРАЕВЕДЕНИЕ

Альбина Мамаева

Так говорят кежмари 176

КРИТИКА

Евгения Андреева

*Библиотека сказочника,
весёлого и печального* 200

Ольга Немежикова

*«Надо бы вызвать огонь
на себя и выжить...»* 207

«Я всё от этой жизни получил...» 211

Авторы 213

Лев Таран

К восьмидесятилетию земляка

СТРАНА ПРОЗЕВАЛА ПОЭТА

Россия упорно продолжает сорить талантами. Один из лучших, на мой взгляд, поэтов второй половины двадцатого века Лев Николаевич Таран (1938–1994) остался практически неизвестным, непрочитанным, непонятым. У него есть такие строки:

Комсомольцы-добровольцы...
Лагеря в колымской мгле...
Прозевали богомольцы —
Страшный суд был на земле.

Какая сила, какая мощь брезжит в этих строках! Но дело не в этом. Я хочу обернуть их на судьбу автора. Поэты, критики, читатели, окололитературная тусовка... Страна прозевала очень значительного поэта — не побоюсь сказать, в лучших стихотворениях поднимающегося до тютчевского уровня...

Он родился в Красноярске. Здесь окончил школу и медицинский институт. В семидесятых годах перебрался в подмосковный Дмитров, откуда раз в четыре дня ездил на работу. А трудился он дежурным психиатром в знаменитом «Склифе», то есть на скорой психиатрической помощи института Склифосовского. Благодаря этому он хорошо знал всевозможные, в том числе и самые тяжёлые, болезненные закоулки бытия. Но и имел возможность уделять достаточно времени творчеству.

При жизни у него вышли два сборника стихотворений — один в Красноярске и один в Москве. Оба содержат стихи в основном не лучшие, не выражающие самых сильных сторон его огромного, пронзительного таланта. Он был вынужден соглашаться с неудачным отбором текстов и трусливой навязчивой редакторской правкой. В периодике Лев Таран практически не печатался. Малопривлекательные, осторожные подборки в журналах «Смена» и «Юность» почти никто не заметил, да и быть иначе не могло. И всё-таки в Союз писателей Москвы он был принят... Но вскоре ушёл из жизни.

Сердце не выдержало нервотрёпки тяжелейшей работы, да и извечной русской беде был подвержен. Хотя сам выводил из запоев своих приятелей. Написал стихотворение, конечно же, оставшееся неопубликованным:

Слава Богу, что я не печатался,
Не прославился, не преуспел...
Я бы нынче иначе печалился,
По-иному бы думал и пел.
Я полжизни убил над задачником...
А ответ оказался простой:
— Нужно неслухом быть, неудачником,
Чтоб самим оставаться собой.
И, приблизившись к самому краю —
Сентябрю, октябрю, ноябрю,
Я судьбу свою благословляю
И Всевышнего — благодарю.

Я дружил с ним — надёжным мужиком и интереснейшим собеседником, любил многие его стихи. Вскоре после его смерти мы провели единственный творческий вечер поэта Льва Николаевича Тарана. На следующий день я отправился в Дмитров и привёз оттуда часть его архива, который позволила забрать вдова поэта. Через несколько месяцев ушла из жизни и она. Оставшаяся часть архива — неизвестно где. Прошло двадцать четыре года... Всё меньше остаётся людей, которые дружили с Лёвой и знали цену его стихам. Недавно мне стало известно, что его друг ещё по Красноярску, известный ныне писатель Евгений Попов с большим трудом отыскал в Дмитрове заброшенную могилу Льва Тарана.

Мне кажется, что его стихи действительно нужны России и будут востребованы читателями. Он писал методом прямого высказывания, как писали поэты Золотого века. Если бы его щедрее публиковали, если бы он был замечен и прочтён, то, возможно, современная поэзия была бы иная. А разномастные концептуалисты, метаметафористы, мелкие юмористы, герметисты и прочие «исты» не имели бы шансов на успех. И, может быть, интерес к поэзии сохранился бы. И народ не отвернулся бы от поэзии, скомпрометированной всевозможными «Лонжюмо» и «Казанскими университетами». Лучшие стихи Льва Тарана выстраданы, жизненны и обладают огромной силой воздействия.

У поэта после запоя — молодая, горячая кровь...
Верно, правят его судьбою — вдохновение и любовь.
У поэта после запоя — свет не гаснет в окне всю ночь.
И строка бежит за строкою — сразу набело, во всю мощь...
А как падал, как полз вдоль забора — вам об этом знать не резон.
Как, трусливей последнего вора, озирался угрюмо он,
Злой, небритый, в грязной сорочке... А лицо всё в слезах... Ну и пусть...
Вы теперь его светлые строчки повторяете наизусть.

Вадим Ковда

ОБРЫВ

Ничего я собой не значу.
Я во власти грехов и страстей...
Но над бедною родиной плачу,
Над любимой и кровной своей.

Березняк, запорошенный снегом.
Серый мрак вперемешку с тоской.
Я и сам — перемешанный с небом,
Высоко, над замёрзшей рекой.

За рекою холмы и равнины.
Деревеньки темнеют вдали.
Это родины нашей руины.
Их надолго снега замели.

Что там — криков и лозунгов ветошь?
Каждый вздох, каждый шаг — на крови.
Знаю, родина, что не заметишь.
Слава Богу, что ты не заметишь
Эти жалкие слёзы мои.

БАРАК

Что осталось в итоге
для неё? для него?
Разговоры о Боге.
А потом ничего.

Поначалу он верил,
что теперь-то, теперь...
Нежно обнял у двери,
и захлопнулась дверь.

Сука, бл..., недотрога,
одинокая мать...
Что ей нужно от Бога?
Невозможно понять.

Свято верует в чудо...
Эти слёзы в кино...
Постоял он, покуда
не погасло окно.

Сорок лет — слишком много!
Помочился на ствол.
Грязно выругал Бога.
Закурил и ушёл.

ИЗ ШКОЛЬНОГО
ДНЕВНИКА

Захудалая киношка.
На ступенях чёрный лёд.
И кассирша из окошка
два билета подаёт.

Никого почти что нету.
Слава Богу! Высший класс!
Всё казалось: много свету.
Всё казалось: видно нас.

Нам обоим по шестнадцать.
А на улице мороз.
Целоваться, целоваться —
обязательно вчасос!

Нам показывали что-то.
Шевелился луч вверху...
Вдруг — тупая — до ломоты —
нестерпимая — в паху...

Нет, о боли не узнала —
я пошёл её смешить.
Улыбалась, хохотала,
чтобы вновь растормошить.

И оглядывались люди.
Я на вид был слишком смел.
Но дотронуться до груди
так тогда и не сумел.

* * *

Ночь черным-чернёхонька.
Вдруг луна — в проём.
Вспыхнула черёмуха
Дьявольским огнём.

Дикие, порочные —
В дебрях темноты —
Густо заворочались
Дальние кусты.

И сквозь эти скверности —
Сами не свои —
О любви, о верности
Пели соловьи.

* * *

Это было под Тамбовом.
Там мой друг заночевал.
Он приехал с чувством новым,
С новой страстью наповал.

Он приехал, он приехал —
Весь какой-то озорной.
Он разделялся смехом
С петербургской стороной,

С петербургскими грехами,
С петербургскими стихами,
С Петропавловской стеной.

Он сказал мне, что Россия —
Неказистая на вид —
Удивительно красива,
Да не каждый разглядит.

А потом, с лицом усталым,
Он стоял со мной в пивной.
— Мы предатели, — сказал он, —
Нашей силы нутряной!

Я не спорил, я не спорил...
И, просёлками пыли,
Может, мне уехать с горя
В притамбовские поля

И услышать голос крови?..
Лишь одно меня гнетёт:
Прожил друг два дня в Тамбове,
Бабу вы...л — и вот...

* * *

А ведь была душевной связь,
А ведь была духовной.
Когда дочурка родилась,
То связь их стала кровной.

Но плоти всё ж не обрела:
Свет мраком обернулся.
Её дочурка умерла,
А он к семье вернулся.

НА ПОХОРОНАХ СЫНА

Гром грохотал несильно
в преддверии грозы.
На похоронах сына
не пролил я слезы.

Гром грохотал не шибко.
Ползла, сгущалась мгла...
Врачебная ошибка
допущена была...

Когда на край могилы
поставили мы гроб,
во мне хватило силы
рукою стиснуть лоб.

Глядели виновато
товарищи мои
на комья рыжеватой
рассохшейся земли.

Синел расшитый чепчик,
белела простыня.
Лежал он — человек,
похожий на меня.

А туча всё огромней
ползла наискосок.
Ещё одно я помню —
сухой земли комок.

Венки на холмик рыжий
легли, закрыли сплошь.
Гром грохотал всё ближе.
Потом закапал дождь.

Потом — я помню смутно —
заторопились все
к бетонной крытой будке,
торчащей у шоссе.

* * *

Помнишь «Розовый портвейн»?

Пить его — нет сил.

Помнишь, Фридрих Горенштейн

С нами вместе пил?

Говорил он нам спьяна,

Пьяный не вполне:

— Эта гадкая страна

Надоела мне!

Этот запах потных тел,

Этот грязный люд...

Он на Запад улетел

Через пять минут.

Помнишь, правду я рублю

Уж в который раз:

— Вашу прозу я люблю,

Презираю вас!

Он беззлобно хохотал,

Опершись на стол.

Я ему бы в морду дал —

Рано он ушёл.

Ну и что же? Мы живём

В прежней маете.

Так же бережно несём

Все надежды те.

Тот же самый хищный зверь —

«Розовый портвейн»...

Как живётся вам теперь,

Фридрих Горенштейн?

* * *

Я ей твердил: поверь в меня, поверь!
Морозный вечер, лёгкий снег над нами.
Хлопок дверей, и рваный пар, как пламя,
Из магазина вылетает в дверь.
Она в ответ: я никому не верю.
Она в ответ: не веря, легче жить.
..А на плечах её сугроб лежит.
И шапочка мохната, будто верба.

Она в меня поверила потом,
Когда уже ходила с животом.
Мы встретились на улице внезапно.
— Спасибо, милый, если бы не ты,
Давным-давно пришли бы мне кранты,—
Всё это она выпалила залпом,
Моя любовь, мой бог, мой идеал,
Она глядела нежно и призывно.
Но мне она в тот миг была противна.
С тех пор её я больше не встречал.

ПРОЩАНИЕ



Помянем с любовью

25 ноября 2018 года ушёл из жизни поэт *Сергей Лузан*. Норильчанин, тундровик, человек открытой и страстной души, последние двенадцать лет он прожил на Псковщине. Трудно ли ему было без батюшки-Анисея, свободно ли — одному Богу известно. Знаем только, что перед смертью Сергей покрестился. Утрата только-только грянула. Тяжело, собратья... Именно поэтому не в этом, а в следующем номере мы посвятим памяти Сергея Лузана не одну страницу нашего альманаха. А сейчас — как с болью отозвался из Псковщины Валентин Курбатов: «Помянем с любовью!»

Владимир Селянинов

Апокалипсис, белый танец

...Несказанное садистское поведение проявляется в том, чтобы найти беспомощное и незащищенное существо (человека или животное) и доставить ему физические страдания вплоть до лишения его жизни. Военнопленные, рабы, побеждённые враги, дети, больные (особенно умалишённые), те, кто сидит в тюрьмах... все они были предметом физического садизма, часто включая жесточайшие пытки.

Эрих Фромм. Анатомия человеческой деструктивности

В месяц цветения ландышей и дальних перелётов чёрных стрижей, способных преодолеть тысячи километров, за что они заплатили природе своей беспомощностью на земле,— хорошо в этот тёплый месяц лежать сорокалетнему старику у крыльца посудо-хозяйственного магазина. Лежать расслабленным солнышком, посасывая пузырёк голубенькой импортной смывки. Хорошо ему говорить непонятный набор слов, выказывая превосходство над теми, кто перешагивает его. В неухоженной бороде труха, нехорошо штаны испачканы, ботинок у его головы рваный. Кто-то из шутников пару монеток в него бросил.

Да, цвели ландыши, на голубом небе светило ласковое солнышко, но сотни покинутых стрижами нор в стенах недалевого оврага смотрели в небо пустыми глазницами. Нет, не вернуться птицы, прошло время красивых, почти неземных созданий. Не вернуться стрижи к тем, кто и раза не поднялся над землёй.

В один из таких славных дней начала лета ноги лежащего у магазина бывшего советского гегемона перешагнула женщина. Был на ней грязного цвета длинный сарафан со многими значками на нём. На ногах зимние ботинки без шнурков, гребень едва держится в волосах — поседевших и, кажется, давно не мытых. В руках — термос.

Расскажем о ней, главном герое нашего повествования.

Ещё и трёх лет не прошло, как двое её близняшек-грудничков живо сгорели в их только что построенном доме. Нет и ничего не может быть, что могло бы её утешить, потому что никогда у неё не будет пахнущего пелёнками и сосной дома. Никто ей не улыбнётся, спрашивая о здоровье её детей. Не услышать ей тихого посапывания во сне их, откушавших её молочка. А какие же были у неё счастливые глаза от слов мужа, что она лучше всех. А в это время вокруг их

рабочего посёлка — море хвойного леса, уходящего за горизонт. И эта гладь огромной реки, величественно огибающей посёлок!

Три года скоро уже тому, как уютно посапывали носики, был муж, которому хорошо было положить голову на плечо. Казалось, нет силы, что способна разрушить их мир, раньше времени её волосы сделать белыми. А походку — человека, несущего груз. Не забыть ей белое шёлковое покрывало, скрывавшее обгоревшие трупики. И ещё: не забываются, как перст это свыше, чёрные крашенные усы почти незнакомого мужчины с тонкой полоской её грудного молока. Между его сжатых губ — молока, данного природой для продолжения жизни на земле.

Спрятаться, забыть бы лицо мужа — почерневшее, перекошенное от злобы:

— Ты, ты оставила детей одних в доме...

Прямо с кладбища он и ушёл к другой, их поселковой, о которой Варе говорили давно.

— Зачем, ну зачем ты попёрлась к ним, этим соседям, которым ты и нужна, чтобы денег перехватить без отдачи до полочки? — почти на крик он срывался. — Тебе что, в своём доме делать нечего?

Уходя, обернулся он к Варе, стоящей в ступоре у свежих захоронений. Ночью, когда все уснут, когда становится совсем тихо, страшится она вспомнить этот голос.

В те дни прошла борозда в жизни Вареньки, поселковой звёздочки. В прошлом — родные ей запахи, нежные слова, взгляды мужчин, провожающих молодую маму с коляской для двойняшек. И как же весело поплёскивали на солнце спицы у той коляски! Теперь же наступило время, что и в страшном сне ей не могло присниться, время стонов. «За что это мне, Господи?» — терзала себя она, оставшаяся некрещёной. За той бороздой, где ей было так хорошо, а будущее казалось заманчивым, остались цветы, кедры до самого неба и стрижи, чертящие клювами водную гладь реки. Вечерний воздух, насыщенный запахами хвои, трав и реки. И она, такая желанная заезжому молодцу из области, что трясушимися руками расстёгивал на её груди кофточку. Станным, болезненным теперь ей кажется её желание бросать навстречу летящим птицам горсти мелкого гравия. Успеют ли вернуться быстрые стрижи? Их смех остановил только вид стрижа, беспомощно бьющего крылом по воде.

Но они молоды, и они возвращаются в подрастающий кедрч. Густой, и в пяти шагах не видно того места, откуда слышатся их шёпот, сдавленный смех. Их понять можно, потому что кровь в их жилах бежит быстро. Да и будущее обещает быть славным. Их дорога так длинна. Какой запрет на мясо, молоко (через два дня уже Пасха), если всё так хорошо?!

Но случилось; нынешние ночи у Вари длинные, с отрывочными воспоминаниями. Откуда и взялось: вспомнила как-то она

о давнем-давнем разговоре родителей, подслушанном в их уютном сельском доме. Об арестованном старике и его мучительной смерти в их районной милиции. В груди, где бьётся сердце, нехорошо ей стало в ту ночь.

С полгода как умерла, сразу за отцом, её мать. Тихо, почти и не слышно. Попросила обнять, сама крепче прижалась к Варе, всем телом вздрогнула несколько раз. Руки — кожа да кости — тихо опустила, как после тяжёлой работы. Как исполнившая всё, что смогла она в этой жизни.

В большой городской квартире теперь ходит Варя, виски сжимает ладонями, как быть ей — не знает. В окна посмотрит — и там ей неинтересно. На кровати взгляд остановит — тревожно ей от приближающейся ночи.

После смерти матери соседи стряпнёй её угощают. Утешают, советуют — ещё такой молодой, приятной во всех отношениях. Вспоминала одна, дверь напротив, как Варенька, девчонкой ещё, бегала быстро. По ступенькам стучала каблучками — не угнаться! Улыбалась своим словам.

— Тебе же ещё и тридцати нет, — говорила, а в глазах неподдельное страдание. — Мне бы твои годы, — хмыкала ободряюще.

Давние, ещё по институту, подружки как-то пришли. С собой конфетки к чаю у них.

— Хорошие конфеты. Московские, — говорила одна.

И между прочим добавляла, что недалеко от её дома живёт один мужчина-вдовец. Из обеспеченных. Дача. Машина. . . Большая такая, вся блестящая. Глаза шурит, к Варе присматривается. Другая, тоже из студенческих лет, пальчиками в бок ей игриво тычет. Мол, не сидеть же тебе вечной вдовой.

— Есть вариант, — это из школьных подружек, зашедшая по пути, на огонёк. — Вдовец, правда, в годах. Но бодр, дача из красного кирпича. В два этажа, а на трубе петушок крутится от ветра. Туда-сюда, туда-сюда, — изобразила она смешок, зовущий к жизни.

А как-то был ещё вариант.

— Разведён. Двое детей, платит алименты. Ну и что? Немного, в меру, выпивает. Но, если правду сказать, это же много зависит и от нас — женщин. От недостаточного внимания к ним, — вздохнула подружка, у которой тоже была проблема «от невнимания к мужу».

Не забывали подругу и те, с кем она когда-то работала в посёлке. Одна из них как-то заглянула. Мимо проходила, вот и зашла. Бутылка вина у неё в пакете, а у молодого человека букет красивых цветов. Между прочим, молодой человек — лет к сорока, холостой, в хорошем костюме, галстук. . . какой-то заграничный, красивый. Красивая обувь, и как раз к его костюму. Всё при нём.

Чай подруга заварила, глазами раз-другой Варю на букет цветов показывает, пытаясь разговор завязать. И чтоб посвободней он был.

О разном. Но всё более и более оптимизм у подруги какой-то квёлый. Мрачнеет и случайно встреченный на улице мужчина с букетом красивых цветов. Вокруг себя он стал осматриваться. Под кроватью какие-то сумки, чемодан. Кровать неприбранной видит. В соседней комнате огромный стеллаж с книгами. Фарфоровые статуэтки, хрусталь чешский. А напротив его хозяйка — возраста неопределённого, неряшливо одетая. Гости попрощались, повинилась подруга, как бы совершившая что-то непристойное.

А как-то появился дальний родственник. Помнит его Варя ещё маленьким, как он косил одним глазом. Странное он имел прозвище среди своих — Копчёный. Посочувствовал он Вале, поинтересовался, чем занимается, спросил о муже. Долго молчали. Оказывается, родители Вареньки должны ему крупную сумму. Смотрел вопросительно, цифру называя. Деньги у неё тогда были, оставшиеся от матери. Посмотрев косым взглядом на купюры в руке дальней родственницы, кивнул согласно.

Ещё одна явилась. С порога, видимо для острастки, судом стала грозить. Если ей не выплатят компенсацию. Стала показывать свою покалеченную ногу.

— Прошлой осенью повезла я родителям твоим три ведра картошки. Хорошая у меня картошка — адретта называется. А когда стали сгружать, то отец твой — он же старенький, — посочувствовала, — не удержал да прямо мешок-то и на мою ноженьку, — морщится от боли, ступая. — Если теперь денег нет, могу и ваш садово-огородный участок взять. В порядке компенсации. У меня же двое маленьких детей. Мальчик и девочка, — показывает кривую ногу.

От боли морщится. Всхлипывает от горя, двое у неё — мальчик и девочка. Маленькие.

В другой мир стала погружаться Варя, понятный тем немногим, что почувствовали пустоту вокруг. Насколько хватает глаз — пустота, без всякой надежды. Во дворе на скамейках старушки-старички, в магазинах они продукты выбирают, о ценах на них сетуют. Некоторые парами на улицах гуляют. Что-то говорят, могут и улыбаться. А у Вари слёз нет, запах горелого мяса она чувствует, ожесточённое лицо бывшего мужа может вспомнить, ушедшего прямо с кладбища к другой. И эти чёрные усы начальника, приехавшего с проверкой в их комбинат. Кажется, эти капельки молока на его усах скоро сведут её с ума...

Утром надо вставать, что-то же делать ей надо, денег на хлеб уже нет. И ей снова надо идти в клуб букинистов и нумизматов, где её уже хорошо знают. Улыбаются, каждый старается заполучить её первым. Варя понимает: её обманывают, — но сопротивляться нет сил.

С полгода прошло после смерти матери; в один из дней — тусклых, не обещающих ничего, кроме тоски, унылого вида из окна и всё более непонятных ей людей, в незапертую по забывчивости дверь настойчиво позвонили. Не спрашивая разрешения, вошли незнакомые

мужчины. Впереди горбатый. Не сказать, совсем горбатый, а как-то неровно сложен. Под левой лопаткой неровно наросло, потянуло в левую сторону. Но взгляд его был цепким, какой бывает у понимающих наперёд, где та дорога, по которой всем идти надо. Чтоб, значит, не заблудиться. Он кивнул другим, предлагая пройти в комнаты. Хозяйским широким жестом пригласил зашедших за ним располагаться в креслах, на диване. В его руке калькулятор, в другой — папка со многими гнездами для цветных ручек. Таких удобных для формирования товаров по группам и транспортировки по схемам назначения. Едва кивнув Варе, он стал обходить квартиру, как бы уже знакомую ему. Другой, его партнёр, в безупречном европейском костюме, едва перешагнув порог, стал заносить в свою папочку данные о находящихся в комнате предметах. Иногда, довольный, он улыбался себе.

Вошли ещё двое. Первым — высокий, лицо нервное. Почти с порога он стал присматриваться к Варе. Другой, в белом халате, выбрав на столе место для сумки, расположился в мягком кресле, на каком Варина мама любила смотреть передачи о садово-огородных делах. И про бандитов.

Присматриваясь к Варе, высокий шагнул к ней.

— Варенька, — головой скорбно покачал, платочком глаза промокнул. — Я давний друг вашего папеньки, — всхлипнул, обнял по-отечески. Ещё в глаза заглянул, а на его лице — боль от понимания, какое великое горе пришло в этот дом. — Как мы дружили, — тихо сказал, подняв над собою руку. Платочком слезу утёр.

— Ещё с революционных времён, — поддержал разговор в белом халате, а сам всё глядывался в лицо Вари.

От него пахло лекарством. Держал он себя уверенно, даже властно, как это бывает у человека, уверовавшего, что государство оскудеет, как только потеряет его. Даже если он в оппозиции к нему. Его интеллект так высок! Вот почему он поглаживал блестящую бронзовую пряжечку на сумке с медикаментами с подобающей ему величайшей задумчивостью. Изредка посматривал на Варю, как на исследуемый им объект. Как-то особенно красиво, устало он мог откинуться на спинку кресла. А когда вопрос к нему, он мог в ответ так же хорошо ладошку впереди себя выставить, подтверждая несомненность диагноза заболевания.

Послышался звонок, хлопнула входная дверь, в коридоре кто-то засмеялся. Охранник, открыв дверь в комнату, сказал учтиво:

— Проходите.

Вошла беременная, следом — молодой губастый кудрявый мужчина, поддерживающий её за локоть. Он извинился за опоздание, усадил даму на диван, сел рядом и стал нежно поглаживать её руку. — Я так взволнован, что забыл представиться, — продолжил высокий. — Я — начальник департамента адресной социальной помощи нуждающимся Зиновий Филиппович Правдин.

«Что они говорят? Что им нужно?» — подумала Варя, покорно подставляя руку для укола.

— Такой же достойной была и ваша матушка, — говорил начальник департамента.

Он взглянул на беременную, отчего у неё хитринка обозначилась в глазах. Отвлёкся от своих серьёзных размышлений и человек в белом халате, на неё стал смотреть, ожидая, что она скажет.

Беременная, не менее как по девятому месяцу, всхлипнула, платочек к глазам приложила. Нет, это не показалось: по обеим щекам одна за другой стали катиться слёзы. Наблюдая это, Варя почувствовала себя виновной, сидела, как школьница, не выучившая урок. Правда, ещё могла удивиться словам высокого, что её мама умела ездить на лошади, и тому, как её мамочка в Гражданскую носилась по полям сражений на арабском скакуне. И что шашка в её руке, и что: «Бей беляков!» — кричала.

— Бывало, как загнёт трёхэтажным матом, — рассказывал, открыв пошире глаза, начальник департамента, — и нам становилось страшно.

В комнате запах лекарств, а из другой комнаты:

— Какая славная книжечка. В Лондоне букинисты с руками оторвут, — восхищается горбатый. — Где-то, у кого-то хорошо хапнул. Как теперь стали говорить, используя служебное положение.

— О да! — не скрывает своего восхищения партнёр. — Хороших денёг стоит этот антиквариат.

(Странным был этот человек, как оказалось, родившийся и проживший жизнь в России и выучившийся делать акценты в родном ему языке.)

— Не будет ли проблем с реализацией? — слышался натужный голос горбатого, передвигающего что-то из мебели.

Доносились звуки падения на пол тяжёлых книг. (Рукописных, на старославянском. Видимо, из реквизированных.)

— Я — Коваль-Авелев Ираклий Никодимович, — сделав укол, называет себя пахнущий больницей. Наклоняется к Варе, прищуренным глазом наблюдает за ней. — Для вас — просто Ираклий, ведь я вам конфетки приносил, когда вы были малюсенькой, вот такусенькой, — собрал он вокруг глаз морщинки и, делая жест рукой, показал тогдашний рост от пола маленькой Вареньки.

— Да какие церемонии? — удивился муж беременной. — Мы в этой стране почти что одна семья.

И, откинувшись на диване, он устроился поудобнее, как это бывает в театре. Кивнув супруге, он стал наблюдать за тем, что происходит.

Странное имя имел этот человек, пожелавший обменять свою комнату в коммуналке на роскошную «сталинку». Необычной была и его биография.

Его папа, Стенли, во времена сталинского интернационала изъявил желание переехать из США на постоянное место жительства

в СССР. Захотелось ему поучаствовать в грандиозном проекте построения социализма в отдельной стране. Некоторое время он ходил по Красной площади с портретом отца народов, сидел в президиумах на фабрично-заводских собраниях. Ему стали доверять, нет-нет да к микрофону пригласят сказать об угнетённых в Америке неграх. Но что-то не состоялось у него с построением коммунизма в отдельно взятой стране, и после смерти Сталина он запросился снова в Америку вместе с русской женой, уже там родившей мальчика, названного в честь прапрадодины отца Нямбой. Подрастая, мальчик был замечен в желании бузить, за что оказался на учёте в полиции. Юношей был крайне недоволен положением негров в США. Одновременно возмущался нищетой трудящихся в СССР. Как-то даже его рисунок Хрущёва в рубище, но с атомной бомбой на телеге, поместили в университетской газете. Ему заплатили, но показалось мало, за это Нямба назвал редактора скотиной. Только без рога.

Всё проходит, прошли и увлечения молодости. Захотелось Нямбе поработать по-крупному в стране, где стали всё-всё ломать. Запросился он во время перестройки в Россию, где оклады для иностранных специалистов по особому параграфу. Не проработав и двух лет в качестве консультанта в одной из гуманитарных организаций, он получил престижное назначение в Зеленоярскую область, в фирму «Транснациональная компания по мониторингу при производстве канцелярских принадлежностей». Вот почему, одобрительно кивнув сидящей рядом заплаканной даме, он стал зорко наблюдать за тем, что происходит в комнате, где идёт мониторинг обмена его жилой комнатухи на квартиру в центре города.

Сцепив за спиной руки, в задумчивости по квартире прохаживался ещё совсем недавно такой слезливый начальник департамента Правдин, присматриваясь к аккуратности выполняемой работы теми, кто при деле. Прошёл в коридор, где имел серьёзную беседу с охранником. Посмотрел у горбатого некоторые адреса отправлений багажа. Пальцем щёлкнул по адресам в папке, хмыкнул удовлетворённо. Перекинулся парой слов с его помощником, что шебаршил в тёмном чулане. Вернувшись к своему креслу, он в задумчивости качнулся несколько раз с пяток на носки. Смотрел выше тех, кто рядом. Видно, в ожидании он, в размышлениях о судьбоносном.

Трудился и гуманист в белом халате, давший клятву, а теперь аккуратно выполняющий работу по контракту.

— Вчера, уже поздно вечером, мы узнали о вашем великом горе,— наклонившись к Варе, стал говорить Ираклий Никодимович, наблюдая боковым зрением за высоким начальником.— Мы всегда рядом с такими, как вы. Прислушайтесь к нашим советам,— на что семейная пара, покачивая головами, подтвердила и своё согласие помогать адресно.— Всю ночь мы думали, как реально помочь вам,— вступил в разговор муж беременной.— И решили предложить помощь в обмене этой

большой квартиры, недостаточно ухоженной при её размерах, на другую,— он замолчал, смотря на Правдина З. Ф., недавно слезливого, а теперь сидящего в кресле, нога на ногу, с видимым удовольствием раскуривающего сигаретку.— Ну скажите, зачем вам такая большая, вызывающая зависть, наконец?— повернулся он корпусом к двери комнаты, откуда наблюдали горбатый и его компаньон.— Да, у нас есть поменьше, уютная, в индустриальном районе, с хорошо развитой инфраструктурой. К сожалению, и сегодня достаточно семей, живущих в стеснённых условиях,— говорит Нямба Станиславович, муж беременной. Скорбно головой кудрявой кивает.— Как уже говорили, мы живём в одной комнате, стеснены. Первенца, мальчика, ожидаем...

На что его супруга тяжело вздохнула, платочек к глазам приложила. От переживаний руками его мнёт. В это трудно поверить, но из-под платочка тут же слёзка за слёзкой стали течь. Муж к себе её прижимает и сам почти плачет.

«Что всё это значит?»— смотрит на них Варя. Ей так хорошо теперь, как давно не было. И ей жалко живущих в таких стеснённых условиях. Ожидающих ребёночка, которому надо побольше воздуха, места для игр.

— За маленькой легче ухаживать,— говорит горбатый своему компаньону. Погромче говорит, чтоб и другие слышали.

— Поможем,— выглянул из комнаты его компаньон.

— И со значительной доплатой,— Нямба Станиславович ладошки вперёд ещё выставил, тарелочку из них сделал. Покачал ими перед собой, показывая Варе, как много она получит денег в качестве доплаты.

— И в любой валюте,— уточнил тот, что с акцентом, похлопывая ладонью по горбатой спине.— Комната — дай Бог всякому, европейского образца. Магазины разные. Много их — магазинов. Покупай что пожелаешь. А продуктов видимо-невидимо, со всего мира,— говорил убедительно тот, кто в тёмном чулане шебаршил, который с акцентом выучился говорить. И улыбку умел хорошо сделать.

— Мы должны помогать друг другу,— поддержал разговор присловившийся к косяку двери горбатый.

Внимательно слушал каждого начальник департамента адресной помощи нуждающимся, согласно кивал каждому, иногда для убедительности своего согласия он делал жест правой рукой, как отсекал возможные сомнения.

— Мы должны помогать друг другу. Наконец, мы — европейцы,— посмотрела на него беременная.

Платочек мнёт, видимо, от значительности скорого события — обмена своей невидной хрущёвки на большую. С потолками высокими, коридорами просторными.

— Все заботы по оформлению обмена,— из-за плеча горбатого выглянул тот, у которого акцент,— и переезд мы берём на себя,— смотрел прямо — как не верить?

— Не пожалеее, — Нямба из Америки прозрачный пакет с колен берёт, поднимает повыше. Пакет под завязку набит пачками десяти-рублёвок в банковской упаковке. Глаза щурит, улыбается широкоими, как бы вывернутыми губами. Пакет Варе и потом остальным показывает. — Надолго их вам, Варенька, хватит. Надолго.

И улыбается обаятельный мужчина, и исчезает с его лица постоянная ухмылка человека, который знает наперёд, о чём вы подумаете завтра. Лицо широкое, кудрявые волосы с проседью.

Его жена ближе подсаживается к Варе, начинает по плечу гладить. Варя носом хлюпает от большого сострадания к ней. Беременная к себе её клонит, к тому месту, где зарождается новая жизнь. Присутствующие молча наблюдают сцену. Беременная взгляд переводит на высокого начальника департамента, покуривающего ароматную сигаретку, тот кивает ей.

— Как же тебе, милая, тяжело было без добрых-то людей, — глаза закатывает, одной рукой Варю к себе тянет, другой свой большой живот поддерживает, где новая жизнь пульсирует, в новый мир она собирается.

Вот от великого сострадания к ближнему и преждевременные роды начались. Схватки у неё! Стоны всё громче, протяжнее. Скорую умоляет вызвать. И поскорее!..

Её муж почти в безумном состоянии, за Варины руки хватается, о большой доплате при обмене уверяет. Роженица стонет тяжко, стон переходит в крик. Под окнами начинает реветь скорая. И всё громче — кажется, она уже в квартиру въезжает.

Неожиданно на лестничной площадке послышались голоса, сдавленные крики, и в комнату, минуя охранника, ворвалась соседка. Та, что приносила Варе домашнего приготовления пирожки. Она, наконец, хотела бы сказать... Но руководитель департамента адресной помощи остронуждающимся, а в прошлом и лихой кавалерист, подскочил к ворвавшейся в квартиру бабе, хорошо толкнул её в грудь. Крикнул: — Охранник!

После небольшой схватки в коридоре на лестничной площадке послышался звук падающего тела.

— Пардон, мадам, — сопроводил падение охранник.

Причём сказал он это с настоящим английским акцентом: «Падэн, мадам». Чувствовалось, чувствовалась среда, в какой он воспитывался. — Случай заболевания тяжёлый, — сказал Иракий Никодимович, кивнув в сторону входной двери. — А вам, Варенька, не стоит так близко принимать к сердцу эту неразумную женщину. Она же зашла на наше поле, — с укоризной в глазах он посмотрел на дверь. — А как вы-то, как чувствуете после использования нами проверенных заграничных лекарств? — спросил озабоченно Коваль-Авелев Иракий Никодимович. — Если головка и болит, то это проходит быстро, — ещё гладит у Вари плечо.

На неё посмотрел — лучиками морщинки вокруг глаз.

Варя находилась в приятной полудрёме, когда к ней подсел ближе обменщик афроамериканской наружности и стал говорить о необходимости срочно подписать бумагу по обмену квартиры. Тыкал пальцем, где подписать, улыбался, радуясь за Варю. Ещё сильнее стонала роженица, умоляя быстрее подписать; под окном ревела скорая. В белом халате Коваль-Авелев по головке гладил Варю нежно. А ей так хотелось прижаться к этим милым людям, и чтоб побыстрее разрешилась бременем роженица. Как же она страдает...

— Варенька, не подписывай никаких ихних бумаг, — донёсся с площадки голос соседки. (Из каких-то северных народов. Последний год она с матерью дружила. Любили обе вспоминать. Со слезой.) — Тебя дурят, — послышалось с площадки прежде, чем захлопнулась дверь.

На это специалист по оказанию срочной помощи остронуждающимся, находясь в одном из мягких кресел, изобразил из своего маленького кулачка пистолетик и, направив его в сторону представителя малочисленного народа, сказал:

— Пиф-паф.

Довольный шуткой, он рассмеялся и, сделав серьёзное лицо, предупредил охранника, чтоб, значит, тот не пускал местных дебилов.

— Тебе за что деньги платят?! — и это уже с угрозой.

Незамедлительно послышался глухой удар, а потом и звук падающего тела на железячку «радиатор М-140», расположенную на площадке ниже. Там послышались возня, стоны, хлюпанье носом. А пусть знают представители малочисленного народа, что бывает с теми, кто мешает инвестировать транснациональные компании. Пусть помнят: есть у власти сила, достаточно у неё радиаторов марки «Москва-140». На всех этих малочисленных эвенков хватит. Да и другим не покажется мало!

На этом борьба с хулиганами, имеющими низкую социальную ответственность перед обществом, закончилась. Правда, уже под занавес ещё кое-кто захотел своё благородство выказать.

— Это, матушки мои, что же вы делаете?! — послышался дребезжащий голос соседа-скрипача.

Видите ли, из областной филармонии он. Как не заявить о себе?

— Тебя дурят, — ещё одна, этажом ниже живёт.

Слышно плохо через закрытую дверь. Да и говорить она стала тихо последний год. Внук у неё повесился в армии. Но скажем честно, как оно было: привезли его в хорошем гробу, похоронили по-человечески. Одет, обут — всё по-людски.

— Милицию надо вызвать, — встревает скрипач.

Бородка седенькая, клинышком. Взгляд задумчивый. Зря, конечно, он встрял: люди работают, у них процесс пошёл, а он?..

— А зачем вызывать? — открыл дверь охранник.

Спокойно спрашивает. Из своего пошитого заграничного костюма несколько разноцветных удостоверений достаёт. Пальцами перебирает, как из колоды, нужное ему достаёт.

— Пусти-ка на минутку, — вставая с кресла, охраннику говорит Коваль-Авелев, свой халат белый без единого пятнышка, поправляет. — Того, у кого голос старческий, хочу посмотреть: как он до такого возраста дожил, а умом — ребёнок? Строитель коммунизма хренов.

— Милицию надо вызвать, — входит в комнату знаток всяких Сибелиусов и Сен-Сансов, к обстановке присматривается. На белом халате взгляд останавливает.

— О, да мы уже и не понаслышке знакомы со старческим маразмом-то, — совсем к лицу наклоняется поклявшийся Гиппократу. — Бессо-вестный, — тянет слово он.

— Но как же? — что-то пытается возразить ему старик.

Да, видно, сробел интеллигент, глаза свои бесстыжие не знает куда деть. У порога комнаты стоит, с ноги на ногу переминается, как ему быть, не знает.

— Идите! Идите и по капле выдавливайте из себя раба, — выказал Коваль-Авелев признаки интеллигента. — Потолерантнее надо быть. О традиционном гостеприимстве русского народа не надо забывать. О бескорыстной его помощи другим, — говорит вслед уходящему «Сибелиусу и Сен-Сансу».

Улыбку делает кривую, символически плюёт на то место, где стоял старик, возвращается к своему креслу. Много ли проживёт музыкант после такого-то стыдобища? Обласканный прежде дипломами, престижными поездками по стране.

В квартире устанавливается рабочая обстановка. Слышится тихий, убаюкивающий голос Коваль-Авелева Ираклия Никодимовича — специалиста по капелькам. Постановивает беременная. Положив ногу на ногу, колечки дыма сигареты пускает в потолок главный начальник по состраданию Зиновий Филиппович. Как бы в ожидании он. Из соседней комнаты слышится передвижение мебели. Называются цифры, адреса складов. На непрозрачных мешках — бирки, пломбы. Там старинные книги на старославянском. Начальник департамента в креслах, усталые глаза его прикрыты набрякшими веками. Сигарета дымок пускает из откинутой в сторону руки. На столе покоится «Гиппократов» портфель, очень даже заграничный. Холёными пальцами его хозяин по столешнице перебирает. Начальник департамента кому-то звонит, иногда ему звонят. Он им, как это бывает в военных кинофильмах, себя «третьим» называет.

— Звонили, — говорит он в другую комнату. — Минут через сорок обещали вернуться. Главное, подписали. Какие-то ещё дополнительные бумаги надо составить.

Пожевал губы. Из Варинной чашки, расписанной гжелью, глоточек кофе сделал.

— Одиночество среди людей — тяжкое бремя цивилизации, — говорит по телефону кому-то, скорбно покачивая головой. Глаза прикрывает от тяжести того, что он видит. — Не мешайте нам работать, — отчитывает кого-то. — Не нарушайте право человека распоряжаться своим имуществом. Да, всякий раз, когда нам становится известно о нарушении прав человека, мы рядом.

На Варю посмотрел. Как она глазки в заторможенном-то состоянии открывает; умилился этим. Плеча её коснулся, как это бывает, когда человеку доверяют.

В дверь позвонили. Вошли двое: незаметно исчезнувший муж беременной — обменщик и... какие бывают среди особенно чистых. Ни единой складочки, ни пятнышка на его одежде; свежевыбрит, хорошо причёсан. Явно он с претензией на право требовать аккуратности в работе и чистоты помыслов у подчинённых ему людей. Безусловно, со знанием дела подобранных.

Пока вновь прибывший, а судя по осанистости — важный гость, изволил пользоваться туалетом, сопровождавший его губастый обменщик спешил сообщить Правдину об успехах и мелких-мелких помехах, легко устранимых.

— Всё хорошо, — докладывал, — только бумажку одну надо поправить, — на стол бланк с цифрами кладёт. — Много времени ушло на то, чтобы убедить уважаемых людей, что клиент подготовлен достаточно. И что специалист у нас самый-самый, — на доктора посмотрел, а потом на Варю. — Я говорил о нашем полном понимании, как много нынче крикунов — радетелей России. Из-за куска земли порвать готовы. О возможном резонансе в прессе.

После продолжительного пребывания в туалете к ним неспешно подошёл, потирая руки, как это бывает с мороза, по-особенному чистый. Оказалось, человек он весьма известный, из крупных юристов, — Сиринов. Поговаривают некоторые о возможном его скором отъезде в Москву. И вопрос уже почти решён о его высоком назначении. Вот почему ещё в коридоре сам Зиновий Филиппович помог снять с дорогого гостя длинное пальто и долго тряс обеими руками его мягкую ладошку. Услужливо предложил располагаться в роскошном кресле из натуральной кожи, с которого он совсем недавно пускал колечки дыма от сигареты известной фирмы. Тот же в ответ только кивнул на это. И попросил на хорошем английском Нямбу Станиславовича приготовить ему кофе мелкого помола. А такому учтивому Правдину он начал говорить уже по-русски. Жёстко, иногда и по слогам, как недопонимающему многого.

— По дороге сюда Нямба Станиславович мне говорил, — он кивнул в сторону кухни, — что обкатка нашей новой системы прошла хорошо. Но вы включили старый, уже давно используемый вариант с комиссарами, их кожаными куртками и маузерами, — непродолжительно задумался. — Нет, не надо. Не надо повторяться.

— Мы, Роберт Робертович, только ещё собирались, — стал оправдываться Зиновий Филиппович.

— Не надо собираться, — властно оборвал юрист-законодатель. — А вот, как говорил мне Станиславович, — он кивнул на вернувшегося с подносом, — вы придумали нечто новое, весьма свойственное русскому, — награждения. Если у вас всё готово, извольте показать.

Из соседней комнаты наблюдали двое, в коридоре тихо поскрипывали половицы под тяжестью упитанного охранника. Варя голову поворачивает к тому, кто говорит. Ей казалось, что она смотрит спектакль, в котором ей иногда приходится играть роль. Голова её была тяжёлая, большая, боль виски стала сдавливать.

Далее случилось то, что не всякому фантасту под силу. Правдин поворачивается к большой сумке у стены и кивает Ираклию Никодимовичу помочь ему в переодевании Вари. Из сумки он вынимает большой сарафан неопределённого цвета, а из портфеля — одну за другой разноцветные коробочки. Лицо его всё торжественнее, подбородок повыше. Варю, едва поднявшуюся с дивана, просит слушать внимательно-внимательно. Запомнить об этом на всю-всю жизнь. Рядом с ней становится супруга Нямбы. Она, только что благополучно разродившаяся подушкой, не стесняется этого. Как не стесняется актёр своих накладных усов после спектакля. Ухоженными пальчиками она крепко держит своего партнёра, вставшего рядом, за брючный ремень. К себе его притягивает. На это Станиславович скромно улыбается, смущаясь присутствия областного законодателя. Из соседней комнаты вышли горбатый со своим компаньоном. Найдя место, где сесть, они стали молча наблюдать за происходящим, временами переглядываясь между собою. Их лица выражали удовлетворение происходящим процессом. Трудно сказать, кто в этой квартире был главным, но одно несомненно — союзники они все, компаньоны, занятые одним делом. Как принято говорить на воровской малине: карта их в масть пошла.

От этой «масти» у Вари в голове — и самой трудно понять что. Мешанина какая-то. От «кто эти люди и что им здесь надо?» до полного удовлетворения тем, что происходит. Вот стоит она в ожидании, пока Ираклий Никодимович с Правдиным переодевают её в чей-то сарафан. И её это не раздражает; не удивляют и крепко привинченные к нему какие-то значки.

— Родина-мать награждает вас, — торжественно объявил начальник департамента, — награждает вас за проявленную крепость духа орденами.

И, повертев перед лицом Вари изначально пустыми коробочками, он положил их обратно в сумку у двери.

— И все первой степени! — радостно вскричал Никодимыч.

Старенький уже, а как задорно он сверкнул глазами.

— Слава! — крикнули супруги.

— Слава, — поддержали их другие.

Стали хлопать. Варя улыбалась.

— Думаю, достаточно, чтобы осталось в памяти её, — повернулся областной чиновник к Ираклию Никодимовичу — человеку в белом халате. — Надеюсь, до этого не дойдёт, не потребуется какому-либо придурку дополнительная экспертиза в Институте Сербского. При вашей-то богатой практике, — кривя губы, сказал он врачу.

И продолжительно посмотрел на «третьего», но главного здесь по адресной помощи и правовой защите объектов приватизации и обмена. — Да хоть в Страсбургском суде докажем, — ответил темпераментный психиатр. — Шизофрения у неё! Шизофрения малопрогрессирующая с галлюцинаторно-бредовыми приступами.

На этом и закончили уважаемые люди своё совещание. Собирались не спеша, как это бывает после трудной работы, окончившейся на «о'кей».

— Да смотрите, — напомнил Правдин, — чтобы из её старой одежды не уехало что-нибудь вместе с ней, юродивой, — добавил с удовольствием. — Ничего из её вещей, кроме самого-самого необходимого, — предупредил. — Пожалуй, это всё. Поехали? — спросил у чиновника.

С этим вопросом и в соседнюю комнату заглянул к горбатому, вернувшемуся закончить «шмон» по антиквариату. Из тёмного чуланчика для всякого старья выглянул его помощник, шебаршивший старыми бумагами с грифом «Секретно».

— Угу. Заканчиваем, — и постучал тонкими пальцами по книге учёта с бумагой кремового цвета.

— Ну вот и ладненько, — улыбнулся заготовленной шутке специалист по адресной помощи. — С этого и начнём новую жизнь наших варвар, — и, кивнув в сторону двери: — Пусть заходят. Зови, — распорядился.

Зашли трое рабочих; на голубых комбинезонах: «Адресная помощь нуждающимся». Они брали накладные у горбатого, а его помощник делал пометки в журнале.

— Процесс пошёл, — говорил горбатый, потирая руки и подмигивая выносившим мешки с имуществом из дома Вари.

Родительскую одежду, приличную одежду Вари они заталкивали в мешки с надписью «Мусор». Рукописные книги на старославянском, архивные документы из спецотдела милиции, отрывочные пояснения отца о его работе в органах укладывались в специальный ящик с латинскими буквами по бокам. Чувствовалась квалификация прибывших из департамента адресной помощи. Едва ли прошло более четырёх-пяти часов, как они зашли в квартиру, и вот они уже заканчивают адресную помощь.

Смотря перед собой, в сопровождении своего телохранителя и такого услужливого Зиновия Филипповича, не смотря по сторонам, прошёл уже известный в московских кругах крупный законодатель.

— Сирин, — шёпот восхищения послышался из толпы.

Какие-то из узнавших о его приезде подскочили к машине, чтобы открыть ему дверцу. На это законодатель, сверкнув очками, кивнул благосклонно.

Двое из тех, кто пришёл посмотреть большого начальника, подошли к его машине о чём-то просить. Мужчина держал за руку мальчика лет трёх, и, видимо, его жена с двумя совсем маленькими на руках. Женщина стала говорить, на что Сирин сделал выражение лица: «Как мне работать с ними? — выше голов собравшихся стал смотреть по сторонам. — Ну проходу же не дают», — отвернулся. Женщина стала плакать, захлюпали носиками маленькие на её руках, а глядя на них — и мальчик лет трёх. Из толпы вышел мужчина — невидный такой, как все, он, — и стал разъяснять, куда надо обращаться с просьбой.

— Есть же порядок, — говорил, подталкивая её уйти с дороги. — Есть же регламент, — объяснил.

Да, помощник у известного законодателя был хорошо осведомлён о регламенте. Школу он прошёл, руководимый настоящим до мозга костей юристом. Не побоимся сказать — международного уровня. Закончившего в порядке обмена студентами, в советское ещё время, один из лучших университетов мира — в Оксфорде. И теперь, прощаясь, он имел право со знанием дела наставлять Правдина.

— И потом... — в хорошей задумчивости он протирал очки специальной тряпочкой. — И потом, по информации Нямбы Станиславовича, а он, как вы понимаете, мониторит не по пустякам, нет органики в переходе одной сцены в другую, — совсем негромко говорил он, куратор проекта, облокотившись на открытую дверцу автомобиля, надевая очки и устремляя свой взгляд на подрагивающее веко на нервном лице Правдина. — В этой непростой для него обстановке не пренебрегайте игрой актёров второго плана. Работайте по системе Немировича-Данченко. Владимир Иванович понимал в полной мере, как создать образ героя-чудотворца. Плавно, незаметно для зрителя, — поучал он голосом тихим, как бы размышляя о непростом времени на дворе. — Отпустите с Богом на покой горбатенького и его помощника, — продолжал он в той же задумчивости. — Они имеют право на достойный их отдых.

С осторожностью погрузив своё негрузное тело в недра автомобиля, он начинает думать о концентрации финансовых ресурсов области на реализацию крупного проекта. Очень крупного, как это любит народ. Хорошо, если бы одобренного Самим...

Из маленькой упаковки Сирин вынимает влажную салфеточку с ароматом какого-то фрукта. Долго вытирает ею правую руку. С брезгливостью на лице он нюхает смятую бумажку и выбрасывает комочек в окно автомобиля. Не меняя выражения лица. И в этом чувствовалась его порода. Его закваска...

Да, Роберт Робертович был сыном крупного советского учёного, почётного доктора философии одного из европейских университетов. Он был одним из известнейших поборников гуманистического психоанализа, он мечтал с помощью средств массовой информации о создании в СССР нового человека! Не такого, каким он был всё время... Помешала перестройка. Но одно из учреждений этого профиля теперь заслуженно носит его светлое имя. А совсем недавно в газете «Наша область» была статья о значительности вклада Роберта Робертовича Сирина-отца в сокровищницу мировой науки о психоанализе. Там какой-то учёный профессор предлагает наградить доктора философии посмертно второй Звездой Героя Соцтруда. И увековечить имя монументально.

...Быстро мчится машина Роберта Сирина-сына мимо площадей и скверов. Нет-нет да мелькнёт там памятник какому-нибудь человеку-легенде из местных. «Сегодня стране нужны герои на белом коне... А на рутинной работе, как на кривой кобыле, далеко не уедешь... Остальное спишется», — отворачивается стратег от вида неопрятного мужика, с трудом удерживающего пьяное тело. Одной рукой слёзы умиления по щекам размазывает, другой за ногу «легенды» он ухватился — не упасть бы ему.

Зиновий Правдин долго смотрел вслед машине фактически незнакомой ему марки. И всё явственнее проступали на его лице черты человека, уставшего притворяться. «Народ должен созреть», — вспомнил он ключевое выражение, услышанное им от того, что только что отъехал в автомобиле, изготовленном далеко. И не может он понять, радоваться ли ему от своей причастности к «созреванию народа». Стало грустно ещё не утратившему ностальгии по прошлому.

Подошедшим к нему горбатуму и тому, кто любил шебаршить по тёмным чуланчикам, Правдин крепко пожал руки и совсем по-братски обнял их. Прощаясь с недавно беременной, сердечное спасибо сказал. Очень даже продолжительно посмотрев в глаза Нямбе Станиславовичу, он долго тряс ему руку. Последним обнял пахнущего лекарствами. Кажется, не совсем искренне. Быстро отвернулся. Но, сделав несколько шагов, обернулся к Ираклию:

— А вы, любезный, надолго не отлучайтесь. Народ нуждается в царе, — и, подумав, добавил: — Как и в плохих боярах. Вам придётся работать и работать в средствах информации, — ещё подумал, сардоническую улыбку сделал на нервном лице, — при вашей-то квалификации.

И от этих слов улыбка сходит с лица, к Ираклию он присматривается, если не сказать — взглядом впивается. И всё более безразличности на лице. Казалось бы, ему ли безразговать-то?

В сопровождении охранника последней вышла Варя. Соседка, что умеет печь очень даже славные пирожки, плакала. Старичок, отмеченный значком с изображением золотой скрипки, покачивал головой скорбно. Морщился, поглаживая что-то под пиджачком,

видимо, гематомку, какую получают распутившиеся деклассированные элементы, позволившие себе поднять руку на представителей государственных социально-ориентированных структур.

Езда заняла часа полтора, впереди на «вольво» расположились Правдин, охранник. Ещё какой-то, видимо, из спецотдела по обмену. Лица у всех усталые, несмотря на непродолжительность их рабочего дня. Дважды на «красный» проехали, подав сигнал и включая маячки. Варю с каким-то охранником разместили в кабине «воровайки». На её коленях сумка с пачками десятирублёвок вперемешку с двумя-тремя пачками пятидесятирублёвок. Из нагрудного кармана сарафана явно слишком на виду торчала сторублёвка. Ехали молча. Думала ли эта ещё не старая женщина о том, куда её везут и что ей приготовили эти люди, утром ворвавшиеся в её дом, наговорившие ей много и разного, так что она, не успев опомниться, оказалась в положении пассивного наблюдателя? И потом, она ещё не отвыкла, что кто-то беспокоится о ней. Теперь в её воспоминаниях только отрывки сегодняшнего дня, которые она если бы и захотела соединить в единую картину, то уже не смогла бы. И не было никакого на это желания у неё — двадцативосьмилетней. К тому же у неё снова разболелась голова, стало подташнивать.

Часа через полтора машина остановилась на окраине посёлка с типовыми панельными домами. Рядом сквер с серым полусохшим кустарником. Из машины вышли рабочие, чтобы убрать с дороги перевернутый мусорный бак. Небольшая грязная собачонка огрызулась, отбежав, затыкала.

Стали выходить из машины; впереди Правдин. Грузчики, не мешкая, сняли с «воровайки» немногие вещи. Подъезд Варю показался знакомым, как будто она уже видела эти отвалившиеся от стен куски штукатурки и рыжую грязную кошку у двери. Странно, но не иначе кошка эта тихо, чуть слышно мяукнула Варю. Да, казалось, такое уже было у неё, только очень давно.

Соседи коммуналки (на четыре хозяина) сгрудились в коридоре. Стали присматриваться к новой соседке. Между собой переглядываться. — Что же это будет? Она что у вас, с приветом? — спросил один, не в меру осмелевший.

Тревожно ему за сына-несмышлёныша. К себе его прижимает. — Не твоё собачье дело, — спокойно ответил крепкого телосложения мужчина, одетый в голубой комбинезон грузчика.

Он крепким кулаком правой руки звучно шлёпнул в ладонь левой. — Смотри, ты у нас тут не балуй, — пригрозил.

— Держись, сестрёнка, — проходя к выходу, наклонился к Варю другой грузчик.

Пахнуло духами, из недешёвых. Как бы из бывших военных, в запасе он. А на что, собственно, намекал, если для Вари большой пакет с деньжищами в прикроватную тумбочку едва-едва вошёл? Тяжёлый такой, чего ей тревожиться?

В пыльной комнате, с одним невымытым окном в сторону умершего завода, оказалась женщина. Совсем одинокая, на вид — за сорок. Вокруг неё на полу сумки с посудой, узел из оставшегося ей имущества. За окном через запущенный сквер видны заводские трубы, взметнувшиеся высоко, а и малого дымка из них не видно. Из больших ворот, с изображением мускулистого рабочего, улыбающегося счастливо, большущие грузовики, крытые брезентом, выезжают. Из окна просматривается сквер. Слабый ветерок шевелит обрывки газет, пакетов, а на бетонной стенке скамейки, недалеко от её окна, трое мужиков сидят. Что-то эмоционально обсуждают. На сиденье с редкими брусочками на нём — газета, на ней остатки огурца, булки и селёдки. Под сиденьем — опрокинутые бутылки, в определённых кругах называемые «огнетушителями». Унылый вид из окна. Варё этих мужиков стало жалко. Время к вечеру, пасмурно, обрывки газет, яркие упаковки рекламы в сторону Вариного окна машут. Как же ей грустно... Так бывает у человека на душе, когда он живой, а будущего нет. Комнату она взглядом обвела. Кажется, сам воздух вокруг пропитан безысходностью. Не на чем ей глаз остановить, на каком предмете его задержать. — Он — гений, — убеждала кого-то на кухне женщина. — Когда он пришёл в мой творческий кружок, я сразу поняла: он гоним толпою! Да, выпивает, но он обещал мне «завязать» с этим. Я вам гарантирую, он никогда больше не станет приставать к вашему мальчику.

Другая грозит в ответ:

— Ещё раз — и под фанфары загремит.

По коридору пацанёнок пробежал, лопоча о своём, детском. И от его смеха ей не легче. Предчувствует она дурное, что непременно случится скоро. Невыносимо тяжело ей услышать детский смех — как напоминание о своём нынешнем одиночестве, которому нет и не может быть конца.

Но вот Варя, опустившись на колени, смотрит на голубенькую, в цветочках, кастрюльку. Остановила взгляд, посмотрела выше, и на лице всё больше беспокойства от воспоминаний. Её подбородок... На нём обозначились маленькие бугорки, ямочки. Мелко подрагивали они, перемещаясь выше, становились морщинками. Лёгкое подёргивание кожи пришло с подбородка, задрожало под нижним веком, оно увлажнилось, обозначилась капля. Вначале робко, а потом всё увереннее она стала спускаться к дрожащему подбородку. И всё это оттого, что очень давно, кажется, ещё в начальных классах, в кастрюльке этой мама делала настой трав для лечения горлышка у Вареньки. Нет, никогда уже никто не будет настаивать кому-то травку для лечения детского горлышка! Дрожащими руками она стала размазывать по щекам слёзы.

Два дня прошло в отрывочных воспоминаниях на диване, прежде чем она стала разбирать свои вещи. Сходила в магазин — самый близкий, в трёх кварталах от её нынешнего жилья. Какой-то хлеб купила, ещё что-то. На общей кухне с соседкой-старухой поздоровалась,

в цветастой кастрюльке чай заварила. В своей пыльной комнате стала бутерброд кушать. Как бы с сыром он. Кто-то в коридоре сказал что-то. Как на другом конце земли сказал. Обречённо смотрела Варя на вещи, сумку с надписью на иностранном, пока не стала различать среди них давнишнюю шаль, модную в те давние годы, когда мужчины провожали её взглядами. На стол бутерброд отложила, рот открылся, показывая неразжёванное. Припомнились отец, мать, так радовавшиеся её первенцам. Ещё полчаса назад ей казалось: тяжелее на душе уже быть не может.

С соседями отношения сразу не заладились. Сторонятся в коридоре, молча провожают взглядом. Хотя Варя при встрече первой старается поздороваться, на кухне всякому место уступит. Крышкой не стукнет. А ей через неделю: «И откуда она взялась на нашу голову?» — или: «Как же нехорошо после неё в туалете».

— Густой такой запах, — поддерживает разговор, услышанный от своих родителей, мальчик шести-семи лет.

Не прошло и месяца, как он стал показывать язычок в спину Варе. А ведь ему галстук-бабочку родители повязывали на белую рубашку, провожая в танцевальный кружок. Те родители, после которых в туалете устойчивый запах фиалок. Рубашечка с рюшечками, а обувь у мальчика чистая, блестит. Как могла его бабушка удержаться, не высказать своего негодования по поводу неаккуратно поставленной на общий стол кастрюли?

— Ты, ты — ду-ра! — рука у бабушки стала трястись сильнее.

Лицо покраснело от праведных негодований. Как было не прикрикнуть, если её семья как семья, а тут?.. Да что там говорить, много, много имеет их семья. Компьютер уже сын приобрёл. Последней модели. Об айфоне её невестка Гульнар подумывает.

И ничего нет в этом особенного, если её внучек шалит: шваброй, что в туалете, дверь «этой» подопрёт. Язычок показывает, фигу (пока ещё в спину).

Всё меньше Варвара обращает внимание, во что одета, зашнурованы ли ботинки. К наградам, намертво привинченным, почти привыкла. Но ещё понимает: денег у неё мало и скоро совсем не станет. Куда-то подевались из тумбочки те, что с собой привезла. Великое горе сжимало сердце бывшей звёздочки рабочего посёлка, способной блеском спиц детской коляски гипнотизировать некоторых. Об одном таком загипнотизированном мы рассказывали. Сладострастнике, совершившем глумление над сакральным символом бесконечности мира — молоком матери.

Вернёмся к тексту нашего повествования.

Напомним, Варя пришла в посудо-хозяйственный магазин с термосом, купленным вчера. Он оказался негодным. А ей нужно вечером залить кипяток. Потому что соседский пацанёнок, были случаи,

подпирал её дверь шваброй. А главное, чем реже она появляется на общей кухне, тем ей лучше.

Вот почему Варя потряхивает термосом с булькающей в нём водой. — Мне бы спросить, — робко приближается она к кассирше. — Термос неисправный, сосуд Дьюара, — говорит, делая два шага в сторону кассирши.

Да не вовремя она сделала эти шажки, не вовремя. Не в настроении была Натали, раздражённая воспоминаниями о неуспехе, но в особенности — как их немало было, этих неуспехов. А тут перед ней какая-то баба термосом трясёт. Там у неё какой-то сосуд Дьюара лопнул.

«Чтоб ты сама лопнула», — думает Натали в расстроенных чувствах от недавно пережитого. А еще немножечко волнуется оттого, что через два человека в очереди один покупатель стоит. «Лет сорока — сорока пяти. Интересный, — находит она. — С большим шрамом на лице, возможно, военный. Они рано уходят на пенсию. И хорошо получают, — присматривается Натали. — Бывает же, ни жены, ни детей, — профессионально быстро её пальцы бегают по клавишам калькулятора. — Взгляд должен быть твёрдым. Определённо военный. Возможно, участник локальных войн. Они много получают. Что сказать ему, — прикидывает Натали, — если в случае чего?»

— Вы же видите, я обслуживаю покупателя, — резко в сторону Вари.

А боковым зрением ещё в сторону «ветерана, возможно, неженатого», по очереди взглядом прошлась, зная по опыту, как много среди них, кто всегда встанет на её сторону. «Сама-то она хоть знает, что нацепила на сарафан?» — радуется кассирша своему превосходству.

Загар дальних стран привлекал внимание к Натали, два месяца как вернувшейся из знойных мест. Где шум морского прибоя успокаивает, а прилично одетая беззаботная публика призывает надеяться на большие перемены. «Есть ещё время. Известны случаи», — хотелось мечтать, наблюдая красивую жизнь.

В мечтах на далёком пляже Натали виделась устроенная жизнь в хорошей квартире. Нет, лучше — в небольшом особняке на окраине города, в сосновом бору. За высоким забором тот особнячок в два-три этажа. С прислугой, какую принимают в приличные дома только по рекомендации специализирующихся на этом фирм. В одной из комнат её уютного особнячка дорогой дорожный чемодан — большой, серого цвета, какой был у известной американской актрисы, когда она посетила свою историческую родину Австралию.

Непонятно и самой Натали, размечтавшейся не в меру, но всегда рядом — он! Готовый пойти на крайность, чтобы она поверила: до последнего своего дыхания он её и только её! Об их связи, кажется, всё более догадывался муж. А что из себя этот «он»? Натали допускает, что у него усы. Лучше — узкие, какие бывают у запоминающихся героев американских фильмов. «Очаровашка, — представляет его себе Натали

под шум волны, набегающей на пляж.— Костюм у него деловой, из тонкой шерстяной ткани в крупную голубую клетку. И непременно с хорошей дикцией,— как же ей надоел один из её нынешних проходящих — гундосый. (Из вахтовиков. Очень застуженный.) — Слушать противно», — вспоминает, носик морщинит.

Но вернёмся к мечтам, в особнячок в сосновом бору, к беседке, окружённой цветущим жасмином, с цветами белыми, как невинные мечты Натали. Итак, она, утомлённая вчерашним приёмом у очень важного человека, прислушивается, как в саду по дорожке, выложенной мрамором телесного цвета,— говорят, он безумно дорог! — слышит его шаги. Она в пеньюаре, каких мало кто видел в их захудалом городишке. Он, одетый в её фантазиях ещё минуту назад в серый деловой костюм, теперь в клубном, дорогом, какие продаются в известных столицах. А её рука покоится на мраморном столике кремового цвета. С золотыми прожилками. Маникюр — ну самый-самый что ни есть. Он поочерёдно целует её пальчики, почтительно склонившись. Она милостиво кивает на дачное кресло рядом. Он мило выражает радость от встречи с ней — утомлённой, в пеньюаре, с приличным бриллиантом на пальчике, свисающим с мраморного столика.

Он богат. Он только что вернулся с какой-то важной встречи. В верхах. Он друг семьи, подозреваемый мужем в связи с ней.

«Ещё подождём, совсем капельку,— воркует он ей на ушко, а в нём — серёжка с бриллиантом каратов... В общем, много каратов в нём! — Срублю ещё бабла, и сразу же слиняем за бугор,— воркует, трепетной ладошкой к её тянется коленке. И вовсе не костлявой.— К ядрёной фене козлов этих вонючих. Бакланов-отморозков», — глазами в её грудь нацелился. И она согласна, согласна подождать немного: он «срубит», и они «слинянут». В общем, всё супер у них будет «за бугром».

Хорошо ей пометчать. На работу завтра идти не надо, рядом её подруга, тоже Натали. Рукой песочек чистый-пречистый гладит. Скорее, тоже мечтает. Сколько уже лет работают вместе в одном магазине, комнату снимают в коммуналке на двоих. Наверняка мечтает. Как не знать об этом подружке, если пережито столько от козлов этих... У которых в кармане водка, а в голове одна куцая мыслишка: как бы в постель побыстрее. Не то что здешняя публика...

В один из таких дней, когда в мечтах создавались сладкие сюжеты, Натали увидела на уровне глаз сандалии американца. Настоящего! Высокого, обеспеченного. И он не скрывал этого, подойдя к ним с большущей бутылкой кока-колы.

— Хеллоу,— им сказал, а в руке стопочка розовых стаканчиков.

Девушки и раньше его видели. Видимо, со служанкой, из негритянок. Они, конечно же, были рады познакомиться, но проявили сдержанность, как это показывают в фильмах про богатых. «Он из тех,

кого теперь называют хозяином жизни», — поняли девочки по стоптанным сандалиям, которые может позволить себе тот, которому наплевать, что о нём подумают другие. А чего стоит его обед из овощей, как это они однажды видели в уличном кафе. Ведь он — совладелец макаронной фабрики в Риме, о чём он сообщил, назвав себя при знакомстве. Да, в самом Риме, в двух шагах от резиденции Папы Римского Леопольда Двенадцатого. А как он говорит по-русски... И раза не запнулся в падежах. Кока-колу разливает, не жалея, знаком с Папой Римским. Тело как у гимнаста. Улыбается приятно. Зубы ровненькие, загар приятен. На плавках что-то такое изображено. Из непонятного. Рассказывает интересно.

— В окно его вижу, — признаётся молодой американец. — Моя конторка на третьем этаже фабрики, и мне хорошо видны его апартаменты, — рассказывает он о Леопольде. Как о старшем товарище. — Небедно живёт старикашка. Небедно, — на другой бок поворачивается. Голову на руку кладёт, лицо грустное от последних слов. — Макароны нашей фабрики любит. А по мне, лучше русской лапши ничего нет, — улыбаться начинает, взглядом по обеим Натали скользит.

«Кобыла, — думает о товароведке. — Другая — кожа да кости. Есть, есть и в этом прелесть групповухи». А на девических лицах восхищение, слово «круто» написано. Какие у них бывали в детстве, когда к ним приходил Дед Мороз.

— Мы с Леопольдом как-то даже поспорили, что вкуснее, — лицо грустное, как бы уже в который раз он об этом говорит. — Как-то спрашивает: не знаком ли я с вашим патриархом Иваном Седьмым?

Помолчал, раскуривая сигарету, и стал рассказывать о своём происхождении. Оказывается, его предки из России. Мать — камчадалка, из знатного рода чукчей. Шаманов в четвёртом поколении — палец к небу поднял. Как небо он призвал в свидетели о своём знатном происхождении.

— Не будем нарушать давние традиции — иметь ужин без четверти восемнадцать, — показал он на часы «Командирские», пальцем по ним постучал, приглашая на ужин новых знакомых.

Извинился перед ними о скромном кафе, куда он вынужден их пригласить.

— Так отвратительно работает местная почта, — пожаловался на трудность перевода крупной суммы из Италии. — Опять же, разгильдяйство, — объяснял он ситуацию, заходя в весьма скромное питейное заведение.

Сев за ещё не убранный стол, он стал рассказывать о младшем брате, крупном магнате-мафиози в штате Северная Каролина.

— У него этих акций — немерено. В карман при каждой встрече их толкает. Вперемешку с долларами, — это уже после красного вина.

Глазами шарит по фигурам девочек — как раздевает их взглядом. К себе в гости зовёт, за дружбу между народами выпить вина

предлагает. По дороге в свои апартаменты настойчиво предлагает их родителям деньги на свою старость хранить в долларах.

— Если, конечно, их много, — вопросительно посмотрел.

Поинтересовался размерами их квартир, какие учебные заведения закончили. Около недорогой гостиницы несколько местных девушек предлагали себя откровенно. На Натали они смотрели зло.

— Заграница нам поможет, — бормотал американец пьяно, раздевая девочек. — Чичас-чичас, — говорил, располагаясь между ними.

Натали удивлены скромностью обстановки. И простым циновкам, на которых их расположил джентльмен. На полу у их голов лежали носки, они дурно пахли.

А кавалер стал требовать разное. Самым безобидным было называть его Фудзияма-сан.

— Камчатка и Япония рядом, а моя мамочка — особа княжеского рода, — не стесняясь дам, он икал, рукой шарил где хотел, — часто бывала в Японии, вращалась в высшем обществе императорского двора. Ещё известно, что один из влиятельнейших сановников, — опять палец к небу, — был весьма неравнодушен, настойчив в уходе за моей дорогой мамочкой, — голос свибрировал, на месте привстал, как это бывает в кино. — Я особа, приближённая к императору Японии! Я — отец русской демократии, — бормотал он после, уставший.

Откинулся лицом в подушку, а потом и захрапел, как это бывает у простых мужиков. И это происходило под отвратительный запах от носков. А выше их на покосившейся тумбочке с не закрывающейся дверцей лежали очки на длинной ручке. Известный им по фильмам предмет аристократии прошлого показался им здесь странным.

Утром, пораньше, пока уставший кавалер ещё не проснулся, они вышли из гостиницы и стали радоваться шуму недалекого прибора и свежему ветерку. Он был такой ласковый.

Как-то, уже перед отъездом, Натали видели Фудзияму-сана в компании другой, чёрной, как сажа, негритянки. На шее у неё беленькая цепочка с черепом неведомой им зверушки. Фудзияма-сан показывал что-то на пальцах не понимающей европейских языков. На что дама отвечала согласием, кивая и улыбаясь. Кавалер же, как и не было у него той поэтической ночи, посмотрел на девочек через лорнет холодно. А потом ещё и резко откинул руку в сторону с очками. На лице изобразил крайнюю степень усталости, какая бывает у крупной творческой личности при кризисе жанра и поиске новых форм. «Может быть, богачка», — подумала одна из Натали — товаровед. «Если они из золота», — другая, провожая взглядом массивные браслеты на ногах у новой подружки Фудзиямы-сана.

Разочарованными вернулись Натали в свой примитивный Зеленогорск. В небольшую комнату, что снимали на двоих. Усталые, а в голове молотком у них стучит вопрос: почему им не везёт? Сколько примеров у них: кому-то повезло, а она не стоит того. Вот, например,

Машка, из продуктового... Дура же законченная, а какой муж попался! Простой каменщик, а какую деньгу домой приносит. «Если, конечно, она не хвастает», — с неприязнью думают Натали о своей бывшей подруге.

Правду говорят в народе: не ходит беда одна. Дня за три, как им почувствовать недомогание от нехорошей болезни, их навестили мальчишки. Двое знакомых, уже отработавших на Севере вахтовым методом. Который помоложе, Ванечка, — лет уже к пятидесяти, лысый совершенно, челюстями вставными постукивает. А в общем, вполне приличный. Другой, который постарше, так бы ничего, но, видно, шибко застужен. Гундосил, что и понять его трудно. Говорил: мол, на Севере это бывает от сильных морозов. Да кто его знает, отчего это у него? А ещё запах от него — в соседней комнате слышно. Наволочку приходилось менять после его визита. И жаловалась Натали своей подруге: подташнивает её временами.

Хорошо их встретили девочки в своей комнате. Радовались встрече — ели, пили, веселились за полночь. Но через несколько дней девочки у себя почувствовали нехорошую болезнь и стали вспоминать «ту гадину Фудзиямку-сана». Придумывали казни, какие бы ему учинили. Их стали лечить «узкие специалисты»; ничего не скажешь про них плохого. И вот в один из славных денёчков — солнечных, когда хочется жить и любить, — к ним нагрянули их кавалеры. Они пришли к дамам отомстить.

Ванечка, совсем к пятидесяти ему, какой-то весь убогенький, стал уже с порога выражаться, что не делало ему чести. А потом стал хватать за руки Натали-кассиршу, стараясь пнуть в низ живота. — У тебя же ноги тоньше спичек, — пыхтел лысый, с глазами красными от злости.

На это дама старалась плюнуть в бесстыжие глаза. Молча. Хорошо смотрелась она в этой схватке: глаза сверкают от негодования, волосы всклокочены. На пинки хама её рука тянется к лицу Ванечки, ногти её уже почти у самого глаза, который без бельма. Не ровён час, он ослепнет! Ситуация чревата: острые ногти у самого-самого ещё зрячего глаза! Но уже невидящего от обильной слюны на нём. Она стекает, попадая в рот Ванечки, пенится на губах от резких вдохов-выдохов.

Другой кавалер использовал, видимо, домашнюю заготовку. — Это какой же педераст соблазнился тобой?! — пыхтел гундосый, стараясь удерживать свою Натали-товароведа. — У тебя же задница — на двоих баб хватит, — за плечи крепко держит, пинает.

На все эти безобразия Натали старается покрепче ударить коленкой в его пах да побольше сплюнуть в противную ей морду. Известно, природа даёт некоторым такое средство защиты, как обильное поступление слюны в момент самообороны.

— Триппертонички, — гундосил один, запах всё заметнее в комнате. — От сифилитика слышу, — был ему ответ.

— Ах вы, сучки, — Ванечка, от которого пахнет.

— Козлы вонючие, — кассирша, с натугой в голосе.

Ещё чуть-чуть — и один из кавалеров лишится зрения. Другой чувствует всё усиливающуюся, уже нестерпимую боль в паху.

Но, слава Богу, дамы стали просить о помощи у соседей, что давало надежду на прекращение схватки внутри народившейся цивилизации.

Первой пришла на помощь уже пожилая кондукторша автобуса. Она стала отталкивать Ванечку, подошли и другие квартирующие. Подошёл старик в майке и штанах трико, из-за него выглядывала старуха в немарком халате и весьма послуживших стоптанных шлёпанцах. Старик стал демонстративно набирать номер телефона. Подошёл на крики о помощи ещё какой-то с палкой. Он неодобрительно стал смотреть на Ванечку, который воевал фактически на два фронта: пинал девочку, а между пинками успевал ещё лягнуть наседавшую на него сзади даму. Между прочим, глубоко пенсионного возраста, безупречно отработавшую пятьдесят два года в автопарке.

— Она же — сифилитичка, — тяжело дышал гундосый, оглядываясь в надежде на понимание уважаемой им публики.

— Врёшь, вонючка. Это у тебя он был, — с напряжением в голосе парировала Натали. И, изловчившись, хорошо, сплюнула ему в глаз. — Так что как-нибудь заходи вечерком, поразвлекаешься, — мстительно бросила ему, злючке, в лицо.

— Всё, заканчиваем! — скомандовал другой «ванечка».

И, тяжело дыша, они молча прошли в общую ванну. Освежили лица водичкой, вытерли их уже знакомыми им махровыми полотенцами. Вернулись и, расстегнув ширинки, стали мочиться на кровати. Каждый на «свою». В безмолвном стоянии пребывала публика. Только журчание жидкости да тяжёлое дыхание четырёх нарушало тишину. Впрочем, скажем как оно есть: у одного из нападавших струя была прерывиста, с натугой. Но это ничуть не помешало ему пройти с поднятой повыше головой мимо находящихся в ступоре соседей, не обращая на них ни малейшего внимания.

Ветеран пассажирских перевозок только теперь почувствовала боль в колене, по которому хорошо лягнул один из кавалеров. Прочромая к окну, она долго наблюдала за неспешным его удалением от дома. «Надо чем-нибудь помазать ногу», — решила ветеран труда и многих наград за добросовестный труд. Она закрыла дверь в свою комнату и дважды повернула ключ. Дверь подёргала, проверив, надёжно ли закрыла.

Дело было к вечеру, от пережитого обе Натали находились, как говорят доктора, в пограничном состоянии. Мысли их прерывисты. Боль от ушибов всё сильнее. У одной кофточка порвана, у обеих — волосы в разные стороны. И ничего хорошего им не обещает будущее. Не хотелось жить.

Сумерки за окном, когда они стали прибираться в комнате. Постирали постельное бельё, вымыли пол. Чаю попили. Только в своих постелях они расплакались, как это бывает у слабых женщин — дружно, с всхлипываниями. Молчали, думая об одном и том же: почему им в жизни не везёт. Не думают они о прошлом. Что приехали из рабочего посёлка, построенного для переселенцев из зоны затопления — что в самой глухомани. И что из того может быть, если над могилами их предков мчатся быстрые, как ветер, «метеоры-ракеты». Нет, не думают. Не спали они на сырой земле, слаще морковки не ели.

Утром следующего дня они на своих рабочих местах в хозяйственном магазине. Окружены людьми, чувствуя интересного им человека раньше, чем подойдёт его очередь.

Итак, напомним.

— Вы же видите, я обслуживаю покупателей, — тихо, не поворачивая головы, сказала кассирша Варваре.

Сказала, явно сдерживая своё негодование к покупательнице с термосом, в котором булькало... Негодую на невоспитанность, она не теряла из вида подходившего к ней человека в хорошем костюме и обуви — явно не ширпотреб. Что отметила, ещё когда он входил в магазин. Подстрижен, побрит, очки — импорт! «Сразу видно, себе цену знает, — подумала Натали. — Не из козлов он похотливых, — подобралась девушка. — За очками наверняка усталые глаза. От всей этой суеты земной». Вот такой оценки в нашей хронике удостоился мужчина со шрамом.

И правда, импозантен этот мужчина был. Костюм — легчайшей желтизны, цвета аравийского песка на восходе солнца. Непременно где-то далеко это, где бывают немногие. Белая, с едва заметной голубизной, рубашка хорошо подходила к дымчатым очкам. А если из-под них выходил на щеку глубокий шрам? Роскошный, он шёл к подбородку не прямо, а зигзагами. Как, видимо, и сама его судьба — удивительно поучительная, что даёт пищу для серьёзных размышлений. А налёт невысказанной печали на его мужественном лице? Непременно от пережитого, прочувствованного глубоко. Возможно, вдали от любимой им Родины. К примеру, в занесённых снегом ущельях Афганистана. Или в песчаных, раскалённых солнцем барханах Ближнего Востока, где глоток воды дороже самого золота. Как немногие из нас, такой способен встать в проломе стены, чтобы защитить Россию!

Да, это было лицо героя, каких любят, о ком мечтают женщины. С таким лицом сидят в президиумах, он один из тех, кого просят выступить. Молодёжь наставить. Корреспонденты радио, телевидения к нему со всех сторон со своими вопросиками-мелкотемьем. А ему в это сложное для страны время не до них. И о себе он не может, не имеет права рассказывать всего — только снисходительной улыбкой об этом им намекает. Да, он не носит наград, но не потому,

что их у него нет. И опять эта лёгкая улыбка заскользит по его лицу. Снисходительная, какая бывает от вопросов школяра-двоечника. Не станет же он говорить об «особом секретном задании». Может быть, от Самого! Может быть, хлюпавшего носом, говоря, прощаясь: «Придётся ли свидетелься? С сегодняшнего дня, лейтенант, вы — полковник!» — слёзы скрывая, отворачивался.

Но, должны признаться, ошиблась уважаемая нами Натали, ошиблась в оценке уважаемая общественность. И, наконец, женщины, у которых, казалось бы, не бывает и не может быть ошибок при оценке мужчины. Нет, не тот это шрам, что украшает воина. Не от осколка, не от сабельного удара на поле лютой брани был получен он. А в тёплой, уютной комнатке падчерицы был нанесён он. Да, да... при попытке лишить её чести папенькой. (Славненькой выросла девочка к шестнадцати-то годам. И потому его нетрудно понять.) С полгода уже будет, как девушка стала подозревать родителя — он удочерил её ещё маленькой девочкой. При прикосновении у него глаза становятся как бы масляные. Противные такие глаза... В её комнату зачастил, когда мамы нет. Про её подруг, знакомых мальчиков стал расспрашивать разное. По спине гладит, лифчик нащупывает. Ладонка на коленке — как бы помассировать он её желает.

Катя о своих подозрениях рассказала маме, та отнеслась к этому спокойно. Как-то по-особенному ей улыбнулась, что только прибавило беспокойства.

На это девушка подсвечник купила. И вовсе не для украшения своей комнаты девической. Купила с цоколем массивным, ручкой удобной. А чтобы сон её был поспокойнее, на прикроватной тумбочке его поставила.

Как-то в один из предновогодних праздников, когда мать на работе, посменно, в диспетчерской, в квартире достаток, тихая музыка в комнате у отца, девушка дремать начинает. Не запертая ею дверь тихонько скрипнула, девушка вздрогнула, потому что папенька входит тихо, в цветастых трусах его что-то топорщится. На девическую кровать садится, глаза масляные, подрагивающей рукой под её одеялом шарит — видите ли, животик ему захотелось погладить. Своё лицо к ней всё ближе, вином от него пахнет. Последних сомнений лишилась девушка, отчего это колом встали у папеньки трусики цветные. Тут и взяла она с тумбочки прикроватной подсвечник массивный, с ручкой удобной. Изловчилась... И сделался папа её «героем войн многих, наград высоких». О которых он не имеет права и слова сказать. Весь засекреченным он стал в одночасье. Неожиданно, как это бывает у матерей, предчувствующих беду, вернулась супруга сладострастника. С криками:

— Что случилось? Что случилось? — бросилась она на помощь мужу — с лицом окровавленным, руками трясущимися.

Услышав объяснение дочери, мать с пару минут походила по комнатам молча из одной в другую. Сообразить она сразу не может: как ей теперь поступать? И, вздохнув поглубже, она стала кричать с надрывом:

—Посажу! — громко, что и соседи могли слышать. — Сгною гадину ползучую!

И это от бабы, которую он вытащил из грязи. Вместе с её дочерью ненаглядной. Которая перед ним вертела тут попёнкой.

—Соблазнила меня, стерва, — кричит он маменьке в своё оправдание. Глаза благородного негодования полны. — Ходит тут, грудяшками трясёт.

А у самого пострадавшего невинно лицо в крови, во все стороны капли её летят. Белая маечка, тапочки с пампушками — всё в крови. Трусики в цветочках, с белыми ромашками по голубому полю, колом не стоят. Пришлось супруге скорую вызывать ему, как бы упавшему по неосторожности.

После наложения швов вернулся Иван Сигизмундович с забинтованной головой. Весь такой печальный. Нехорошие предчувствия у него. Тяжело вздыхая, прошёл по коридору своей «сталинки». Соседи его — люди уважаемые, известные в городе своими успехами на ниве партийного строительства. Как же будет плохо, если станет известно... Он один из тех, кто всегда в президиуме. «Сколько наград, грамот, вырезок из газет. Известный человек в регионе. В прошлом лично знакомый с людьми — легендами области, — печально думал он о себе. — Что бы сказал мне на всё это мой отец? Человек известный в освоении Севера. Золото, металлы платиновой группы — всё там, — лицо его скорбно, как кто-то помер у него только вчера... Своего папеньку орденосного припомнил. — И вот...»

Удручённый тяжёлыми предчувствиями, походкой старого износившегося человека он открыл дверь в комнату, откуда слышались приглушённые голоса. Там сидели чужие теперь для него люди. И он не ошибся в своих предчувствиях: ему пришлось выслушать немало гадостей, оскорблений, но главное — угроз. От облагодетельствованных им, а теперь обещающих завтра — нет, сегодня, в этот поздний час! — отнести заявление в милицию о попытке — нет, об изнасиловании несовершеннолетней. В извращённой форме! И после небольшой паузы:

—Если ты, козёл, не загладишь своей вины.

И сообщили ему, как они это себе представляют.

1. Подарить Катерине ни много ни мало — дачу. Да, двухэтажную, в два кирпича, на бетонном фундаменте. Это в престижном месте, что в районе совхоза «Привольный». Да там сотка земли стоит столько, сколько однокомнатная квартира на окраине города!
2. Двухуровневый гараж. На две автомашины, в двух шагах от их дома.

3. Как они считают, ещё хорошо бы ему немножко денег дать за моральный ущерб. В валюте. Они знают, она у него есть. От отца. Самородок продал. «Без двадцати тысяч долларов не обеднеешь!» — как колотушкой по лбу слова супружницы. И падчерица тут же, к своей маменьке прижимается, ручонками обхватила, не оторвать.

Уважаемому соседями, обласканному прежней властью было отчего положить валидол под язык. Что совсем не произвело впечатления на семью, на что он надеялся.

«Подарить?! Шестнадцатилетней тварюшке... у которой и капли его крови нет, подарить нажитое с первой женой? От которой у них общий сын. Жениться который собрался, с надеждой на помощь звонил из Москвы», — от такой мысли «строитель» из-под бинта зло посмотрел одним глазом на «семью».

— Она сама виновата, — на лице ухмылку старается сделать. — Ходит, жопёнкой вертит, — лицо его ещё от крови до конца не отмыто. — Грудьяшками потряхивает, — и сразу двумя фигурами он подтвердил свой отказ «загладить вину».

Ночью он мучился в поисках оптимального варианта. Как-то мелькнул кусочек сна: прятался в незнакомой стайке; вызывали в райком партии, «первый» грозился отобрать партбилет. Было отчего проснуться потным, сердцу стучать, как будто выпрыгнуть из груди оно хочет. И снова думы о потере нажитого, накопленного за годы беспорочной службы на благо народа. Ближе к утру слеза вытекла, вспомнил, как он изворачивался и ловчил, чтобы построить «домик для хранения садового инвентаря». Со стенами в два кирпича, на бетонном фундаменте, облицованном декоративной плиткой!

И решил он пожертвовать дачей со многими надворными постройками. Роскошной беседкой, весной укрытой зеленью девичьего винограда. О долларах подумал: «Чёрт с ними — пусть они подавятся». От такого решения как не разболеться голове, походке быть нетвёрдой? А что может почувствовать уважаемый человек от вида насмешливых взглядов «этих девок»? С этим он и остался в семье.

Но правду говорит народ: нет худа без добра. Хорошо смотрелся он, бывший кабинетный работник, где-нибудь, когда заходила речь о силовых структурах. О ветеранах локальных конфликтов. Особенно если это далеко, в местах, о которых мало кто слышал. Хорошо ему чувствовать на себе взгляды восхищения. На это он откидывался на спинку стула (кресла, дивана и пр.), глаза закрывал. Рука привычно тянется к шраму, как бы от воспоминаний о пережитом. Совсем-совсем не простом.

В глазах общественности, но особенно экзальтированной части женщин, он стал личностью, не один раз смотревшей в глаза смерти, возможно, потому и не познавшей женской ласки. До того ли ему было? Скоро Иван Сигизмундович был замечен в президиумах,

на пленарных заседаниях, симпозиумах, проходивших под патронажем людей с умными лицами, наезжавшими из столицы и говорившими слова разные. С экранов телевизоров народ мог видеть в это время тяжёлый осуждающий взгляд ветерана, направленный на представителей несистемной оппозиции. По глубине шрама, его извилистости интеллигентный телезритель понимал: перед ним ветеран особых секретных служб. Успешно выполнивший задание.

Да, такой человек имеет право дать оценку, имеет право сказать кассирше:

— Совсем оборзела, кикимора! — показывая глазами на Варю.

Словами этими, сказанными погромче, он подогрел желание покупателей посмотреть на «кикимору с термосом». У четырёх из пяти в очереди снова появился интерес к Варе, к её одежде, обуви, причёске, значкам. Гребень едва держится, один значок удивительно крупен, а на лице её явные признаки сматения. Естественно, что дама с лицом аристократки начала двадцатого века поморщилась, отвернувшись, смотря выше стеллажей с запорно-регулирующей арматурой, кистями, скобянкой.

Согласился с «ветераном» и тот, что в коротких цветастых шта-нишках:

— Ты, тётка, не борзей, не борзей. Встань-ка в общую очередь, — погромче, властно. Челюсть чуть вперёд сделал, как это бывает у сильных.

В слове этом — «борзеть», скажем прямо, ключевом для нынешнего времени, — мысли много. Им хорошо пошутить над теми, кто знает, где, в каком магазине хлеб продают подешевле. Расходы за коммунальные услуги он помнит. Хорошо пошутить человеку, если он покручивает на пальце ключи от заграничной иномарки. Его квартира хороша, и отдых он проводит в тёплых краях. Да почему бы ему не сказать: «Ты, тётка, не борзей», — если у него счёт в заграничном банке?

Вот, к примеру, сегодня.

Берёт он на автостоянке «мерс», дедушка-охранник к нему спешит. Уважение к нему выказывает. Его старуха из будки выглядывает, головой кивает. Владельца «мерседеса», его, Виталика, значит, приветствует. Не какого-то там лоха приветствует, а за хозяина жизни она его почитает.

Старик к нему подходит, от старости покачивается, руки, чтоб меньше дрожали, в карманах держит. Меховая безрукавка на нём, на ногах большие калоши. Это чтоб не нагибаться старому, обуваясь. А у Виталика сегодня настроение хорошее — почему не пошутить? — Ты, дед, открой дверь машины, — просит Виталик, — в салоне жарко. С утра печёт.

Мол, побазарим. Старик взял ключ, а вот в замочную скважину вставить не получается у него. Руки трясутся от болезни, от волнения — не уволили бы. Восемьдесят всё-таки...

Его старуха ближе подходит, глаза от напряжения тарашит на Виталика в импортных штанишках с золотой этикеткой на коленке. Что-то про старика она сказать имеет, руку с ключом хочет поймать, помочь старому.

— Ты, видно, дедуся, ночь провёл бурно,— наклоняется, весёлыми глазами Виталик на старуху указывает.— А? Вытворяла что-нибудь? Из особенного?

Старик пытается рассмотреть большого начальника, щурится близоруко. Слёзка по щеке тихонько катится. (Это от близорукости бывает.)

— Дык... я,— оправдывается дед, приходящий на работу со старухой-женой.

(У неё ноги получше. Руки не трясутся. Почти.)

Но хватит об автостоянке, о хорошем настроении Виталика. Поговорим о нём как о личности, человеке, известном в структурах, обеспечивающих правопорядок в строительной отрасли сибирского города.

Детство, юность и период возмужания у Виталия прошли без отца. Под патронажем его тётки — старой девы, народного судьи, прозванной в Москве отщепенцами-антисоветчиками Семидесятой — по номеру статьи в Уголовном кодексе.

Приехав в Зеленоярск, уже на пенсии, она могла часами наблюдать за племянником, и её каменное сердце становилось мягче воска, как это бывает у матерей. Глаза увлажнились от умиления. Она искала и находила у него черты будущего известного юриста.

Подрастая, Виталий всё больше выказывал признаки поведения, не вписывающегося в рамки общепризнанной морали. У неё, бывшего советского судьи, крёстной матери — что она как могла скрывала в советское время, — случилось, как ей казалось, случайно случилось: её крёстный сын — пассивный гомосексуалист. Манька! В одиночестве она ходила по своей роскошной квартире. Ладонями виски сжимала: «Он же негодяй, он содержит мужиков за счёт городского бюджета!» Последнее особенно удручало её — правоведа крепкой советской закалки. Уже тяжело, неизлечимо больная, она говорила, чтобы на её похороны не приглашали Виталика, а передать ему её совет: купить верёвку и кусок мыла. Очевидно, это было у неё под впечатлением когда-то прочитанного романа «Бесы». И Виталик правда стал человеком известным, но — как обладающим значительным административным ресурсом. В полемическом запале он становился красивым, блистая ссылками на римское право и недавний УК РСФСР. Некоторым не в меру любопытным журналистам он мог указать и на серьёзное недопонимание ими международного права! На правомочность владения им двух квартир в Европе. А на их намёки о возможных неприятностях он как-то по-особенному

улыбался, делая характерный успокаивающий жест ладошкой. Слишком, очевидно, он уже крепко стоял на фундаменте системы других ценностей, нежели его крёстная мать.

С экрана телевизора он не сходит. Сожмёт кулак, показывая, где те, которые дороги плохо строят. Или, скажем, цены на жилищно-коммунальные услуги повысили. Хорошо смотрится он с экрана. Ему только-только сорок, а за его плечами уже два высших образования. Может он себя показать, может. Если понадобится, осадит так, что мало не покажется. Не любит он, если кто в его рабочем кабинете выступать начинает... борзеть, как он говорит.

Как-то случай был.

Старик с медалями-орденами на груди стал угрожать, что он под бульдозер ляжет, если станут сносить его гараж без компенсации. Видите ли, он уже шестьдесят лет как его построил, в яме овощи хранит для двух семей. Осерчал тогда Виталий:

— Ну и что, если ветеран? У нас все равны. Закон для всех один! — объяснил старику чиновник.

А старик и правда ветеран, не уступает, о своём талдычит, а потом и за грудь стал хвататься. Глаза свои бесстыжие на Виталика, имеющего уже два высших, таращит. Охранника пришлось вызывать. Да и Виталию тогда пришлось несладко. Секретарша капельками его успокаивала, а для полного снятия стресса она позвонила по телефону. Скоро через приёмную прошёл молодой человек с мужественным лицом римского гладиатора, числящийся в их ведомстве главным специалистом. На что хорошенькая секретарша, намекавшая некоторым об интимной связи с шефом, улыбнулась с пониманием. И как только в двери начальника щёлкал ключ, она говорила входящим: — На совещании,— показывая пальцем в потолок.— Часа через полтора-два будет.

И правда, часа через полтора-два из кабинета выходил «гладиатор». Довольный, он заговорщицки подмигивал секретарше. На что хорошенькая женщина ему вслед улыбалась, видимо, радуясь успешному окончанию встречи. А Виталий, уже в своей деловой манере, подняв телефонную трубку, говорил первым:

— Здравствуйте. Спасибо, что позвонили.

Кто может упрекнуть его в недостаточной учтивости?

Но вернёмся в магазин, к Варваре, сказавшей очереди:

— Мне бы только спросить. А потом я встану в очередь, встану,— ладошкой движение к сердцу сделала.

— Я крайняя, за мной будешь,— едва переступив порог, вскричала в лицо Вари вошедшая дама.

Явно ей было достаточно бросить взгляд на зимние ботинки — стоптанные, с меховыми раструбами, вывернутыми наружу, чтобы понять всё. Да, такой человек имеет право пройти мимо, с достоинством

неся массивное тело. Пройти походкой человека, например, обильно поработавшего на ниве просвещения и уже сделавшего там свою борозду. Совершившего поступок! А может, и не один.

— Будете за мной, — приятным, певучим голосом сказала Варя молодая — всё при ней! — вошедшая сразу за «совершившей поступок».

Утончённый запах туалетной воды, настоящий на заморских фруктах, исходил от неё, молодой, голубоглазой. А какая, не нашего захолустья, стрижка украшала её головку! И ещё... Говорят, дамская сумочка есть знаковая деталь настоящей леди. Она способна отметить координаты дамы, указать на её достоинство. И это о ней.

Нам вдвойне повезло, потому что её имя было таким же красивым, как и она сама, — Катрин. Созвучное с западными ценностями, печатным шагом марширующими по замшелой России. Явно отличалась она даже от известных дам мыслью на лице. Склонностью к творческому подходу при решении неординарной задачи. О чём говорили её длинные изящные пальчики, данные ей природой отнюдь не для того, чтобы копать, пилить или, к примеру, варить кислые щи в рабочей столовке. Если пришлось ей встать за прилавок, то, конечно же, это случилось не в посудной лавке. Нет, невозможно не рассказать о столь яркой личности, оказавшейся — и это нам повезло! — с теми, кого справедливо называют современной элитой.

Но не всё так просто. Не всё просто в этой жизни: и начало, и её конец.

Она была дочерью юриста. Её отец, она это помнит, вне дома всегда ходил с тросточкой. Участвуя в судебных разбирательствах, он тяжело опирался на неё. Говорил тихо, делая паузы. Ещё он любил красиво одеваться, красиво говорить, выказывая глубокие познания жизни.

Когда Катеньке было шесть лет, отец ушёл к студентке-практикантке моложе его почти на двадцать лет. А они с мамой уехали в областной город Зеленоярск, где маме пообещали комнату в общежитии. Детство и юность у девочки были безрадостными. Овощи с хлебом — их основная еда. Но более её огорчали платья, явно не по моде.

Случилось так, что уже студенткой техникума оказалась она в селе, где прошли первые её годы. Захотелось ей увидеть папу, посмотреть ему в глаза: есть ли там совесть? Вот она и постучала в дверь ещё не забытого ею дома. Вышла молодая женщина и, поняв, кто к ним пришёл, молчала долго. А потом, решившись, стала громко, что и на улице слышно, выкрикивать:

— Да забирай ты своего папеньку!

Вдохнула раз-другой.

— Заходи, посмотри, — на ширму в комнате указала. — Никому он здесь не нужен, — резким движением руки ширму откинула, ещё раз-другой вдохнула. — Можешь сейчас же и забрать, — пальцем на парализованного отца, обросшего совершенно, показала.

Отец ещё мог слышать и видеть, это было понятно по его глазам, из которых одна за другой стали катиться слёзы. Ещё он мог издавать звук, схожий с мычанием. Катя перестала воспринимать вонь в доме, а только чувствовала жалость к тому, с кем когда-то так весело играла в прятки. Молча она смотрела на отца, всё более узнавая уже забытые черты его лица. И от этого ком в горле всё заметнее. Ещё минута, и из её глаз польются такие же слёзы.

С комом в горле и со слезами по щекам она ушла. Только к утру уснула. Катя всхлипывала и во сне. Забыв о своих унижениях, в тот вечер она забыла и о годах нужды, и об упрощённых ухаживаниях молодых людей, уверенных по её простой одежде в доступности девушки. Об унижающем небрежении подруг, выказывающих своё превосходство. А вспомнила она только бесконечность слёз, скрывающихся в заросшем подбородке отца. И эта память об игре в прятки... Она вспомнила свой радостный, залиvistый смех: папочка так долго не мог её найти. Ей становится нехорошо, потому что наклонившееся влево сердце начинало больно бить в грудь.

Закончив торговый техникум, Катя поработала недолго менеджером-консультантом в ларьке на отшибе, где торговала дешёвым китайским ширпотребом.

Торговля в бутике, где вкусно пахнет известной в мире французской косметикой, показалась ей перспективной. Зарплата поменьше, но покупатели лучше. Иногда заходят и солидные дядечки посмотреть что-нибудь для себя из парфюма. Нет-нет да и на ней взгляд кто-нибудь остановит. А у Катеньки время бурного расцвета. Хочется ей места под солнцем потеплее. Потому юбочка у неё покороче, голубенькими глазками она может стрельнуть. Ротик откроет, а там ровнёнький ряд зубов. Как говорится, пусть бросит в неё камень, кто не искал места под солнцем в её возрасте. И она стала называть себя Катрин.

Как-то на исходе зимы, утром, когда покупатели редки, в бутик зашёл невидный такой Пантелей Анофриевич, семидесяти пяти лет. Он попросил одеколон «после бритья». И подешевле. Был на нём полушубок желтоватого цвета, на локтях и животе с грязнотой. Сибирские пимы подшиты, возможно, не первый раз. Шапка, какие носили во время Гражданской войны «несправные мужики» в дальней деревне. Похож он был на одного из тех, что любит летом посидеть на завалинке, порассуждать о видах на урожай, ценах на хлеб, капусту, редьку. Таким, с шаркающей походкой, представляла себе Катрин вошедшего. Оставившего на мраморном полу следы от сибирских пимов.

Но «закавыка», о чём пойдёт речь, случилась оттого, что зашёл, шаркая подошвами, коллекционер-нумизмат. Среди них, собирателей редких монет, есть люди небогатые, но по самому определению коллекционеры бедными быть не могут. Это мы о вошедшем, с цепляющимся взглядом, старике Анофриевиче. Был он, кстати,

любителем-экспериментатором на своём садово-огородном участке. Но это так, к слову, чтобы показать его любовь к земле, оставшейся от давней жизни в деревне.

Итак, в модный бутик на одной из центральных улиц города Зеленоярска зашёл собиратель монет из колывановской меди. Полюбились ему сибирские монеты с двумя собольками на аверсе. Он понимал цену этой меди. Был гонорок у дедушки и оттого, что его, самодеятельного поэта, издавали в коллективных поэтических сборниках. Платно, по двести пятьдесят рублей за страницу, называя восходящей звездой поэзии. Составители и редактор всякий раз выказывали радость, видя входящего к ним Пантелея Анофриевича. Крепко пожимали его руку, просили приносить ещё и ещё.

Но шибко серчали на него родственники из-за трат старика. Но что они могли? Посмеивались между собою над почётной грамотой с указанием о «внесении Пантелеем Анофриевичем достойного вклада в культуру области». «Совсем охренел дед», — как-то сказал его старший внук, пожелавший сменить свой старенький «жигулёнок» на новенькую иномарку. Но процесс обмена нехорошо затягивался из-за «этого скаредного деда», у которого уже была своя жизнь — человека, выполнившего всё, что было положено по законам природы. «Я вырастил вас, образование получили, внуков понянчил, — пальцем на старшего показывает, — с квартирой помог. Что ещё от меня надо?» Да, ему уже к восьмидесяти, и он имеет право жить как ему нравится. И он, уже имеющий достаточно почётных грамот от издателей, поменял пальто, костюм и обувь на нынешний «прикид». Как это принято у богемствующих. Правда, до толстовки дело не дошло, не был он и замечен босым в редакции коллективного сборника, но, кажется, дело уже к этому шло.

Продолжим о встрече красавицы Катрин с неприглядным стариком Анофриевичем в полушубке времён Отечественной войны и подшитых сибирских пимах, заметно стоптанных набочок.

— А что, милая, скажи-ка, попадаются нынче биметаллические десятирублёвые монеты? — спросил он, засовывая в карман флакон огуречного лосьона «после бритья».

Катрин взглядом поскользила по полушубку, на сибирских пимах цвета подгнившей соломы взгляд остановила. С брезгливостью на кукольном личике себе морщинку на носике сделала.

— Наверное, все уже у коллекционеров, — натягивает старые нитяные перчатки на неухоженные руки.

— А как обстоят дела с монетами, посвящёнными Отечественной войне восемьсот двенадцатого года? — пытается разговорить девушку на интересную ему тему.

Хотя уже наблюдает изменение красивого лица. Беспросветная скука теперь на нём.

Катрин встала. Вздохнула. Маникюр стала рассматривать. Молча. А во вздохе этом, молчаливом рассматривании выражена мысль:

как же мне надоел ты! Купил за копейки какую-то нашу мерзость, ну и иди, иди... Грудь у Катрин высокая, от вдоха ещё поднимается, опускается. Ещё поднимается, и:

— Я бы себе их взяла, — и пожётче: — себе!

В глаза старческие невыразительные посмотрела прямо, не мигая. Волосы у неё густые, подкрашенные местами, она резким движением головки с глаз их откинула. Видно, и вправду старик её «достал». Губки она сжала, этим мысль свою выразила конкретно: купил и иди! Ещё надумаешь здесь опохмеляться гадостью этой — лосьоном «после бритья».

Давайте их встречу рассмотрим спокойно, почему разговор обратился куда-то в другое русло? С чего началось, кто начал?

Да, девушка бочком повернулась. Губками мысль старому человеку выразила: купил русскую гадость — и отвали. Да, его полшубок ей не понравился. А кому из приличных людей он понравится, если он, может быть, ещё со времён наполеоновских войн? Мог бы Пантелей Анофриевич и не принимать всё близко к сердцу? Мог! Он же — вы только послушайте его, как он быстро сориентировался, чтобы мстить бедной девочке. За вызывающую непочтительность к нему — поэту, нумизмату, специализирующемуся на монетах из колывановской меди. Довольно известному специалисту в своём садово-огородном объединении по бахчевым культурам. И это в зоне рискованного земледелия!

— Я вижу, вы начинающий коллекционер. Я бы вам не советовал пренебрегать монетами платиновой группы, — паузу сделал, к невинной девушке присматривается, левый глаз прикрыл. — Палладий на прошлой неделе перешёл психологический рубеж — восемьсот долларов за тройскую унцию, — наблюдает за лицом, ещё минуту назад надменным. Не спеша пуговицы застёгивает, застёгивает на стареньком полшубке. — На Лондонской бирже драгоценных металлов, — поясняет, откуда источники информации он имеет. Говорит спокойно, как бы на бирже той его всякий знает. — А иридий? — решает он развить успех. — Две тысячи зелёных за один грамм! — как бы ему ли не знать о металлах платиновой группы?

Девушка из-за стола ещё не вышла, она лобик морщит, она информацию перерабатывает. Смотрит мимо миллионщика, но уже мысленно приближается к его ещё недавно невидной фигуре. И она, обладая способностью к быстрой обработке подобной информации, выходит из-за своего стола. На котором в вазе из чешского хрусталя цветы кустарного изготовления. Шаг, другой делает, не прямо к старику, а мимо него смотрит и идёт. Она под впечатлением, она почувствовала, что перед ней нечто огромное, и она не знает, как ей быть. Руки сцепила, начинает пальцы мять.

— А у вас, — девушка, ещё минуту-другую назад проявившая высокомерие к старому покупателю, спрашивает вкрадчиво, — а у вас есть этот самый иридий? Золотые монеты?

Ножки красивые у Катрин, ротик приоткрыт. С талией всё в порядке, грудки высокие, на магната они прямо направлены. В глаза посмотреть прямо стесняется, выказывая признаки девической скромности. На глухом вороте свитера взгляд держит. Свитера, купленного Анофриевичем по сниженной цене на распродаже. Но кажется он Катрин цвета тёплого; пожилому человеку хорошо в таком свитере в сырой-то день. На валенки, что оставили следы на полу, она теперь и не посмотрит. Уверена, удобные они ему. Пусть хоть... в лаптях ходит. — Естественно, — пожал плечами Анофриевич. — Станный даже вы задаёте вопрос, — перчатку тянет на руку. — Что золото-платина? Есть немало другого, что дороже их, — разглядывает перчатку тряпичную. Кажется, довольно уже послужившую. — К примеру, пятикопеечная сибирская монета из меди, с собольками, семьсот шестьдесят седьмого года... Пожалуй, раз в десять будет дороже золота.

Что правда, то правда — раз в десять. Но нет же этой монеты у него. У старого мстительного хвастуна, ныне довольного собой. А ведь с чего началось? Видите ли, ему показалось отношение девушки к нему недостаточно почтительным. Боком встала — хорош ли у неё маникюрчик, рассматривала. Перед ним, знатоком монет колывановской меди. Поэтом!

Наблюдая изменения на лице менеджера-консультанта, играл Анофриевич с видимым удовольствием, выказывая признаки старческого маразма. И застарелой тоски по зрителю — ладонь его вниз, ею перед собою водит, рассеивая последние сомнения у Катрин: олигарх он законченный! А у неё глаза пошире, в головке — мысли-скакуны. При такой быстрой перемене ситуации она не может найти слов, а только кивает. Волосы совсем на глаза съехали, руки не знает куда деть. И было отчего: наблюдать, как в течение пары минут какой-то грязнулька-старик, решивший с утра опохмелиться лосьоном «после бритья», превратился в богатого человека! Возможно, сверхбогатого, миллионщика долларового! Отчего и сама Катрин стала вдруг ниже, грудки высокие не прямо направлены на знатока монет платиновой группы. И какой-то меди. Очень даже дорогой меди.

Она напрягает свой мыслительный аппарат, но ничего, ничегошеньки не может придумать. «Сказать что-то надо, — казнит она себя, — а не кивать, как китайский болванчик».

Дверь тихо закрылась за стариком. На полированном мраморе следы от валенок. «Тёплых для его стареньких ног», — думала Катрин, глядя на пол и начиная чувствовать слабость в коленях.

«Все были бы такими старенькими, хорошо было бы ему это сказать, если бы заговорил он о своём возрасте, — сожалела девушка о скором уходе старого человека; на лице грустинка. — Дети если есть, должны быть совсем взрослыми, — как карты при пасьянсе она раскладывает. — Может, это и лучше. Бояться будет, чтоб кто не узнал...»

— Сейчас-сейчас, — это уже отвечает она вошедшему покупателю, а сама ещё всё «там, с ним».

«Если когда-нибудь зайдёт, костями лягу», — думает, пытаюсь понять, о чём это он, новый покупатель. И тоска всё более у неё от этих покупателей, противных таких.

Надежду на встречу с богатеньким «папиком» Катрин не теряла. Надеялась на случай, на нужный ей разговор, для чего купила в нумизматическом павильончике десять биметаллических монет, с каких и начался её разговор с тайным богачом.

«Присматриваться надо, познергичнее мне надо быть в другой-то раз, — твёрдо решила девушка. — Время нынче такое».

К сожалению, мы отвлеклись от главного в сюжете — от дырявого термоса, от Варвары, к которой из недр магазина уже подходит знакомая нам Натали-товаровед, вызванная на помощь кассиршей.

Товаровед шла грузно, как человек, имеющий право сказать себе: «Как же вы все опротивели мне». И это правда — надоели. Но была у неё от этих вызовов и маленькая земная радость, воспоминание о которой утверждало право на походку.

— Что у вас?

На лице уже знакомая нам по другим персонажам брезгливость от зимней обуви, сарафану почти до земли. Грудь плоская. Натали этого достаточно, чтобы предполагать удобное для неё: «Да был ли когда-нибудь у неё мужчина приличный? — товаровед отворачивается, на лице усталость. — У них это как у скотов бывает... Чтоб побыстрее», — как бы никогда она не знала джентльмена гундосого, с душком. Сильно застуженного при обслуживании больших труб. Как бы она не знала мужчину, пинающего в низ живота. Да так пинающего, что синяки только-только сошли на теле. Нет, не признается Натали в этом, потому что ей хорошо сделать лицо человека, озабоченного тем, что «эта баба» говорит. И самой ей непонятно о чём. На это товаровед делает вдох-выдох. Легко, но знает: это заметно, за ней наблюдают из очереди.

— Что у вас? — чуть отворачивается.

— Я хотела бы поменять термос. Или верните деньги. Вчера купила. Кажется, вчера, — полшага Варя сделала навстречу.

— Какой термос? — утомление на лице Натали, какое бывает у человека, не понимающего, что нужно от него.

Как сказал бы понимающий в законах жанра, это непонимание есть не что иное, как завязка в сюжете.

— Вот термос. Он неисправен.

— Что?! — Натали — громко, как имеющая на это право.

Что-то ещё она спросила, что-то ответила Варя, но не было это главным в выходе Натали на публику. Главным была развязка, но перед ней ещё непременно — апогей. Да, наступило время энергично

положить на стол какую-нибудь книгу, журнал. И, прижав его к столу, чуть наклонившись вперёд, посмотреть в глаза покупателю. (Идя по вызову в торговый зал, она брала подходящее для подобного действия. Что-нибудь из объёмного.)

— Я купила у вас в магазине термос, — объясняла значкистка, гребень едва держится на поседевших волосах.

— Ну и что, милая? — мягко так теперь спрашивает, имеющая опыт общения.

Как бы снизу она в лицо Варину смотрит. А на обращение «милая» в очереди хихикнули. Деликатно. А для лицедея на сцене это как хлопки одобрения из зала, крик «браво».

— Поменять бы мне, — руку с термосом тянет Варя. Значок «Готов к труду и обороне» на её груди. — Или верните деньги, — о своём талдычит в несвежем сарафане с чужого плеча.

— Что купила, славная ты наша? — вступила в разговор кассирша, боковым зрением зорко следя за человеком из очереди.

— Термос. Внутри течёт. Сосуд Дьюара сломан, — вспомнила Варя слова из учебника. А на лице страдание: её не понимают.

— Не мешай нам обслуживать покупателей, — как бы осерчала товаровед и посмотрела на товарку за кассой, этим приглашая её к последней, активной фазе лицедейства — развязке.

— Вы же обязаны по закону... Я имею право пожаловаться, купившая брак.

Присутствующими эти слова были восприняты неодобрительно, брови некоторые на это приподняли.

Катрин, полюбившая монеты из колывановской меди, отворачивается. Глаза к небу, в стороны головкой покачала, по боку сумочки пальцами погладила.

— Выйди из магазина, — приняла окончательное решение кассирша. — Там кричи, — и энергично указала на дверь.

(И хотя, по утверждению врача-венеролога, курс лечения прошёл успешно, Натали и сегодня вспоминает о Фудзияме-сан неслестно. Оказавшемся фактически негодяем при очках с ручкой. Соблазнителем негритянок, возможно, богатых. Последнее вызывало у неё раздражение. С признаками развивающегося психоза.)

— Выйди по-хорошему, — пригрозила товаровед Натали.

И, при весе более ста килограммов, она сделала шаг к Варе. А судя по недавней схватке с одним джентльменом, это предвещало выталкивание из магазина «опустившейся бабы-алкашки». Да и охранник у неё где-то недалеко.

На это можно было бы и закончить «сцену в магазине», но будет она более завершённой, если расскажем ещё об одном человеке, появившемся перед тем, как Варе выйти. Это мы о Елизавете Саввишне, пятидесяти семи лет, согласно штатному расписанию — оператору уборки помещений.

Была замужем, но роковые обстоятельства — иначе не скажешь — сложились так, что её муж был зарезан в пьяной драке, а сын от пришедшей откуда-то эпидемии умер в возрасте одиннадцати лет. От великого одиночества стала Елизавета Саввишна церковь посещать. Могла и всенощную выстоять. На исповеди вспоминала грехи молодости, но более о детоубийстве девочки во время своей нежелательной беременности. По месту нынешней работы тётю Лизу все считали глубоко верующей, потому что часто от неё можно было услышать: «На всё воля Божья». Иногда и рядом никого — себе скажет. Конечно же, уровень её нравственности безупречен. Тётя Лиза пользовалась любовью трудового коллектива. Бывает, кто-нибудь из магазинных подойдёт к ней и, лукаво улыбаясь, положит в халат рабочего халата небольшую сумму. По-домашнему, без всяких там ведомостей.

И всякий раз она выходила из недр магазина в торговый зал на встречу возбуждённым голосам покупателей, доведённых до соответствующей кондиции. Лицо её скорбно, как это должно быть у человека, несправедливо пострадавшего за правду. «Пора», — тихо говорила она себе, как это бывает у уставших от дурного вокруг. В одной руке у неё ведро с водой и тряпкой, в другой — швабра. На неё опирается она тяжело. Подходя ближе к покупателю, она ничего не говорит, никаких действий, а только скорбно смотрит на него, нанёсшего тяжёлую обиду молодой, ещё такой ранимой Натали. Одной или двум сразу. В глазах же тётки Лизы мольба опомниться покупателю, вспомнить о Боге, о Суде Небесном, который неподкупен. И вот-вот грядёт. Были у неё и срывы, если кому-то не понравится её явно осуждающий взгляд. «Бог-то всё видит», — только и скажет на это тётя Лиза.

— Куда ты так рано, Саввишна? — кто из соседей спросит, выглядывая из калитки.

— В церковь, помолиться. Праздник же сегодня. Могу и тебя упомянуть в святой молитве, — перекрестится добрая душа.

Да, её любовь к народу слишком очевидна по её тяжёлой походке, по тому, как она тяжело опирается на швабру. И как она смотрит на человека, у которого сомнения в Божьем Промысле. Глубоко верующей была она, тётя Лиза.

И ещё один мазок к портрету человеколюба — о её любви к животным. Собачкам бездомным. Кому, как не ей, любить бессловесных?

Быт её прост, как это бывает у истинных, ещё живыми причисленных к лику преподобных. В своей комнатке маленького домика-засыпушки она что-нибудь готовила покушать для любимых ею собачек. Из того, что удалось выпросить у поваров столовой, которая недалеко. Добавляла из своих отходов, грела в кастрюльке, выносила к месту кормления. Выливая в тазик, она всякий раз ласково уговаривала животных вести себя поспокойнее. Улыбаясь ласково, упоминала неизвестных ей прежних хозяев, называя их бессердечными.

Надо сказать, место было выбрано ею удачно. У тротуара, видного ею из окна, шагах в пяти перед поворотом в переулочек. Со скорбным лицом тётя Лиза наблюдала, как собачки кушают её варево. А когда они кушают из таза, то лучше, чтоб никто к ним не подходил близко. У них инстинкт такой: бросаться на любого, если кто неожиданно появляется рядом, из-за поворота. Сердятся собачки на таких неаккуратных граждан.

Елизавета Саввишна (незаконченное высшее) любила понаблюдать, как кушают животные, умиляясь этим. Бывает, сидит у окна после всех домашних хлопот и наблюдает, как некоторые из граждан за камни хватаются, руками машут, пинают бессловесных. А укушенные могли и выражаться нецензурно. Скорбно качала Саввишна головой, осуждая жестокость в этом мире.

Странное, болезненное чувство вызывала она — поклониться ей, жертве роковых случайностей, но не было сил сделать это — перед возмнившей себя богоносицей. С неадекватным желанием мстить.

Но вернёмся в посудо-хозяйственный магазин, где мы оставили Варю, которая руку с термосом безнадёжно опустила. А что она ещё может, если самому товароведу непонятно, о чём она говорит? На очередь с надеждой оглянулась. Надо же было всё рассказать о мальчишке-негоднике, подпиравшем дверь её комнаты. Ей очень даже нужен термос, чтобы утром пораньше пить чай у себя. А теперь она вынуждена ждать, пока не освободит дверь дядя Алексей. (Из бывших политзаключённых, статья 64 УК РСФСР, одиноко проживающий в своей комнате с окном на умирающий сквер. «Недобиток», — называла его Анжелика Викентьевна, работница культуры. Прописанная в комнатушке, иногда с кем-нибудь из мужчин, бывших интеллигентов.) Вспомнила Варя о старике Алексее, потому что он ныне единственный, кто говорит на понятном доброжелательном языке. С этим и стала она спускаться по ступенькам.

Надо сказать ещё о двух вошедших. Это упомянутая нами дама, понявшая ситуацию с порога. Скажем о ней так: с известными связями она. В общине гонимых по национальному признаку, потому не будем о ней. Потом не отмоешься.

Тихо прошла в очередь ещё одна особа, из тёмненьких, не титульной нации. И о ней не надо, не будем судьбу испытывать. Как бы в их среде нет и не может быть негодяев. Потому требуют они бережного отношения к своим обычаям. И всяческого участия, если им что-то покажется мало.

Что же касается титульных, о чём наша хроника, то говорить о них поощряется теми, кто любит демонстрировать свою ухмылку. Отворачиваясь, как бы скрывая её, по причине своей образованности супротив квасных патриотов.

Но продолжим о Варваре.

Когда она выходила из магазина, всё успокаиваясь, вспомнила, как гасли улыбки у покупателей в очереди. «Зрелище из меня

сделали,— вздохнула.— Изгалялись»,— объяснила себе недавнее словом, которое, казалось ей, она нигде не прочла и не слышала. Как откуда-то само, из неведомого далека, оно пришло.

Спустилась с крыльца, перешагнула стриженного давно старика с одним ботинком на ноге и пеной в уголке беззубого рта. Одетого в грязную спецовку, без пуговиц, и неизвестно кому выражающего своё негодование:

— Ты что — между глаз захотела?

С упоминанием подстилки и своего желания кому-то порвать пасть. Несколько человек вокруг, из уже заметно спившихся, кивали на это одобрительно. Умиляясь, они имели лица светлые.

— Так их, так их... — один из них подбадривал совершенно ослабленного импортной смывкой для красок.

Варя прошла несколько типовых пятиэтажек, не зная, куда ей идти. Не домой же, где она «горюшко ты наше». А в глазах их — желание зла. И этот пацанёнок, показывающий ей непристойные жесты. Припомнился опять её сосед, отсидевший за «шпионаж в пользу многих стран». Говоривший: «Надо перетерпеть, Варенька». Как-то она увидела в углу его комнаты почерневшую от времени икону. «От родителей отца,— объяснил,— помогает,— помолчал и, кажется, самое сокровенное выдал: — Начинаешь понимать, почему и после многих-многих лет клеветы от властей тебя ненавидит народ. Да потому это, что мы с тобой, Варенька, как говорится, не от мира сего. Не потому что мы хуже, не потому что лучше. А потому что — другие,— грустную улыбку, едва появившуюся, погасил.— Страна у нас такая — ватажная. Чья ватага оказалась сильнее, та и гнобит оказавшуюся внизу. Да... А таким, как мы с тобой, ещё хуже тех, которых гнобят». Станным был этот дядя Алексей — добрым. Запомнившийся ей сидящим под почерневшей иконой в углу комнаты.

Кстати, странным он показался и Анжелике Викентьевне. А её не заподозришь в необразованности, закончившую институт культуры, три года прочувствующую вместе, на одном факультете, с известным ныне профессором — самим Иваницким.

«Блаженненький,— говорила на кухне Анжелика Викентьевна о бывшем политзаключённом.— Из пророчествующих,— говорила. На что Гульнар и её свекровь кивали согласно.— Таких на Руси всегда много было»,— напомнила приезжим.

Тогда, на общей кухне, услышанное прошло мимо Вари. А теперь, вспомнив, ей стало жалко износившегося человека. Нехорошо в груди от вида стареньких деревянных домов на окраине города. С надворными постройками, напомнившими ей, что всё проходит. Она вышла к умирающему березняку с ещё не окрепшим подлеском, пытающимся расти между кучками мусора из жестяных банок, бутылок, картонных коробок. В трёх шагах от Вари большая крыса перестала есть, смотря умными глазами. Матёрая, пережившая тысячелетия с

их катаклизмами, способная чувствовать опасность и передавать её другим. Она смотрела вслед одинокому человеку, окружённая кучками почерневших красочных реклам с предложением покупать; недалеко подгорали листы с портретами победившего в честных выборах губернатора Сирина Р. Р. и его команды единомышленников, сильно любящих зеленоярцев за трудолюбие и гостеприимство. Мужество в лихолетье и оптимизм, с каким они встретили очередную крупную программу развития — «Присянская Сибирь» называется.

Хорошо смотрится с плакатов новый губернатор, известный нам чиновник, курировавший программу по законности, приватизации и обмену. Его честный открытый взгляд говорил о непереносимом успехе будущих международных экономических форумов в Зеленоярске и реализации этого самого проекта «Присянская Сибирь». Варя оглянулась: крыса, сидя на пачках рекламы, всё так же смотрела ей, одинокой, вслед.

И снова вспомнила своего соседа по коммунальной квартире. «Крыса — это вор, ворующий на зоне», — уже и припомнить не может Варя, почему тогда он заговорил об этом. Теряя мысль, переходя с одного на другое. Говорят, бывает такое от дум многих, когда высказаться не перед кем. «Каждый из нас, рано или поздно, но всегда своевременно, — говорил он, — понимает пагубность, греховность своего пути. Иначе как его, не ведающего, судить? — в сторону иконы кивал старый ээк. — Не ведают, что творят? От лукавого это. Ведают. Все», — говорил он, сутулый, худой, с опущенными с колен кистями рук. И уже заметно страдающий от нездоровья. Отсидевший положенное за «шпионаж в пользу многих-многих стран».

Вспомнила Варя его и пожалела, заходя в ещё не загубленный лес. Трава стала повыше, зеленее. Всё больше красных кровохлёбок, окруживших высокие лиственницы с корой грубой, без промежутков светло-жёлтого. Щекой прижалась женщина, уставшая от жизни в двадцать восемь лет. Ствол обняла, кору стала гладить. Тепло от дерева и через её наряд она чувствует. Замерла, вспомнив себя молодой, среди цветов, и как далеко-далеко, насколько хватает глаз, были видны скалы и окруживший их хвойный лес. Кажется ей теперь, что это из тех мест она слышит шум ветра, запутавшегося в кроне высокой лиственницы.

Но вот всё более примешивается к шуму ветра звук детских голосов. Они приближаются со стороны едва видимого одноэтажного кирпичного здания. Всё явственнее голоса, пришедшие, кажется, свыше. Кровохлёбки закивали шишечками веселее, солнечные блики по стволам забегали. Птичка рядом, потряхивая хвостиком, с ветки на ветку перепрыгивает. И детские голоса, как музыка чистого ручья, всё ближе.

Их было двенадцать, взявшихся попарно за руки, говорящих одновременно. Это было начало их лета, когда вокруг много красок. Таких, что остаются в памяти на всю жизнь. А над ними это бездонное небо — голубое, по которому бегут и бегут барашки облаков, чистых,

как желания и мысли этих двенадцати. Говорящих одновременно, восхищённых тем, что вокруг. И слава Богу, что они видят красоту бабочки, балансирующей на ветке, и ещё не знают, что голубое небо в считанные минуты может покрыться тучами. Чёрными, как непроглядная ночь без луны и звёзд. И дальнего огонька надежды.

Впереди детей, запрограммированных по воле Божьей на своё «время и место», шла молодая воспитательница. Волосы её беленькие, а глазки зелёным чуточку, хищным, отсвечивают. Туфельки у неё бронзовыми пряжечками поблёскивают. Девушка оборачивалась, чтобы сделать замечания, уверенная в чрезвычайном значении воспитания. Да, она влюблена в этот мир, у неё будет всё хорошо. И пройдёт она по этому миру, не испачкав обуви.

Последней шла женщина в годах, прихрамывающая, с лицом человека, отработавшего смену на руднике. В тех местах, где, сжатая камнем, мчится быстрая Индигирка. Не исключено, в её халате валидол.

А для Вари в радость дети, они как отряд прибывших из прошлого, далёкого и родного. Рядом бабочки крылышками шевелят, равновесие держат. Дятел стучит. И этот хвойный запах, такой знакомый, о прошлом ей напоминает.

Стала она в лица детей всматриваться, уже не слыша, как совсем рядом с ней бурундучок посвистывает, в кронах ветер запутался. В лица детей она всматривается, ищет кого среди них.

Дыхание у Вари участилось, в глазах влага задрожала, руку, свободную от термоса, тянет к мальчикам в одинаковых курточках. И между собой они похожи! Шагает рядом с ними, ещё зорче вглядывается. До курточки одного из них хочет дотронуться. Погладить бы ей по головкам их.

— Вы, кажется, не в себе,— прутиком отгораживает старая детей.— Не надо к ним,— в грудь Варину упирает гибкий прутик.— Не надо,— громко, молодую, обернувшуюся, взглядом, кивком головы зовёт.

А сама на хромую ногу ступает, приволакивает её и снова ступает.

У молодой, идущей впереди, светло-русая головка, украшенная гребнем с камешками. Сверкают они синим, а потом какой-то из них зелёным блеснёт. Привлекая внимание к её молодости и к тому, что ей чертовски интересно жить в этом мире.

Варя останавливается, вслед детям смотрит, как надеется на что-то. Пожилая воспитательница оглянулась, не изменяя ритма движения. Впереди отряда разноцветные камешки на гребне у девушки на солнце поблёскивают. Нет-нет да блеснёт один поярче. Детские голоса потихоньку стихают, Варя успокаивается, слышит: шмель пролетел, дятел где-то рядом. В кронах ветер, пятна солнца по стволам он перемещает. Смолой пахнет вкусно... И почувствовала она странность грязного сарафана на себе, с крепко-накрепко закреплёнными значками. После только что пережитого стала искать она место, где расположиться,

подумать. Вокруг посмотрела, успокаиваясь, ища место под сосной, где бы термос в траве погуще спрятать. Как давно не было, надежда на лучшее в её плоской груди шевельнулась.

Девчонкой себя вспомнила, беззаботной, смеющейся. Мать, отца... Они где-то в лесу, у костра, вокруг сосны в два обхвата. И мягкий жёлтый ковёр из хвои между ними. Отец одет в модный тогда полувоенный френч с накладными карманами. В нагрудном большие часы. Варя знает — это ему награда за хорошую работу. Полученная к какому-то празднику. Мать её, с лицом утомлённым, глазами заплаканными, к нынешней Варе из-за ствола лиственницы выходит. На ней знакомая вязаная кофта, в левой руке сумка хозяйственная, а пальцем правой руки на термос ей указывает.

«Не удержать ему тепла, — глаза строгие, какие были, когда она на дочь сердилась. И кажется теперь Варе естественным присутствие матери в этом пригородном лесу. — Тёплым, слишком светлым был наш дом, — в глаза своей дочери заглядывает. — Который мы не строили! — жёстко. Пальцем ей грозит, смотрит сердито. — Не залечить тебе кровоточащих ран». Букетик из кровохлёбки в её руке, в сторону его отбрасывает.

В разбитом состоянии, и пошевелить рукой не хочется, очнулась от дрёмы Варя. Стала думать она, так и не принявшая обряд крещения: к чему бы этот сон? Отца вспомнила уже в городской большой квартире. Подолгу он мог смотреть в одну точку. Самому себе он мог сказать: «Время тогда было такое. Меня воспитывала партия».

И припомнился Варе — как кто плёнку из прошлого, фильм ей стал показывать — эпизод из её далёкого детства.

«Никогда!» — резко отвечал отец на просьбу матери сходить в церковь в другом городе, где его никто не знает. «Сходи, повинись. Мне сны стали сниться шибко плохие», — плакала мать. «Мой род пресечётся! — с издёвкой отвечал ей отец. — Пророк хренов». Лицо перекошено в гневе. Губы трясутся, в глазах ненависть к тем, кто нарушает законы советской власти. «Варьку пожалей, — мать всхлипывала. Рукам места не может найти. — Если мальчик родится — не жилец. Вчера, как совсем проснуться, голос слышала». — «Я всё по закону! — лицо у отца строгое, пальцы правой руки в кулак сжаты. — Всех их, гадов, повыковыриваем из тайги».

И вспомнилась нынче Варе та осенняя непогода, когда к нему пришла смерть. Умирал отец долго, со стонами, что будили по ночам соседей. Перед своей женой каялся, считая себя виновным в двух её выкидышах. У дочери прощения просил. Плакал, что было совсем не похожим на него.

Годы прошли, род пресёкся, и в часы просветления разума вспоминается Варе этот давний разговор родителей. А ещё в эти минуты ей вспоминаются — как перст судьбы это! — капли её грудного молока в крашенных чёрных усах почти незнакомого мужчины.

В тёплый солнечный день начала сентября Варя пошла в рощу. Похудевшая за те два месяца, в том же старом сарафане со многими значками отличия. Пораньше, чтобы в кустах спрятаться от детсадовских, которые ей уже дважды грозились. Кто-то из них и вызвал скорую для неадекватной в грязном сарафане. Скорее, бездомной. Увидев троих в белых халатах, решительно направлявшихся к ней, Варя поняла всё. — Здравствуйте, — сказал врач, санитары в нескольких шагах от Вари. — Ну что, поедем? — мирно, буднично спросил он.

Как-то даже устало он спросил. Как уже не первая у него в этот день Варя. А ещё будут.

Один из санитаров взял из рук Вари термос и, повертев его в руках, в траву, подальше от тропинки, положил. Другой легко до локтя Вариного дотронулся, приглашая пройти к виднеющейся среди стволов машине с красным крестом. Ни на кого не глядя, Варя попросила проститься с тропинкой, по которой ходят её мальчики. Врач кивнул согласно.

Подбородок у Вари затрясся, ямочки, бугорки по нему заходили. Рот приоткрылся, а в глазах слезинки обозначились. Кажется, с освещением они, как это бывает у радуги — завета Господа, не насыпать потопа на созданных по Его подобию.

Варя тяжело, как это бывает у уставших, опустилась на колени, сгребла побольше листьев. Лицо опустила в них. Спина подрагивает. С минуту так... Вот ладони она раздвинула, листья тихо-тихо на землю положила. Жёлтые все — и это в самом начале сентября! Двое санитаров помогли Варе сесть в машину с красным крестом. Бережно поддерживали во время движения. А когда больничные доктора стали спрашивать о её прошлом, значках, она отвечала, что награды получила от доброго дяденьки, бывшего однополчанина её мамы. Вместе беляков они рубили в Гражданскую войну. Что подтверждало правомочность её принудительного лечения. С тех пор Варю никто не видел. О ней никто не спросил. Как и не было ни её, ни рода их.

Где-то месяца через три после описанных нами событий, связанных с адресной помощью, в Зеленоярске объявилась транснациональная компания по производству канцелярских принадлежностей. Она ведёт горные работы по добыче графита. Говорят, не только графита. Работает она и в Африке, и тамошние мужики-негры по ихним меркам получают неплохо. Но скоро случается какая-то болезнь. Долго не живут.

Администрация Присяянского отделения транснациональной компании уютно занимает весь подъезд, где ещё недавно жила Варина семья.

Было бы справедливым, если бы там увидели мы и Зиновия Правдина, ещё в застойное время много потрудившегося в создании своего образа как сильного хозяйственника, предлагавшего важные, научно обоснованные наработки структурных преобразований. Ему чрезвычайно

понравилась в те годы роль озабоченного неуспехами страны. Выказывая эту озабоченность на публике, он, имея в своём запаснике с десятков заграничных слов, раскрывал одну из принесённых с собою книг и показывал уважаемой публике какие-то графики. Чем и доказывал необходимость радикальной перестройки методов хозяйствования в стране.

А в последнее время, уже будучи «третьим», и для самого это неожиданно, он стал ностальгировать по прошлому.

«Я оглянулся окрест себя, и душа моя уязвлена стала», — говорил о себе писатель-помещик Радищев в известном романе. А новозаветные Закхей, Савл? Кажется, что такая переоценка — неожиданная, болезненная — для психологов не является новостью. Вот и вспомнил Зиновий большую реку и как же много на ней островов! Вспомнил первую любовь, какая случается только ранней весной. И стал он часто слышать голос из прошлого: вернись. Как-то случайно в его руках оказалась Библия, уже и не помнит, кем-то подаренная в перестройку. Случайно раскрыл на Нагорной проповеди и удивился простоте её. Нет-нет да вспомнит о ней и во время «адресной помощи остронождающимся». О своей игре... О Первом завете. И что, это уже другая история? Нет, это продолжение её.

Смотрящие из либералов не могли не видеть, что за каких-то пару-тройку месяцев он превратился в брюзгу. Перерожденца. Кому понравится, если, например, он говорит о дураках, что выглядывают из телевизора?

Его место занял другой, не менее эффективный менеджер, Елузай Нямбович, сын известного нам умельца-русофила. Закончив один из престижнейших московских институтов, поселился Елузай в уютном особнячке, законченном строительством за неделю до выборов губернатора. Там, на усадьбе, маленькое озерко с уже завезёнными карасями и успокаивающий шум искусственного водопада. И звукозаписи бубна «там-там», и душераздирающие крики из неистовствующей толпы. Неизвестно что требующей в экологически чистом районе, в сосновом бору на берегу той самой реки, что с болью вспоминает Правдин. Как говорится, в нескольких шагах от нового губернатора поселился Елузай. И, кажется, они дружны. Давая интервью московскому телевидению, Елузай Нямбович весьма лестно отозвался о нём: «Один из лучших губернаторов России, — и, немного подумав, закончил: — Если не лучший». Такой вот оценки удостоился только что избранный руководитель области. Подтверждая это, Елузай Нямбович приподнял подбородок, а голову — чуть в сторону. Где-то, наверное, научили его этому. «Ваше превосходительство, — обратился он с экрана телевизора, — ваше предложение о создании федерального фонда помощи транснациональным компаниям, не сокращающим рабочих мест во время кризиса, мы расцениваем как признак вашего стратегического мышления. Успехов вам». И опять поворот головы. Явно хорошие у него учителя.

Уже «вставшему на крыло» Елузаю Нямбовичу не откажет в совете и его папа, признанный в обществе за человека высокой социальной ответственности. Ныне уже озабоченный стагнацией экономик бывших советских республик. Он считает: стагнация их экономик есть не что иное, как следствие колониальной политики России. Воспитанный на либеральных ценностях, Нямба Станиславович говорил, что было справедливо этим республикам заявить о своих претензиях к Российской Федерации. «За свои имперские амбиции, пусть и в прошлом это, платить надо», — итожит Нямба Станиславович. «Как быстро он вырос!» — вскричал бы тот, кто знает, с чего когда-то начинал Нямба Станиславович... Что ж, большому кораблю — большое плавание.

Любит он и отдохнуть. По-русски, с водочкой и шашлычком. На уик-энд он собирает друзей. Где-нибудь на берегу большой реки. Они разжигают большой костёр, который в тех местах категорически запрещён. По причине возможного пожара. Большого. Но из того места слышатся заразительный смех и возгласы: «А ты помнишь? А ты помнишь?» На это Нямба Станиславович кивает утвердительно. Радуетса он успехам друзей. Беспокоится о близких.

Болезненно он принял информацию о наступивших переменах у Зиновия Филипповича. Свою озабоченность его отказом от базовых ценностей Станислав Нямбович выразил и новоизбранному губернатору. На что получил ответ: «Будет вякать... борзеть, — пояснил он афроамериканцу, — сам окажется в коммуналке на четыре хозяина. Вместе с семьёй, — задумался поглубже. — А то и устроим ему... как его, встречу со специалистом по болезням головки. Небо с овчинку покажется». Тем и успокоил Нямбу Станиславовича. Его понять нетрудно: сын у него недалеко, на должности он.

Завидная судьба у других участников событий, свидетелями которых мы стали.

Горбатенький с компаньоном охотно вспоминают о своей работе по приобщению медвежьих углов России к западным ценностям. Их усилия оценены: памятники культуры на старославянском, написанные рукою каллиграфа с заглавными буквами в цвете, что само собою уже искусство, изумляют западных ценителей культуры. Тамошние телевизионщики приглашают горбатого к себе, чтобы послушать о его озабоченности ненадлежащей сохранностью в России памятников. И он получает за свою озабоченность достойное вознаграждение.

Ираклий Никодимович, при чрезвычайной белизне его халата как бронезилетом защищённый, всегда готов к выполнению интеллигентной работы. Какие-то награды за это уже имеет. На телевидении его можно увидеть разъясняющим обществу. Истинно, без него не обойтись.

Не бедствует и профессиональная драматическая актриса — «беременная». Работает она, как и прежде, по утверждённому сценарию. Как у всякого творческого человека, и у неё бывают срывы. «Перестань

придуриваться»,— крикнул ей в лицо один. Другой раз, работая с людьми из гиганта машиностроения «Саянтяжмаш», была вынуждена имитировать «кондрашку», стать глухонемой. От простого вопроса о форме строгой бухгалтерской отчётности, о которой она в то время ещё не могла знать. А ещё как-то одному местному театралу она напомнила актрису, сыгравшую Зою Космодемьянскую в театре «Сила есть» в Норильграде. «Едва-едва удалось обратить его сомнения в шутку»,— жаловалась она в надежде на понимание трудности в создании образа.

От любимой ею роли «преждевременные роды» пришлось, к сожалению, отказаться. После обильного кровотечения из-за внематочной беременности, случившегося сразу после очередного «выкидыша». Исполосованная хирургом, находясь в реанимации при смерти, она пообещала Вседержителю навсегда отказаться от этой сцены. Теперь она усиленно штудирует сердечные приступы и параграфы бухгалтерской отчётности.

Пожелаем же современной Мельпомене успеха на тернистом пути к процветанию страны.

Анжелика Викентьевна ко Дню знаний составила список рекомендованной литературы для старого зэка Алексея. Имея в виду его развитие. Это может показаться очень даже странным, сказавшего в ответ и в самой циничной форме, чтоб она список вместе с её книжками затолкала себе... Не станем выражаться.

К сожалению, не всё хорошо и у самой Анжелики Викентьевны. С трудом ей удалось устроить своего талантливого друга завхозом в школу. А там он стал говорить об отсутствии толерантности в стране. О гонениях на представителей однополюсной любви. Был замечен в откровенно-нехорошем поглаживании ученика пятого класса. И, несмотря на «звонок сверху», директор школы уволила её друга. Чем и выказала себя закостенелым консерватором.

«Как же трудно быть образованным человеком в этой стране»,— узнав о случившемся, тяжело вздохнула Анжелика Викентьевна.

Натали и подобные им «Маньки», ведомые лукавым, танцуют по жизни сообразно возрасту и своим незатейливым желанием. Не сбавляя ритма, не обращая внимания на заветы, которые они не могут не знать.

Елизавета Саввишна на предложение отдохнуть на пенсии, потупя взгляд, ответила просто: «Поработаю ещё». И чувствуется мысль во взгляде этом: «Не хлебом единым жив человек».

И последнее.

Варину комнату в коммуналке забрал себе сосед. Отец того мальчика, что дверь подпирал и умел показывать язычок, покручивал палец у виска. Родовались его родители удачному, почти бесплатному приобретению. И поглаживал отец головку сына, говоря: «Кто смел, тот два съел». Нашёптывал ему, несмышлёнышу, в этом непростом, но отнюдь не хаотичном мире.

Красноярск, осень 2018

Евгений Мамонтов

Совсем чужие

Александра Матвеевна купила в гастрономе «Юбилейный» на проспекте Карла Маркса бутылку «Советского полусладкого». Что купить ещё, она не знала. Ей не нравилось ходить на дни рождения к невестке. И вот она стояла с бутылкой шампанского в неудобных лакированных туфлях с узким носком. Эти туфли ей подарили от месткома за ударный труд на Международный день восьмого марта. Александра Матвеевна трудилась контролёром ОТК на обувной фабрике, была начальником смены. Туфли эти ей не нравились, и левый особенно — тёр в мизинце. Ей было досадно за себя, что она их обула, как бы ради невестки, которую она не любила и всегда в душе жалела, что брат её Семён выбрал себе такую жену.

Александра Матвеевна решила вернуться домой и переменить обувь на разношенную пару туфель с надёжным широким каблуком. Видя, что она уже непоправимо опаздывает, Александра всё же механически, по привычке, заглянула в почтовый ящик, бросила взгляд на незнакомый почерк на конверте и торопливо сунула письмо в сумку. Другие, счастливые люди могут опаздывать куда угодно, даже на работу. Александра за десять лет четыре тысячи двенадцать раз не опоздала на работу и два раза — на свидание. Она вообще никуда не опаздывала. В такси она чувствовала себя неловко. А водитель слушал по автомобильному приёмнику модную песню Ведищевой «Северный олень» и улыбался, держась за руль новенькой «Волги» ГАЗ-21.

Один рубль тридцать копеек. Досадно. Дело было не в деньгах. Не в том, что ей сорок лет и она живёт одна... За собственную жизнь Александра всегда готова была дать отчёт.

Младший брат Семён был похож на маму. С детства хорошенький, как ангелочек, кудрявый, голубоглазый. Александра была в отца. Скуластая, с крупным костистым носом, энергичным выпирающим подбородком. Семён, окончив восемь классов, проработал два года учеником на заводе, ушёл в армию, а после этого устроился в ВОХР на железной дороге и женился на кассирше из центрального универмага, крашеной блондинке с короткими, будто не до конца прорезанными, пальчиками в золотых колечках. Будучи от рода деревенским пареньком, Семён поначалу восхищался и заискивал перед своей благородной городской женой и побаивался тещу. Но потом, когда его повысили до начальника караула и дали от работы квартиру, стал держать себя ровнее. Когда случалось прийти домой

подвыпивши, в ответ на прищур супруги говорил: «Мне товарищ министр путей сообщения Эсэсэсэр квартиру дал!..» Но вообще жили они хорошо, поставили телефон, отдали дочку «на гимнастику», завели собачку — спаниеля, которого Семён назвал изысканно, по-городскому, — Паркет. Копили на цветной телевизор.

Семён любил свою сестру и, встречая её в прихожей, встал так, чтобы на всякий случай загородить от неё лицо своей супруги в тот момент, когда Александра развернула подарок — вазу с лотосами. Прострый подарок, цветной альбом «Мастера эпохи Возрождения: Микеланджело Буонарроти», долго лежал с неразрезанными страницами, пока дочурка Семёна Жанна не нашла и не изрисовала его цветными карандашами.

«Сеструха!» — сказал он ласково, подвыпивший, и обнял.

Потом, под конец вечера, уже совсем хороший, Семён лез к гостям, тербил их за рукава и всё пытался со слезами на глазах рассказать, как сестра в детстве учила его читать. Александре было неловко за брата, неловко гостей, с которыми она не знала о чём говорить, неловко за собственную неловкость. Прощаясь в прихожей, она не смогла отпихнуться, и Семён сунул ей в карман пальто трёшку, шепча в ухо: «Поздно, на такси».

Всё это вместе так расстроило Александру Матвеевну, что она только на другой день вспомнила о письме, лежавшем в её сумочке.

Она прочитала его в обеденный перерыв, сначала один раз, потом другой, и очнулась, когда за ней прибежала девчужка из цеха — сказать, что началась послеобеденная смена. На другой день Александра Матвеевна пошла в профком и попросила три дня отпуска за свой счёт.

На железнодорожном вокзале билетов на нужный ей поезд не было, и она позвонила брату. Тот договорился в кассе. «Не может быть... Нет, ну не может быть! Вдруг — ошибка?» — повторял Семён.

Александра Матвеевна села в поезд, в плацкартное купе, и раскрыла журнал «Огонёк», купленный на вокзале. Но читать не получалось...

Она не могла вспомнить лицо. Все фотографии сгорели вместе с их домом в 1941 году. Но ей казалось, что она помнит отца. Мать говорила, что отец её любил. Пел колыбельные, купал. Покупал леденцы. Она помнила вкус деревянной палочки, когда на ней кончается вся сахарная сладость. А лицо его вспомнить не могла.

Он ушёл в сорок первом, письма приходили до сорок третьего, редко... А потом пришло извещение, что младший лейтенант Матвей Александрович Дронов пропал без вести. И больше до последнего вторника писем не было.

В семье отца поминали в каждый день его рождения. Пока жива была мама. Потом, уже учась в техникуме, Александра вырезала из журнала «Огонёк» фотографию могилы неизвестного солдата в Москве и смотрела на неё как на могилу своего отца. Он погиб, но спас

Родину. Что-то похожее ей хотелось сделать самой или увидеть в других людях. Но таких людей она не встречала.

Сегодня в подарок отцу она купила голубую нейлоновую сорочку, импортную, в хрустящей прозрачной плёнке.

Соседи по купе весело шумели, разворачивая домашнюю снедь; в конце вагона молодёжь брэнчала на гитаре, и кто-то уже делал им замечание; девочка в коротеньком платьице, с ещё младенчески пухлыми ножками, подошла к Александре и сказала ей звонко: «Ня!» — протягивая розовый леденец с петушком. Александра Матвеевна кивнула, ища взглядом маму девочки, и, найдя по улыбке женщину напротив, кивком поблагодарив её, сунула леденец в сумку.

В пятом часу утра её разбудил проводник, и Александра вышла на пустой, водянистый от бежавшего тумана перрон с деревянными перилами. Вокзал, похожий на маленькую церковь, едва светился впереди. Там, в пустом круглом зале, она просидела на скамейке до утра, когда влажно посинели высокие стёкла и первый автобус въехал на маленькую, горбатую, крытую брусчаткой привокзальную площадь с белым гипсовым, похожим в полумраке на ангела с трубой, пионером посередине.

Водитель, в брюках со стрелками, заправленных в короткие кирзовые сапоги, и в пиджаке, наброшенном на плечи поверх застиранной тельняшки, курил папиросу, прислонившись спиной к тёплому радиатору машины.

Кроме Александры, в автобус погрузились ещё две женщины с тяжёлыми кошелками, грубыми загорелыми ногами, будто вымазанными йодом. По сравнению с этими пассажирками Александра казалась городской модницей. Ей стало легче, когда автобус дёрнулся и медленно вывернул с площади. Женщины перестали смотреть на неё и заговорили между собой, качаясь и сталкиваясь плечами на своём сиденье. Проплыл мимо фонарь, осветивший грубую каменную подворотню, и городок кончился.

Долго не могло прояснеть от плотного молочного тумана, в котором автобус будто стоял на месте, раскачиваясь. Только вдруг выскакивал перед лицом телеграфный столб или дерево у обочины. А потом брызнуло солнце, открылось небо без единого облачка, стали видны поля цветущей гречихи, и без всякого повода стало весело на душе. Женщины сошли. Вместо них погрузился крепкий жилистый старичок в пиджаке с орденской планочкой, втащил и любовно уложил на пол автобуса две широкие доски, смолистые, горько пахучие. «Вот! — гордясь и кивая на доски, улыбнулся он. — Знатный товар на домовину себе добыл. По-нынешнему ведь из фанеры строят». Александра кивнула, неуверенно улыбувшись. «Вот он доски себе на гроб достал и счастлив. А я проживу ещё двадцать, может быть, даже тридцать лет...» — думала она.

Тот же бодрый старик показал Александре дом. «Я по лицу увидел, что Матвея Исаньча дочка. Только вы его дождитесь, он на покосе, а дверь открыта, вот, проходите, отдохните с дороги...» — старичок посмотрел в глаза Александре, потом кивнул, потупился, кашлянул и вышел. Из низкого окошка Александре было видно, как старичок прошёл до калитки, поднатужившись, взвалил на спину обе свои доски.

Она огляделась. В комнате было прохладно и темно. По широким половицам подошла к высокому комоду с выдвигаемыми ящиками. На нём лежал широкий альбом в крепкой зелёной обложке с полуманной медной застёжкой и выцветшей золотой виньеткой: Фото. На твёрдых карточках из наркомовского сумрака глядело уверенно скуластое лицо с выпирающим подбородком; глубоко посаженные глаза смотрели из-под лакового козырька фуражки, в петлицах три треугольника, френч с накладными карманами на груди, португепя. На другом снимке, уже не во френче, а в гимнастёрке, похудевший, в пилотке, стриженный «под ноль» отец стоял на фоне какой-то стены, рядом с размытой тенью дерева, и гимнастёрку его украшал орден Красного Знамени. Глядя на эти фотографии, Александра, не выпуская альбома, подошла к небольшому зеркалу в простенке. Нет, она не казалась себе так уж похожей на отца. Повернулась в полупрофиль, снова анфас. Да уж явно не на мать, подумала она, отмечая те же скулы, тот же волевой подбородок, крепкую линию губ. Она перевернула страницу, и ей в лицо ударила белая летняя послевоенная Ялта, и смуглый брюнет в рубашке с отложным воротом обнимал крепкой рукой улыбающуюся молодую женщину в светлой панаме, а между ними стоял, задрав голову, вихрастый мальчонка в матроске. Александра захлопнула альбом. Вспомнила похороны матери. Вспомнила её последнюю улыбку: «Теперь уже скоро с ним буду...»

Прошёл ещё час. Александра Матвеевна сидела за столом у окна и больше не открывала альбом. Сонно ползали пчёлы по нагретому подоконнику. Ударил калитка, она подняла глаза и увидела моложавого старика с косой, лезвие которой было обмотано белой тряпичей. Длинная светлая рубаха, надетая навыпуск, открывала мосластые ключицы. Торчали крупные нос и кадык. По первому взгляду отец напомнил Александре тех могучих стариков, которых изображал на своих картинах Микеланджело Буонарроти. Но седая стриженная борода смягчала его лицо. Он шёл торопливо и как бы незряче улыбаясь, исчез на секунду и снова появился, уже в комнате; остановившись в проёме двери, согнулся, подавшись вперёд, щурясь, вглядываясь; губы у него дрогнули, и, распахнув руки, он робко пошёл вперёд. Александра встала и, обдёрнув юбку, протянула ему руку.

Сели. На столе два чайные пары. Конфеты в выцветших обёртках.

Старик ровным негромким голосом, который он иногда подкреплял кашлем, рассказал Александре, как в сорок третьем году его после ранения списали вчистую, как женился на медсестре из тылового

госпиталя, как за литр самогонки приятель-земляк, служивший при штабе, шлёпнул ему печать на извещение о том, что младший лейтенант Дронов пропал без вести. О том, как жил первое время после войны, как схоронил свою жену-медсестру и сына, погибших в автомобильной аварии. Грузовик перевернулся на трассе перед рейсовым автобусом Новороссийск — Сочи. Как долго не решался объявиться своей первой семье, как нашёл их адрес и вот наконец написал.

«Как там Сенька? Где трудится? Женатый? А ты?» — поглядел на её руку без кольца.

«Не жалеешь, что бросил нас?» — спросила Александра голосом как на собрании, внутренне напрягаясь, чтобы сказать этому чужому человеку «ты».

Старик вздрогнул и, не уводя глаз, зазвеневшим голосом повёл: «Очень просто. Молодой был. После войны по-другому увидел. Подумал, что после всего, что было, я уже другой...»

«А теперь, значит, опять прежний?» — спросила Александра.

Старик усмехнулся в сторону, встал из-за стола, вынул из комода коробку папирос, чиркнул спичкой. «Прежним уже не станешь... — он пару раз нервно дёрнул подбородком. — Мне себя оправдывать не нужно, — левая бровь полезла вверх, вниз от носа выступила глубокая морщина, — я за всё, что надо, сам отвечал и отвечу». Потом он быстро заморгал, бросил зашипевшую папиросу в ведро под рукомойником и отвернулся, стоя в синем дыму единственной сделанной затяжки.

«Чужой человек, совсем чужой злой старик, — подумала Александра и одновременно испугалась, — нервный, может, контуженный».

Прощалась торопливо, отводя глаза. «У меня нет времени, я на два дня отпросилась, надо ехать, поезд». — «О себе хоть расскажи». — «В другой раз расскажу». На пороге всё же обнялись. Александра постояла, как деревянная, чувствуя спиной большие ладони старика, глянула на косу, стоявшую в сених, и выбежала на улицу.

Вечер был тихий, душный. В тучах за окраиной деревни вспыхивали зарницы, и не успела Александра дойти до навеса автобусной остановки, как дождь ударил отвесными струями в мучнистую пыль дороги, загрохотал по навесу, и маленький автобус подошёл как бы в ореоле отлетавших от него брызг. Вдруг начавшись, ливень так же быстро прошёл, и солнце ещё долго и мрачно смотрело красным глазом из-под чёрного облака на горизонте, озаряя поля и стену леса.

Снова была круглая брусчатая площадь с гипсовым пионером, высокие двери вокзала, деревянный перрон и подошедший поезд с нагретыми за день боками вагонов.

И только в поезде ахнула, стукнуло сердце, когда увидела в сумке угол голубой сорочки. Забыла отдать. Но, даже не допив стакан чаю, Александра сначала облокотилась, потом легла на подушку и, засыпая, ещё слышала лёгкое дребезжание подстаканника на столике.

Снился ей тяжёлый, утомительный сон, будто вечером, на закате, долго бродит она по кладбищу и никак не может отыскать могилу своего отца; находит наконец, но видит, что над могилой стоит памятник — гипсовый пионер с косой. . .

Проснулась серым туманным утром; поезд долго втягивался по пригородным путям, за оконной занавеской уже мелькали знакомые улицы, соседи вытаскивали вещи в коридор, проводница открыла дверь вагона.

На перроне Александру встретил брат. Семён как раз дежурил в этот день, был в чёрной форме с железнодорожными молоточками в петлицах и смотрелся солиднее, чем в обычной жизни. «Ну?» — спросил он сразу, принимая у сестры сумку. «Да, ничего, — ответила Александра. — Правильно ты сказал, ошибка, однофамилец оказался». — «Во как!» Александра пожала плечами: «Бывает. . .» — «Жалко», — сказал Семён. Александра посмотрела на него: «Да. Жалко». — «Я бы, чтоб хоть раз батьку повидать, не знаю что отдал», — он махнул рукой, отвернулся, и Александра, в какой уже раз, отметила его материнский профиль.

У Александры оставался ещё один свободный день, поэтому, добравшись до дому, она, не переодевшись с дороги, сразу сходила магазин и принялась готовить обед; сжав губы, стучала ножом по разделочной доске, рубила капусту. Когда с обедом было покончено, взялась мыть полы, яростно шуровала шваброй по углам и наконец, умаявшись, повалилась на диван, стала механически разбирать сумку. Наткнулась рукой на что-то лёгонькое, шелестящее. Леденец, тот, что подарила ей в поезде маленькая девочка. Александра разорвала обёртку и принялась, кусая, торопливо грызть его, пока не добралась, зажмурившись от слёз, до сладкой, как в детстве, деревянной палочки.

Эдуард Русаков

Шорт-лист

Малая проза на разные темы

Когда не с кем словом перемолвиться, а так надоело разговаривать с самим собой и так хочется с кем-то не просто пообщаться, но даже посоревноваться в праздном сочинительстве, в голову приходят шальные идеи. К примеру: почему бы не провести конкурс на лучший печальный рассказ? Ведь не все же писатели такие уж оптимисты, такие жизнерадостные и лучезарные... Лучше всего, конечно, было бы попробовать перевоплотиться в разных вымышленных авторов — но на это, боюсь, у меня не хватит фантазии и стилистической сноровки... Тогда почему бы не посоревноваться с самим собой?

Вот же он, шорт-лист моих коротких грустных рассказов. Сам выберу победителя. Сам себе выдам премию. Сам себя похвалю. Сам себе скажу спасибо. Сам у себя возьму интервью. Сам себя буду читать и перечитывать. Сам себя выучу наизусть. Сам себя буду цитировать. Сам себе буду завидовать. Ну и так далее. Как всегда, как обычно.

1. «Плачь, Юра, плачь»

Юрий Иваныч никогда не плакал.

Так его мама с пелёнок приучила: «Ты же мужчина, не будь плаксо-сой!»

И он никогда не плакал.

Даже в раннем детстве, когда его обижали во дворе пацаны, он сжимал губы, хватал камень или палку и набрасывался на обидчика. Пацаны разбегались в страхе и впредь старались не трогать Юру: мол, зачем с этим психом связываться?

Даже в школе, когда учительница ставила ему двойку за плохую «домашку», он не плакал, а только бледнел и дерзко улыбался. И в следующий раз получал пятёрку.

Даже когда его предал лучший друг, которому он помог устроиться на работу в престижный офис, а друг рассказал потом шефу о том, как Юра подшучивает над женой шефа, и тот выгнал Юру с работы,— даже тогда он не плакал, а лишь молча стискивал зубы. И в следующий раз был умнее.

Даже когда жена Юры изменила ему с его бывшим лучшим другом, он не плакал и не кричал, а просто ушёл прочь, оставив жене и дочери

трёхкомнатную квартиру, за которую продолжал исправно платить, а сам поселился в «однушке» у старенькой мамы.

Даже когда его повзрослевшая дочь, без конца повторявшая, что, мол, «надо валить из этой страны», попросила вдруг у него приличную сумму денег — он отдал ей все свои сбережения, и она улетела с каким-то ловким брюнетом не то в Израиль, не то в Грецию, и ни телеграммы потом от неё, ни звонка, ни эсэмэски, — даже тогда он не плакал, а лишь поседел и стал слегка заикаться.

И даже когда умерла его старенькая мама, Юрий Иваныч не проронил ни слезинки — ни на похоронах, ни на поминках. И когда его бывшая жена, оказавшаяся с ним рядом на поминальном застолье, как бы сочувственно шепнула ему: «Ты, Юрка, поплачь — легче станет...» — он лишь отмахнулся от неё, как от навозной мухи. Ведь это же мама, мама, это мама его всегда учила, что не надо, не надо плакать! И он не плакал. Он лишь совсем перестал улыбаться.

Прошли годы, Юрий Иваныч постарел и жил в полном одиночестве. Редко выходил из дома, ни с кем не встречался, никого не звал в гости, да и некого было звать. По ночам ему часто снилась мама.

Вот и нынче, спустя двадцать лет после её ухода из жизни, мама приснилась — и с упрёком спросила сына: «Что ж ты, Юрочка, даже слезинки на моих похоронах не проронил?» — «Мама! — воскликнул Юрий Иваныч. — Но ведь ты же сама меня с детства учила — никогда не плакать!..» — «Мало ли чему я тебя учила? — усмехнулась мама. — Значит, я была не права. Все нормальные люди плачут. А ты — как бревно бесчувственное...» — «Так что же мне делать?!» — «Плачь, Юра, плачь».

Он проснулся весь в слезах.

— Мама, мамочка, — шептал, — но как же так?..

И с этого момента всё, что он видел вокруг, заставляло его безудержно плакать. И маленькие детишки, которых он встречал во дворе, на улице или в парке. И тот старый дом, где когда-то прошло его детство; и другой дом, где когда-то он жил с женой и дочерью; и здание университета, где он учился; и его бывший офис; и краевая библиотека, где он в течение многих лет был одним из самых активных читателей; и Суриковский сквер, на скамейках которого он частенько сидел со своей первой любовью; и случайные встречные люди, многие из которых казались ему хорошо знакомыми, но он их не помнил, совсем не помнил, а может, просто не узнавал, хотя они с ним здоровались и улыбались ему при встрече, а он еле сдерживался, чтобы не разрыдаться.

Всё вызывало в нём слёзы! Банальный лирический стишок, услышанный по радио, пошленький мелодраматический сериал на телеэкране, пролетевшая за окном синичка, примелькавшийся, но словно впервые увиденный образ мадонны на репродукции Рафаэля, висящей на стене его комнаты, случайное воспоминание о давних встречах, — всё это заставляло его всхлипывать, а то и рыдать безутешно.

Что же делать?! Как быть? Ведь дальше так жить невозможно!

И Юрий Иваныч вспомнил, что у него есть давний-предавний приятель, врач-психиатр. Лет двадцать они не виделись, но тут надо было принимать срочные меры — и Юрий Иваныч решил обратиться к нему за помощью.

Встретились они в психодиспансере в конце рабочего дня, когда все пациенты уже разошлись и врач тоже собирался идти домой. И тут в дверь его кабинета постучался Юрий Иваныч.

Психиатр тепло его принял, внимательно выслушал — и не стал выписывать никаких рецептов, а лишь рассмеялся и потрепал его по плечу:

— Не бери в голову, дружище! Ничего страшного! Это обычная старческая деменция! Слабодушие, слезливость, сентиментальность... Это нормально!

— Но что же мне делать? Как жить? — прошептал Юрий Иваныч. — Я не могу без слёз смотреть на этот мир!..

— Ты не один такой... — и психиатр ему подмигнул. — Я, брат, с возрастом тоже стал плаксой... Мне давно пора на покой, уж лет десять — пенсионер... Но разве на пенсию проживёшь? Впрочем, не будем о грустном. Давай-ка мы лучше выпьем... — он достал из ящика стола бутылочку коньяка и два стакана. — Рабочий день закончился — имеем право... Ты как?

— Ну... не знаю... давай...

— Молодец!

Они чокнулись.

— За нас, маразматиков!

Они выпили.

— Пей, Юра, пей!

2. «Роев ручей»

— Ну что, ребята, сегодня у нас последний урок перед новогодними каникулами, — сказала учительница Роза Патрикеевна. — Выключайте гипноутбуки — и марш на крышу! Полетим на экскурсию! В антропарк «Роев ручей»!

— Ура! Виват! Банзай! — закричали разноцветные мальчишки и девчонки.

— Лучше бы на площадь, на ёлку, — скривила губки смуглая девочка Соня.

— На ёлку ты вечером с мамой-папой сходишь, а в «Роев ручей» далеко, только на вертолёте можно долететь, — сказала Роза Патрикеевна. — Кстати, не забудьте, что завтра — ёлка в школе... Чтобы все — как штык!

— Не забудем! — хором крикнули ребята.

Вертолёт на школьной крыше уже тарахтел в ожидании пассажиров.

Полёт был недолгим. В широких иллюминаторах проплывал солнечный предновогодний Кырск: хрустальные небоскрёбы, изумрудные

скверы, центральная площадь с памятниками вождям минувшей эпохи — Ленину, Путину, Скоморохову... А вот и красавец Енисей, несущий свои бурные воды, и острова, покрытые пышной зеленью, и новые коттеджи на правом берегу, и предгорья Саян, и вечные скалы Ермак, Такмак...

— Какая красота! — воскликнула Роза Патрикеевна. — Как повезло нам, ребята, что мы живём в таком райском краю... Вы только представьте: к примеру, в Париже сейчас холодище, а у нас в Сибири — как раньше в субтропиках — плюс двадцать пять! Ещё двадцать лет назад это невозможно было представить...

— Ничего удивительного, — фыркнула девочка Соня. — Глобальное потепление плюс климатические манипуляции китайских хакеров...

— Ну, это не твоего ума дело, — одёрнула её Роза Патрикеевна. — Хакеры тут ни при чём. Всемогущий Господь возлюбил Россию — и глобальное потепление захватило только нашу страну...

— И Китай, — добавила вредная девочка Соня. — А также Индию, и ещё...

— Прилетели! — объявил пилот. — Вот вам «Роев ручей».

— Дети, выходим быстренько на площадку, — распорядилась Роза Патрикеевна. — Не разбегайтесь, держитесь ближе ко мне. Все готовы? Пошли!

— А мне папа рассказывал, что раньше в «Роевом ручье» был зоопарк, — сказала смышлёная девочка Соня. — А сейчас тут зверей нету?

— Твой папа прав, — кивнула учительница. — Раньше тут были львы, тигры, медведи... и много других зверей и птиц. Но уже лет десять как зоопарк находится в другом месте, а «Роев ручей» — антропопарк, где в клетках и вольерах содержатся представители вымерших или вымирающих пород homo sapiens, например, североамериканские индейцы, различные африканские туземцы, наши селькупы, энцы, нганасаны и кеты...

— Что за кеты? — нахмурилась девочка Соня.

— Их ещё называют кето... Впрочем, вот же он, единственный представитель этого исчезнувшего вида! — и Роза Патрикеевна подвела детей к большой клетке, где на пеньке возле шалаша сидел бородастый пузатый седой старик в одних трусах. — Привет, Эжен!

Тот не ответил, лишь исподлобья глянул на учительницу и продолжил своё странное занятие. На коленях у Эжена лежала большая доска, на которой он что-то царапал острой железной палочкой.

— Как дела, Эжен? — спросила Роза Патрикеевна.

Он только нахмурился.

— А как он здесь оказался? — спросила девочка Соня.

— Много лет назад он добровольно подверг себя криостазу, то есть заморозке, — стала объяснять Роза Патрикеевна. — Ну, это чтобы потом...

— Да я знаю, знаю, — перебила бестактно Соня. — Мне папа рассказывал про криостаз... А что потом?

— А потом, спустя много лет, его разморозили. Он вроде был жив, здоров... Но совсем не мог адаптироваться к новой жизни... был как ребёнок — дик, слабоумен, туп... Не мог усвоить простейших навыков. Представляете — он даже телепатией и телекинезом не смог овладеть!

— Ни фига себе, — сказала Соня. — А чем же он там занимается, в своей клетке?

— Чего-то пишет, как первобытный... Всё пишет и пишет.

— Как это?

— Ну, буквы, слова... Разве тебе папа не рассказывал, что раньше все люди писали и читали? И вот наш кет Эжен — всё пишет и пишет. Царапает чего-то на дощечках. У него там в шалаше уже куча этих исписанных дощечек... Или — палочкой на песке. Впрочем, вам не понять.

— Он на своём языке пишет?

— Нет, на русском.

— А зачем? Ну... зачем он пишет? И для кого? Если есть телепатия, гипноутбук, вербальный принтер... Зачем писать?

— Так ведь он — писатель.

— Это что, порода такая?

— Ну да. Помнишь, на уроках по истории культуры я вам рассказывала, что были когда-то такие люди — писатели, они книги писали, а другие люди — читатели — эти книги читали?..

— Чудеса, — и Соня покачала кудрявой головкой.

— Да, такая вот вымершая порода. Писатель! Их таких в мире почти совсем не осталось. Говорят, есть один в Италии, один в Израиле... И у нас вот в Сибири — единственный экземпляр.

— А что он там пишет? Вот бы почитать! — сказал любознательный мальчик Эдди.

— Да всякую чушь! — отмахнулась Роза Патрикеевна. — Я как-то пробовала прочесть — ничего не поняла...

— А я обязательно приду сюда ещё раз, с папой, — сказала девочка Соня, — и мы постараемся прочитать то, что этот псих пишет.

— Привет папе, — вдруг буркнул Эжен, не поворачиваясь и не прекращая царапать палочкой на дощечке. Потом ухмыльнулся и похотливо добавил: — И маме привет... от дяди Эжена.

3. ЗА СЕКУНДУ ДО ПРОБУЖДЕНИЯ

За секунду до пробуждения мне приснилась моя любимая картина Сальвадора Дали «За секунду до пробуждения от звука полёта пчелы вокруг плода граната».

Там были и спящая красавица, и дикие свирепые звери, и даже плод граната, но не было пчелы... Как же так?

А когда я открыл глаза, то понял, что проснулся от звука полёта осы (не пчелы!) над моей холостяцкой кроватью. Ах ты, тварь!

Вот что значит — спать с открытым балконом.

Свежий воздух хорош, но чреват непрошеными гостями. И ведь я уже был научен горьким опытом, и не раз.

Помню, ещё в раннем детстве я с мамой провёл целый месяц в доме отдыха под Кырском. Спустя много лет я узнал, что, оказывается, в этом самом одноэтажном кирпичном здании с толстыми стенами (я ещё удивлялся: зачем дому отдыха такие толстые стены?) до революции был мужской монастырь. А вскоре после революции всех монахов, послушников и настоятелей расстреляли (сейчас там, на месте расстрела, можно увидеть большой деревянный крест), а два храма, часовню и резиденцию архиерея разрушили. Сейчас, как известно, на месте дома отдыха (про который уже все забыли) возрождён монастырь. Короткая память спасает людей, помогает им (нам!) выжить.

Так вот, однажды в том доме отдыха, когда мама ещё спала, я был разбужен звуком полёта пчелы, нет, осы, нет, зелёной мухи вокруг моего лица. За секунду до пробуждения мне снилось, будто я стою в храме на коленях и священник благословляет меня и что-то произносит душеспасительное... И тут эта подлая зелёная муха!

— Мама! Мама! — закричал я, отмахиваясь.

— Что случилось, сыночек? — испуганно спросила разбуженная моим криком мама. — Тебе что-то приснилось страшное?

— Муха! Муха!

— Фу ты, Господи... как ты меня напугал, — сказала мама, отгоняя от меня зелёную гадину. — Спи, деточка. Ещё рано.

Но я больше не мог заснуть и пролежал до утра с раскрытыми, вытаращенными от страха глазами.

А спустя годы, в первую брачную ночь, сразу после свадьбы, мы с моей молодой женой вот так же спали с открытым балконом — и были так же разбужены звуком полёта пчелы (или осы, или шмеля) над нашим брачным ложем. И мы были ужалены — да, оба, одновременно и весьма преобильно. Боже, как я тогда ругался! Как рыдала ужаленная жена!

Вот так была отравлена наша первая брачная ночь. И, как после выяснилось, вся наша дальнейшая совместная жизнь также была отравлена. У нас не было детей, у нас не было мира, любви и согласия. Жена очень скоро от меня ушла. И вот уже сорок лет я живу один, совершенно один на этом жестоком свете, переполненном злыми крылатыми тварями.

А сегодня, за секунду до пробуждения от звука полёта пчелы над моим старческим одиноким ложем, мне вдруг приснились райские кущи — пальмы и кипарисы, павлины и попугаи, крылатые херувимы, порхающие с ветки на ветку...

«Слава Тебе, Господи!» — прошептал я, но в следующий миг меня больно ужалила пчела — и я проснулся.

И больше уже не мог заснуть никогда.

Бессонница — хуже ада.

4. Окно в Венецию

Сергей Кузьмич был большой романтик, мечтатель и фантазёр, но получал слишком маленькую зарплату. Он работал в школе учителем географии. Он любил свою работу. Он любил рассказывать детям о дальних странах, об экзотических морях и океанах, о чужой природе и погоде — и каждый раз, размахивая указкой возле карты мира, представлял себя капитаном корабля, великим путешественником, ненасытным туристом, открывателем новых земель... Ну и так далее, и тому подобное. Дети любили его уроки, заражались его любовью. И он их любил, детей.

Особенно ему нравилась девятиклассница Ева — сероглазая и светловолосая умница с ямочками на румяных щеках. Если честно — он был в неё влюблён, в эту чудесную девочку. Но старался скрывать свои чувства, чтобы никто не смог обвинить его в педофилии. Хотя сама Ева, конечно, угадывала его влюблённость — и ловко этим пользовалась, прогуливая уроки и выпрашивая себе пятёрки. Ни о каких ответных чувствах с её стороны не могло быть и речи. Она ещё не сошла с ума, чтобы влюбиться в этого невзрачного, плешивого дядьку с горящими глазами, в этого морщинистого мечтателя-неудачника.

А он и впрямь был неудачник, живущий в мире книг и фантазий. К своим пятидесяти годам он даже нормальной квартиры не смог приобрести. Родители умерли давно, он воспитывался в детдоме, потом школа, вуз, бездетный брак, мечты о ребёнке, который так и не родился, проживание в комнате гостиничного типа вдвоём с нелюбимой женой, бесконечные споры и ссоры из-за пустяков — и мечты об иной жизни, о любви, о счастье с ненаглядной Евой.

Кстати, Ева с его помощью ухитрилась закончить школу с золотой медалью, поступила в Кырский университет, но мечтала «свалить из этой дыры» и уехать как минимум в Питер или в Москву.

— А как максимум? — спросил с улыбкой Сергей Кузьмич.

— В Европу, конечно! — воскликнула Ева.

В этот вечер она согласилась пойти с ним в кафе и вдвоём отметить её восемнадцатилетие. Сергей Кузьмич подарил своей ненаглядной золотое колечко с рубином, доставшееся ему в наследство от мамы. А бокал шампанского придал ему смелости, и он намекнул на серьёзность своих матримониальных намерений, обещая в случае её согласия выполнять все просьбы и даже прихоти драгоценной возлюбленной.

— А как быть с женой? — лукаво спросила Ева.

— Мы давно разлюбили друг друга, — и он вздохнул. — Детей у нас нет... Так что можешь считать меня почти свободным.

— Ну да — почти... А не слишком ли я для вас молода, господин учитель? Вам не кажется, сударь, что вся эта ситуация — аморальна и антипедагогична?

— Я люблю тебя! — воскликнул Сергей Кузьмич. — Я люблю тебя уже три года!

— Три года и три месяца, — уточнила Ева. — Ровно столько времени прошло с того дня, как мы с вами познакомились на уроке географии...

— Я люблю тебя, — повторил он тоскливо. — Хотя знаю, что любовь моя останется безответной...

— Ну почему же? — возразила Ева. — Обещаю, что стану вашей, если вы...

— Говори мне «ты»!

— Хорошо. Если ты, Серёжа... — и она хихикнула. — Извини. Да, я стану твоей, если ты, Серёжа, устроишь мне поездку в Венецию.

— Куда-куда?

— В Венецию. Это мечта моей жизни. Будет Венеция — и я буду твоей. Могу дать расписку!

— Зачем же расписку?... Я верю... — забормотал ошеломлённый Сергей Кузьмич. — А ты потом выйдешь за меня?

— Если разведёшься с женой, выйду, — небрежно сказала Ева. — Зуб даю!

— Что? Какой зуб?

— Да это я шучу.

— Может, ты и насчёт Венеции пошутила?

— Я же сказала: могу дать расписку, заверенную у нотариуса! — начиная сердиться, сказала Ева. — Или тебе — слабó?

— Нет, я сделаю это! Я сделаю! Зуб даю!

И они оба рассмеялись.

И он сделал это.

Влез в долги, продал всё, что только можно было продать, — и отправился в сказочную Венецию с ненаглядной Евой. Незадолго до отъезда окончательно разругался с женой, которая со слезами и проклятьями ушла от него к своей старенькой маме. А буквально за день до его отъезда они с женой подали на развод.

— Я свободен!.. — радостно шептал Сергей Кузьмич, сидя рядом с Евой в самолёте, уносящем их в Москву.

Ну а там — пересадка на другой рейс.

И уже на следующий день они гуляли по улицам Венеции, обжиwali номер в гостинице, катались по каналам и лагуне на водных трамваях и гондолах.

— Ну как, ты довольна? — шептал он Еве.

— Ещё бы! Я так счастлива, мой Серунчик!

— Как... как ты меня назвала?

— Да это я пошутила... не сердись! Ты мой рыцарь! А я — твоя нимфа, твоя русалка!

— Ты моя Ева, а я твой Адам, — дрожащим от восторга голосом произнёс он.

— Посмотри, какая красота! — воскликнула Ева. — Какой чудесный дворец!

— Это дворец дождей, — сказал учитель географии. — А это — собор Святого Марка. С его колокольни открывается потрясающий вид! А сейчас мы с тобой выйдем на площадь Святого Марка, где бродят тени Наполеона, Томаса Манна, Жана Кокто, Марселя Пруста, Бориса Пастернака...

— Какие ещё тени? — испугалась Ева. — Где? Я не вижу!

— Ну, это я фигурально... Здесь побывало множество знаменитых людей, Евочка...

— А теперь — мы с тобой!

— Да. И мы с тобой... А в здешних музеях мы увидим шедевры Тициана, Беллини, Тинторетто...

— Ну, в музее потом, а сейчас я хочу прокатиться по Большому каналу!

— Желание девочки Евочки — закон, — сказал учитель.

И они прокатились на гондоле под мостом Риальто, полюбовались на «Золотой дом» и другие замечательные палаццо, а потом побывали на острове Сан-Микеле, посетили могилы Бродского и Стравинского, а на острове Бурано заглянули в музей стекла. Ну а вечером славно поужинали в кафе «Флориан» — красное вино, сыр, креветки, карпаччо из тунца...

Потом были ещё несколько сказочных дней и ночей. А в последний вечер, уже перед возвращением домой, они долго сидели в ресторане на площади Святого Марка, ужинали пиццей под музыку Вивальди, обменивались впечатлениями, но словно боялись говорить о будущем. Наконец учитель решился:

— Ну что, девочка Евочка, ты довольна поездкой?

— Ещё бы! Спасибо тебе, дорогой.

— Значит, как вернёмся — сразу в загс? Ты ведь обещала!

— Да, дорогой. Конечно. Кстати, признайся: а где ты достал деньги на эту поездку? Ведь сам говорил — у тебя ни гроша не было...

— А я продал свою гостинку.

— Да ты что?! Зачем?

— Как — зачем? Что за вопрос?..

— Но где ты теперь будешь жить?

— Ну... пока у тебя... А потом что-нибудь придумаем. Возьмём кредит, ипотеку...

— Но в моей «однушке» и так тесно! И потом — мы с тобой так не договаривались!

— Значит, ты меня к себе непустишь? — растерялся он.
— Конечно, нет! — взорвалась Ева. — На фиг ты мне нужен?! Ну и псих! Продал квартиру — ради одной поездки!
— Так ведь это же, Евочка, ради тебя... Ради тебя! Ты же сама просила!
— Но я тебя не об этом просила... Не-ет, права была твоя жена — ты псих. А ещё учитель!

Он смотрел на неё — и не узнавал.

Перед ним сидела чужая, совсем чужая, злая и жестокая женщина.

На их стол залетел голубь и стал клевать пиццу и салат.

— Пошёл вон! — закричал Сергей Кузьмич.

— Не кричи на птицу, — зашипела Ева. — На нас люди смотрят...

— И пусть смотрят! Я их всех ненавижу! И этих голубей ненавижу! Крылатые крысы! И Венецию ненавижу! Одна бутафория! Показуха!.. И тебя ненавижу!..

— ...Ну, тихо, тихо, — сказала испуганная жена. — Опять тебе страшный сон приснился?

— Что? Да... Это ты?

— А кто же ещё?

— А где Ева?

— Какая Ева? Господь с тобой, Серунчик. Спи спокойно, дружок. Спи, мой голубь... Спи...

Он оттолкнул её родные горячие руки, вскочил с кровати — и подбежал к окну, надеясь увидеть там площадь Святого Марка, дворец дождей, Большой канал, мост Риальто...

Но увидел — грязный двор своего дома, мусорные баки, детскую площадку с разломанными качелями и большой красивый чёрный «мерседес», какого у него никогда не было и никогда не будет.

5. ДОБРАЯ НЕВЕСТА

Арина была счастлива. Зелёные глазки её сияли.

Вчера вечером Антон признался ей в любви и предложил пожениться как можно скорее.

От счастья Арина даже онемела и лишь молча кивала, соглашаясь с каждым его словом. Да, конечно, Антоша. Да, милый, да, мой любимый. Да, я согласна. Да, через месяц свадьба. Как скажешь, Антоша. Да, я уволюсь из этой дурацкой конторы, да, перееду к тебе, а мою однокомнатную продадим. Да, да, да!

Ночь не спала, шептала: «Антоша, Антошенька, любимый, родной...»

А он на другом конце города крепко спал, довольный и тоже счастливый. Впрочем, он и не сомневался, что именно так всё и будет. А вот она до вчерашнего вечера — сомневалась, не верила. И когда Антон сделал ей долгожданное предложение и преподнёс обручальное золотое кольцо, чуть не умерла от восторга. Но не умерла.

Невыспавшаяся Арина встала рано утром, умылась, оделась, выпила стакан яблочного сока — и вышла из дома. Было воскресенье, на работу идти не надо. Зачем же она вышла? А Бог её знает — зачем. Может, ей просто хотелось поделиться со всем ещё не проснувшимся миром своим грандиозным счастьем?

К ней подбежала рыжая собака — и Арина дала ей косточку из вчерашнего супа, специально прихваченную в пакете.

— Кушай, Дружок!

Подбежала другая собака — тоже дворняжка, но чёрная и лохматая. Нашлась и для неё косточка.

— Кушай, Муся!

Подлетели три голубя — и Арина покрошила для них кусок белого хлеба, также припасённый заранее.

— Ешьте, милые, ешьте!

В песочнице сидел одинокий ребёнок — мальчик лет пяти-шести. Он лепил из песка пирамидку и всхлипывал.

— Не плачь, мальчик, — сказала Арина, протягивая ему конфету. — Не плачь, мой хороший. Где твоя мама?

— Она в магазин ушла... мне сказала: жди! Я всё жду и жду, а её всё нет и нет...

— Не плачь, деточка. Вон твоя мама идёт!

— Ну чего разнылся? — сердито буркнула хмурая женщина, подходя к ребёнку. — Где ты взял конфету? Говори!

— Не ругайте его, — ласково вмешалась Арина. — Это моя конфета. Конфета хорошая. И мальчик — хороший! Как тебя зовут, мальчик?

— Во... Вова...

— Все они хорошие, пока спят, — фыркнула злая мама. — А вы своего заведите — и с ним цацкайтесь!

— Ну что вы, зачем вы так? — улыбнулась Арина. — У меня скоро тоже будут дети...

— Вот когда будут, тогда и поговорим... Пошли, Вовка!

— Какие недобрые люди, — прошептала Арина, глядя им вслед с улыбкой. — Сами не понимают своего счастья...

— Подайте на пропитание, — тронул её за рукав старый дядька, от которого несло перегаром. — Два дня не ел... маковой росинки во рту не было...

— Вот, возьмите пятьдесят рублей, — Арина протянула ему бумажную денежку. — Купите себе булку и молока...

— Спасибо, дочка. Дай Бог тебе жениха хорошего.

— Бог мне уже дал жениха! — радостно призналась Арина. — И мы скоро поженимся...

— Значит, выпью за ваше здоровье, — сказал нищий и хихикнул, — молочка выпью!

Арина подошла к перекрёстку и помогла какой-то старушке перейти через улицу. Потом зашла в парк, прошла мимо фонтана, по

центральной аллее до колеса обозрения и там увидела двух дерущихся парней. Из-за чего они дрались, она не знала, да и не всё ли равно? Но в этот день, как она была уверена, все вокруг должны быть счастливы — и Арина бросилась разнимать драчунов. С трудом, но это ей удалось. — Ребята! Хватит! Ну как вам не стыдно? В такой день — разве можно драться?

— Что ещё за особенный день? — прохрипел один из парней. — И откуда ты вообще взялась?

— Я живу вон в том доме, на третьем этаже, — сказала Арина.

— Вот и вали на свой третий этаж!

— Ну зачем вы так? Ну пожалуйста — помиритесь!

— Ага, щас! — буркнул один и сплюнул кровавую слюну.

— Ладно, живи пока, — сказал ему другой. — Но мы ещё встретимся... козёл!

— Вали кулём, рахит, — буркнул первый.

— Ребята, мир! Мир! — крикнула Арина.

Драчуны, матерясь, разошлись в разные стороны.

Арина пошла дальше. В самом дальнем, глухом конце парка, за старым полуразрушенным павильоном, она вдруг увидела своего соседа Степаныча, который явно собирался повеситься на тополиной ветке, перекинув через неё верёвку с петлёй. Он уже сунул в петлю голову — но тут к нему подскочила Арина и так сильно дёрнула его за ноги, что ветка обломилась.

— Степаныч! Как вам не стыдно?! — закричала она. — Как можно?! Ведь жизнь так прекрасна!

— Ты кто? — прохрипел Степаныч, открывая глаза. — Кто тебя звал, дура?

Он так и сидел на земле с петлёй на шее.

— Скажите спасибо, что я вас спасла!

— Да пошла ты...

— Успокойтесь, Степаныч... — она села на землю рядом с ним, прижала его голову к себе, погладила по жёстким волосам. — Всё будет хорошо, Степаныч... Жизнь так прекрасна!..

— А ты кто — сестра милосердия? — хмыкнул самоубийца-неудачник.

— Ну, можно и так сказать... — и Арина ласково рассмеялась. — Ох и чудак же вы!

— А ты, девка, ничё, вкусная, — улыбнулся Степаныч, и тусклые его глаза хищно блеснули. — Раз уж спасла мужика — окажи ему скорую помощь...

И он крепко прижал её к себе и полез к ней под юбку.

— Что вы делаете?! — вскрикнула Арина, пытаясь вырваться из его рук. — Как вам не стыдно?..

— А чё мне стыдиться? Я же псих ненормальный... а ты — сестра сексуального милосердия! Вот и спасай меня... Раз моя баба от меня отказалась — ты выручай!

— Не надо!.. — прошептала Арина, в ужасе закрывая глаза. — Пожалуйста... Я вас очень прошу...

— Славно, славно! — раздался вдруг совсем рядом знакомый голос. — Вот как, значит, ты готовишься к нашей свадьбе?

Да, это был он — её любимый, её ненаглядный жених Антон — белокурый красавец с багровым от гнева лицом. Он стоял возле тополя и недоумевающе смотрел на свою невесту, лежащую в объятиях какого-то грязного алкаша.

— Антоша! Милый! Родной! Слава Богу, ты вовремя появился! А то этот неблагодарный хотел меня...

— Эй, парень... Иди куда шёл! — прохрипел, вставая, Степаныч. — Эта девка — моя!..

— Заткнись, мразь, — сказал Антон и резким ударом сбил Степаныча с ног. — Лежи и не возникай. Притворись мёртвым.

— Антоша! Любимый! Ты мой спаситель! А это — Степаныч, мой сосед... Он сам виноват! Я его спасла, а он... Представляешь, он хотел повеситься, но тут я...

— Не рассказывай сказки, — прервал её Антон. — Не держи меня за идиота.

— Я его спасла, спасла! А он — свинья неблагодарная... А ты... А ты — спас меня, Антоша... Куда же ты, милый?! Вернись!

— Да пошла ты... сука.

И мир рухнул, и солнце погасло.
И никто ничего не заметил.

6. КОМНАТА СЧАСТЬЯ

Когда старик вышел из комнаты, то есть из комы, всё вокруг показалось ему совершенно новым, преображённым, наполненным солнечным светом и радостью. Даже лицо жены, прежде хмурое и насупленное, было озарено приветливой улыбкой.

— Просыпайся, засоня! — сказала жена, которая выглядела намного моложе мужа. — Хватит валяться. Доктор сказал, уже можно вставать...

— А я долго лежал? — спросил старик.

— Очень долго. Как раз к юбилею проснулся...

— К юбилею? Какой ещё юбилей?

— Тебе завтра стукнет восемьдесят... Веселись, старикашка!

— Быть не может! — и он даже привстал на кровати. — Восемьдесят?!.. Это сколько же я пролежал?

— Деда, двойка тебе по арифметике! — весело крикнула внучка. — Отними от восьмидесяти семьдесят пять — и получится...

— Неужто пять лет? — ужаснулся старик. — А сколько ж тебе, моя зайка?

— Мне уже тринадцать, — гордо сказала внучка, — я в седьмой класс перешла. А у тебя завтра — юбилей.

— С ума сойти,— прошептал он.— Может, всё это мне только снится?
— Нет, папа, это не сон,— с улыбкой возразил седовласый сын, склоняясь над кроватью.— Тебе помочь встать?
— Да я сам,— и старик, кряхтя, поднялся с постели.— Хотя... Поддай костыль, а то упаду...
— Вот твой костыль... Пошли в ванную, я тебе помогу помыться, принять душ. А потом вместе обсудим, как нам отметить твой застрашный юбилей.
— Да мне всё равно,— сказал старик.— Я в себя ещё прийти не могу. Как бы мне от радости снова не впасть в кому...
— Тьфу-тьфу-тьфу,— отмахнулась жена.— Не каркай. Жив — и слава Богу. Иди мойся. Или тебе помочь?
— Я сказал же — сам! Впрочем, постой-ка...— он вдруг задумался и поднял дрожащую руку.— Ты мне вот что скажи: а кто у нас сейчас президент?
— Чего?— жена побледнела, скосила глаза на сына, тот подмигнул и кивнул: мол, давай, не бойся.— Так ведь это... нет у нас теперь никакого президента... Теперь вся власть принадлежит простому народу! И партия у нас одна...
— Какая?
— Твоя партия, коммунистическая. Ты же в ней всю жизнь состоял...
— И горжусь этим! — прохрипел старик.— Значит, снова советская власть? Значит, снова Советский Союз?
— Да, папа,— подтвердил сын.— И коммунизм мы уже построили. Всё как ты мечтал!
— Не я один — все мечтали! — восторженно проговорил старик.— Народ не может жить без мечты. Я же помню, как в шестьдесят первом году, на двадцать втором съезде партии, была принята программа, где были такие слова: «Партия торжественно обещает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
— И партия сдержала своё обещание,— подтвердил сын.— И мы с мамой тоже вступили в партию.
— А я — комсомолка! — воскликнула внучка.
— Это просто чудесно,— прошептал старик, тяжело дыша.— Теперь мне и помирать не страшно...
— Зачем помирать? Живи! — и сын хлопнул его по плечу.— Медицина достигла сказочных успехов, средний возраст советского человека — сто десять лет... а при соблюдении диеты и гигиены можно прожить и дольше. Так что, папочка, живи и радуйся!
— А какая у меня пенсия? — напрягся старик.— Помню, было всего пятнадцать тысяч... Не хотелось бы жить на вашем иждивении...
— Какая пенсия? — рассмеялся сын.— Никаких пенсий, никаких зарплат. Ты на полном обеспечении государства. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Все заняты только любимой работой, значит — все счастливы... Мы ведь живём при коммунизме!

— Да, но... непривычно как-то... И что, совсем нет никаких денег?

— А зачем? — хмыкнула жена. — Просто есть контролёры в товарных центрах, которые следят, чтобы люди не брали лишнего... Но всем всего хватает. У нас, например, есть своя машина, дача, большая квартира...

— А у меня — велосипед! — похвасталась внучка.

— Всё равно... непривычно — совсем без денег, — пробормотал старик. — И я, значит, смогу получить всё, чего захочу? И лекарства, и продукты?

— Конечно, папа, — кивнул сын. — Ты мне скажешь, чего тебе хочется, — и я всё для тебя возьму в товарном центре. Ты заслужил достойную и обеспеченную старость своим многолетним трудом и партийным стажем.

— А как в других странах? — спросил старик. — Как относятся к нам в Америке и в Европе? Как они всё это терпят?

— Ох, отец, отец, — покачал головой сын. — Нет никаких других стран... нету! Есть одна ВФКР!

— Что это такое?

— Всемирная федерация коммунистических республик! С мировой столицей в Москве... Ну да я тебе потом всё подробнее расскажу. Не всё сразу, папа!

— С ума сойти... — прошептал старик, и по щеке его скатилась мутная слеза. — О таком я даже и не мечтал... Слава Тебе, Господи!..

— Бог тут ни при чём, — возразил сын. — Это всё люди сделали. Такие, как ты, отец.

— Да здравствует дедушка! Ура! — воскликнула внучка.

— А можно мне с тобой сходить... в этот товарный центр? — робко спросил старик. — И вообще... Очень уж хочется самому посмотреть на новую жизнь...

— Папа, пока нельзя, — строго сказал сын. — Врач запретил тебе выходить из дома. Можно лишь вставать, сидеть за столом, читать книги...

— А газеты? А телевизор? А ноутбук?

— Нет, ни в коем случае. Врач запретил тебе все средства массовой информации. Твоя нервная система ещё очень слаба. Любой стресс может вызвать скачок давления — и новый инсульт. Потом, со временем... когда врач разрешит... наберись терпения.

— Ну ладно, — кивнул старик. — Потерплю, пока врач не разрешит... Главное — вы меня не забывайте!

— Я всегда буду рядом, — сказала жена.

— И я буду заходить каждый день, — пообещал сын.

— И я! И я! — захлопала в ладоши внучка. — Ты, деда, тут не скучай, я к тебе буду часто забегать... А потом, когда врач разрешит, мы с тобой пойдём на прогулку. Куда ты хочешь со мной пойти?

— С тобой? Ну... в парк, наверное. Он же рядом. Покатаемся на колесе обозрения, сходим в комнату смеха, в комнату страха...

— Лучше — в комнату счастья! — воскликнула внучка. — Там так здорово, в комнате счастья...

— А что там такого особенного? — заинтересовался старик.

— Сам увидишь, — подмигнула внучка. — Но каждый, кто туда заходит, чувствует себя потом ужасно счастливым!.. Там такие экраны, на которых каждый видит то, что ему хочется... и вокруг звучит музыка, которую ты сам пожелаешь!.. Это сказка!

И она залилась звонким смехом. Бабушка и отец переглянулись.

— Ну, ладно, мои хорошие, — сказал старик, снова укладываясь в постель. — Что-то я устал... притомился слегка... Вздремну чуток, уж вы извините. Потом приму душ... и позавтракаю... потом, чуть позже...

— Конечно, папа, ты отдыхай, — сказал сын и потянул за собой дочку.

— Спи, дорогой, — сказала жена — и тоже тихо вышла.

А старик лежал с закрытыми глазами, но не спал. Он прислушивался.

Он слышал, как жена и сын с внучкой уселись за кухонный стол и стали завтракать. Он прислушивался к их голосам, но тщетно.

Тогда старик, стараясь не шуметь, встал с кровати, подошёл к двери, приоткрыл одну створку — и прислонился ухом.

—...А ведь он поверил, поверил! — жарким шёпотом говорил сын. — И в коммунизм поверил, и в то, что деньги отменили... Знал бы он, что у нас ничего, ничегошеньки не изменилось! И президент тот же, и премьер... И вообще...

— Ничего, пусть потешится, — сказала жена. — Это будет ему от нас как бы подарок к юбилею. Врач ведь говорил, что ему остались считанные дни... вот и пусть перед смертью порадует. Ещё Александр Грин в «Алых парусах» учил, что надо делать чудеса своими руками... для тех, кого любишь...

— А мне дедушку жалко, — сказала внучка. — А если он догадается? — Если ты не проболтаешься — не догадается, — строго сказал сын-папа.

— Я не проболтаюсь, — пообещала внучка. — А вдруг — врач?..

— Врач в курсе.

— Всё равно мне дедушку жалко, — и внучка всхлипнула. — Ведь он скоро умрёт...

— Не хнычь, а то дед услышит!

— Я не буду, не буду...

А старик так же тихо, стараясь не шуметь, вернулся в постель — и долго лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок.

— Не бойтесь, я вас не выдам, — прошептал он. — Я притворюсь, что поверил, вы даже не догадаетесь... Я всю жизнь притворялся. Я привык притворяться. Много лет я притворялся, что верил в коммунизм, а потом притворялся, что верю в демократию... Одно время я даже притворялся, что верю в Бога. Но на самом деле я никогда ни во что

не верил. Мне просто хотелось, чтобы всем было хорошо, особенно моим близким. Но я притворюсь ещё раз, будто поверил в вашу сказку, в эту вашу комнату счастья... Лишь бы вы были живы и здоровы, мои родные, мои дорогие, мои любимые...

Старик сладко вздохнул — и крепко-крепко заснул.

Спи, дедуля.

И больше не просыпайся.

Сергей Сутоцкий

Незаконченный портрет

Утреннее сентябрьское солнце белым шаром выплывало из-за школьного забора. Высокий клён за окном беззаботно помахивал Пашке жёлтыми ладонями. Солнце бросало в школьный класс пригоршни золотистого света; они пятнами бродили по стенам, партам и лицам, заставляли жмуриться и чихать.

Вот уже неделю Пашка рисует лицо.

Началось это с первого дня занятий после летних каникул: Симка, Серафима Немкова, проходила мимо него к своей парте, её длинная коса розовым бантиком скользнула по Пашкиной щеке... Всё было бы ничего, но сосед по парте Мишка Косынкин в тот день не пришёл в школу. Пашке не у кого было попросить карандаш и листок бумаги, чтобы записать расписание уроков, и он повернулся назад к Тане Вяткиной, но увидел её, Симку, и загляделся — прошедшее лето сделало её какой-то загадочной, другой.

Таня была запаслива, она вынула из портфеля карандаш и целую тетрадь.

— Завтра вернёшь мне такую же.

Он кивнул и ещё раз глянул на Симку, и... всё началось. Карандаш сам попросился в руку. Тонкие линии ложились на бумагу одна за другой. Симка сидела на соседнем ряду и чуть позади. Пашке приходилось то и дело оглядываться, чтобы схватить, как говорил отец, натуру.

Но слишком часто и долго смотреть на Симку нельзя, очень уж не хотелось попадаться ей на глаза. Как только она поднимала лицо от своей тетради, Пашка отворачивался или притворялся, будто смотрит куда-то мимо неё в класс. Но однажды она всё же поймала его изучающий взгляд, и черты её лица сделались неуловимы, быстро таяли в памяти. Жаль... Портрет был уже почти готов: открытый высокий лоб, пряди волос на нём, витые струи широкой косы, спадающей вперёд через плечо, мягкие волны бровей, нос и тонкие, слегка упрямые губы. Оставалось дорисовать только глаза.

Но Пашке приходилось прятаться ещё и от вьедливых взглядов учительницы русского языка Нины Петровны. Её влажные, покрасневшие от простуды глаза пытались разгадать причину его вертлявости, пронизывающе замирали и округлялись. Порой её брови подымались к морщинам на лбу, и тогда она тихо сморкалась в платок, а потом

подымалась из-за стола, проходила по классу, подолгу стояла у Пашкиной парты.

И уже несколько раз за этот день Нина Петровна вызывала его к доске. Пашка терялся, мямлил. Класс посмеивался, что-то ему подсказывал. Мел крошился и сыпался на пол.

Симка не смеялась — заострённые худые плечи, обтянутые белой пушистой кофтой, держали гордо выпрямленной её фигурку Снежной королевы, её голубые глаза спокойно светились.

Наконец Нина Петровна села за свой стол.

— Сегодня вы напишете сочинение на тему «Как прошло моё лето», — сказала она. — Даю десять минут, как раз до конца урока. Пишите разборчиво, чтобы я могла прочитать. Павел Дольский, это особенно относится к тебе. Почерк у тебя ужасный. И вообще непонятно, чем ты там занимаешься.

Класс зашуршал. Нина Петровна вновь медленно пошла по рядам и опять остановилась возле Пашки, протянула руку к его тетради: — Давай, давай... — глянула на последнюю страницу.

Пашкино сердце громко забилося.

И тут прозвучал звонок. Класс вздрогнул. Загремели крышками парты. Понурый Пашка сунул тетрадь в портфель...

— Паша, сочинение сдай на проверку... пожалуйста.

— Я мало написал...

— Ну и что? Всё равно ведь что-то писал, я видела, вот и проверю.

— А можно в другой раз?

— Па-ша-а... В твоей тетради нет ничего дурного. Рисунок хороший. Обещаю, никому не покажу. Если б ты написал имя, вот тогда... А так — никто и не догадается. Может, ты свою маму нарисовал...

Она походила на чью-то добрую бабушку. Пашка сдался.

В коридоре на перемене Пашкины глаза сами собой отыскивали Серафиму.

Звонок — и снова Пашка за партой у своего окна. По школьному двору бродил стареющий пёс Тарзан. Пустыми глазами он поглядывал на стайки воробьёв, порой подымал голову, внюхивался в осенний солнечный свет.

Математичка опаздывала... По классу торпедой пролетел бумажный самолёт. Послышался едкий смешок Женьки Овчарова из дальнего угла.

В класс вошли завуч Валентина Ивановна и следом за ней неизвестный никому шуплый очкарик в сером наутюженном костюме. — Ребята, знакомьтесь, это наш новый учитель физики и астрономии. Зовут его Юрий Александрович. Теперь ваше расписание уроков немного изменится, оно уже висит на стенде возле моего кабинета. Сегодня же и перепишите. Всё понятно?

— Да-а-а... — зашумела галёрка. — А что, будем звёзды изучать?
— Нет. Пока физику. Астрономию в десятом.
— У-у-у... Мы хотим звёзды.
— Всё! Тихо, — Валентина Ивановна помахала кому-то пальцем и ушла.

Белый воротник рубахи, затянутый синим галстуком, подпирал горку кадыка нового учителя, и, казалось, от этого его голос был такой тихий и хриплый.

— Будем знакомиться по списку прямо сейчас или постепенно, в ходе уроков? — спросил он.

— Сейчас!.. — взревел Женька.

Он уже пытался сбить с толку нового учителя.

— Да нет, дружище... — сквозь кругляшки очков огромные глаза физика вглядывались в задние ряды парт. — Уроков физики у вас не было уже целую неделю, программа большая, а нам ещё придётся обновить прежний материал. Времени мало... Кстати, с тебя и начнём. Как твои имя-фамилия?

— Евгений Овчаров, — выпалил Женька.

— Вот и хорошо... А теперь скажи, Евгений, как в целом устроен атом?

— Ну... атом... это атом, — голос Женьки потускнел.

У Женьки была особенность: от любого заданного ему вопроса он вмиг краснел, и ему требовалось время прийти в себя. Для этого у него была своя уловка — он задавал встречные вопросы.

— А чо... гхым-гхым... звёзды тоже... из атомов?

— А ты как думаешь?

Пашка оглянулся на него. Потное красное лицо Женьки мигало белёсыми ресницами.

Пёс за окном лежал в траве у забора. Его шерсть местами подымалась от ветра, глаза всматривались куда-то в синее небо, где порою в солнечные дни кругами парил коршун. Пашка рисовал в тетради остроконечные звёзды.

Юрий Александрович поднялся, отодвинул стул к доске.

— Так что же такое атом? — его взгляд упёрся в стену молчания. — Ладно, сделаем так: сейчас каждый из вас будет пытаться ответить на этот вопрос, пока не прозвучит что-нибудь вразумительное.

Он прохаживался вдоль первых парт от окна к двери, но, казалось, думал о чём-то очень далёком, своём.

— У атома есть ядро, — вдруг сказала Симка. — Вокруг ядра летают электроны.

— Вот-вот, — Юрий Александрович радостно ткнул пальцем в её сторону. — Как тебя звать?

Волна гордости за неё и, почему-то, стыда за себя с головой накрыла Пашку. В прошлом учебном году им что-то говорили про атом, а что, он уже и забыл.

Конец урока застал физика у окна.

—Астрономия — это наука о звёздах, — вдруг сказал он. — Мы смотрим в ночное небо и вроде бы видим звёзды, а на самом деле многих уже нет. Погасли. В общем, так, кому интересна астрономия, приходите сегодня к десяти вечера на школьный двор. Буду ждать. В кабинете физики идёт ремонт, поэтому наши занятия будут проходить здесь. Но там, в лаборатории, я кое-что нашёл...

—Что? — ухнули с задних парт.

—А догадайтесь.

—Это нече-е-естно...

—Телескоп, — физик захлопнул классный журнал и ушёл.

В мастерскую художника сельского Дома культуры постучали. Заглянула директор.

—Боже, как у вас тут накурено!..

В заставленной афишами комнате с высокого потолка свисала яркая лампа. Пашкин отец сутулился над широким столом. Высунутый кончик языка слегка высовывался изо рта, подрагивал от напряжения, глаза щурились — он только что принялся выводить широкой кистью синюю букву на новой афише.

—Виктор Миронович, приходите ко мне, там из школы звонят, просят вас...

—Прямо сейчас?

—Ну конечно... Учительница русского... что-то там про вашего Пашу...

Он мельком глянул в сторону директора:

—Что он там мог натворить?..

—Жду, трубка лежит у меня на столе, — она тихо прикрыла дверь.

—Сей-ча-ас-с...

Уже пару месяцев он просил провести к нему телефон. Работы невпроорот, а ты бегай туда-сюда. «Цивилизация...» — с грустью подумал он.

—Дольский слушает!.. Что, прямо так уж срочно?.. Хм... Вы хоть намекните, о чём пойдёт речь. Что-то серьёзное?.. Нет?.. Так, может, вы с моей женой поговорите?.. Со мной?.. Ладно, после пяти подойду.

—Что там? — бюст директорши упирался в её руки, сложенные на столе.

«Какое тебе дело? Небось, уже в курсах», — грубить директорше не входило в его планы, он лишь пожал плечами и на выходе из её кабинета процедил:

—Рекбус-кроксворд.

—Виктор Миронович, минутку. Я очень прошу вас выпивать в другом месте... Не в мастерской.

—Ну вот, теперь буду знать, какой у Паши папа, а то всё мама да мама. Присаживайтесь вот сюда, — Нина Петровна провела его к Пашкиной

парте.— Тут сидит ваш сын,— протянула ему тетрадь.— Там... на последней странице.

— Рисунок?

— Да.

— И что?

— Не знаю, как на других уроках, а у меня ваш Паша занимается только этим. А вот здесь...— подала тетрадь.— Смотрите, какой почерк и... сплошные ошибки.

— У меня тоже был почерк не ахти, а ошибки... Ну что ж, получит пистонского.

— Это результат рассеянности и невнимательности. А я знаю, он может писать гораздо лучше.

— Тем более получит.

— Пистон, как вы говорите, не поможет. Всё дело в рисунке, Виктор Миронович.

— Кто это?

— Серафима Немкова... Ученица нашего класса. Занимается в клубе современного танца, в нашем ДК. Ваш Паша, как бы это сказать...

— Запал на неё, что ли?

— Ну... что-то вроде этого.

— Да, я её видел... Но ведь это нормально. Все мы когда-то на кого-то западали.

— Он не занимается на уроках, понимаете? Пишет как попало, ошибки, каракули...

— Зато набросок... Очень даже ничего. Похожа... Симпатичная девчужка. Красивое личико, правильные черты. Можно сказать, благородные...

— Похоже, вы не слышите меня.

— Да всё я слышу... Ну, влюбился парень. Бывает. Голову ему, что ли, оторвать? Глаза выколоть?

— Зачем говорить такие ужасные вещи? Я знаю семью этой девочки и семью мальчика, с которым она уже встречается.

— Это тот, с которым она танцует? И который её потом на «Волге» увозит?

Нина Петровна кивнула.

— Так какой он мальчик? Считай, мужик уже...

— Ну, не мужик... он всего лишь недавно из армии пришёл. Кстати, это сын директора нашего Дома культуры.

— Ух ты!..

— Я бы не хотела, чтобы ваш Паша получил душевную травму. Он слишком впечатлительный мальчик... Вы мужчина, и только вы сможете направить его в другое русло...

— И что я ему скажу?

— Ну... всё-таки пятнадцатый год пошёл, не такой уж и маленький... Найдите нужные слова, поговорите.

«Слова?. ..»

По дороге домой Виктор Миронович свернул в проулок к берегу речки. Там, на краю обрыва, он присел на однажды обсиженный им берёзовый пенёк, закурил.

«Впечатлительный...» Года два назад кое-что случилось.

— Слушай, — сказала жена Альбина, — надо что-то делать... Вот, нашла под подушкой у Пашки.

То была маленькая копия старинной гравюры Марии Медичи...

— Он всё спрашивает у меня, как её звать да где она живёт. Я забрала. Плакал, рыдал... Пришлось дать валерьянку. Мне это не нравится... На, спрячь куда-нибудь.

Ситуация разрулилась неожиданно быстро.

— Паша, иди сюда!.. Это я нашёл у тебя...

Пашка сник, раздумячился, дёрнулся убежать.

— Стой, стой. Ты хоть знаешь, кто она? Её звали Мария... она очень давно умерла, лет двести назад... Её уже давно нет.

— Двести лет?.. Умерла?

— Да.

В тот же вечер померкла и бесследно утасла первая Пашкина любовь.

«Рекбус-крюкворд». Виктор Миронович озяб. Картинки детства и предвоенной молодости мелькали в уме: окрестности Свердловска, закаты и рассветы на реке Чусовой, крики радости, летавшие над водой от берега к берегу... дворовые драки и уличные бои... вокальный кружок... свой детский мольберт, кисти и масляные краски в мастерской у художника-отца... первый портрет... натурщица...

То была девчонка с соседней улицы — вёрткая, говорливая и глаза-стая... Изводила, не умела позировать. Кое-как согласилась... И вдруг куда-то исчезла. Остался лишь её набросок углём. И он искал её... Маялся. Она никак не шла из головы.

— Похоже, ты заболел, — сказал ему отец. — Есть одна забавная ария. Ария демона. Тебе уже почти семнадцать, надеюсь, поймёшь. Послушай-ка: «Мы из ро-ода бедных Азров, па-алюби-ив, мы у-умираем!..» — и продолжил: — Как ты думаешь, почему Азры умирали? — Не знаю.

— Потому что были из рода демонов, нелюди, очень похожие на людей. Влюбляться в людей могли, а жить с ними — нет... Влюблялись по-зверски, намертво... Полюбит и умирает с тоски. Ум у них был, а вот разума не было, чувствами не владели. Собаки, к примеру... тоже умные... и тоже любят людей. У Шалапина, знаешь ли, была маленькая собачонка...

— А при чём здесь Азры?

— При том... Ты любишь, а тебя не любят. Ты ищешь, а от тебя убегают. Ты раскрываешься, а тебе врут... Как тут не сойти с ума? И как жить? Безнадёжность — опасная вещь.

— И как тогда?..

— Для того и дан разум, чтобы понять как. Безумие начинается, когда ты видишь только то, что хочешь видеть... когда желания не совпадают с возможностями. Иллюзии и желания... — покрутил пальцем у виска, — они в уме. А возможности, — развёл руки в стороны, — здесь, на земле. Человек — странное существо. Он и здесь, и там. Держись середины. — А любовь?

— Резонанс, созвучность... интерес... магнитное притяжение... Многие великие умы сломали голову об эту стену. И только один очень умный сказал, что это погоня за самим собой. Познавая другого — познаёшь себя.

— А если тот, другой, не идёт навстречу?

— Значит, душа его с кем-то другим.

— И как быть?

— Открыть новую страницу... Ты ведь не из рода Азров... Но есть одно «но». Пока не прочтёшь первую страницу до конца, другая может не открыться.

В синеве сумерек растворялись дома и край речного обрыва. Внизу в сиреновом мареве меркла широкая ложбина, заросшая черёмухой. Туда убегала и речка.

Виктор Миронович облокотился на колени, поджал кулаками подбородок. Ему пока не удалось найти середины, и чем-то он был похож на тех Азров, свободный художник и гордый мечтатель, — влюбился, женился... А с Альбиной, как вскоре оказалось, они были разные. И он пил... Уже несколько раз, пока он пару дней обмывал с товарищами очередную халтуру, она уезжала от него с сыном, и тогда он искал её через паспортные столы по городам и весям. Приезжал к ней, и жили дальше. Грозился убить, если что-то с кем-то... Узнавал, что у неё никого не было. Клялся в любви и снова пил. Не отпускал...

В этом, как он часто говорил, паршивом селе они очутились по той же причине.

В темноте ночи он вошёл во двор, замер у окна. Альбина хлопотала со стряпнёй у печки. Пашка читал за столом. В глубине дома, в спальне, у двери висел в рамке незаконченный портрет жены. Виктор Миронович начал писать его маслом ещё в первый год совместной жизни. Какие-то черты её лица всё время ускользали. А у неё никогда не было времени спокойно посидеть в одной позе хотя бы час. Привычная причёска из скрученных волос, скреплённых шпильками на затылке, выглядела несуразной шишкой — в портрете он заменил её меховой шапкой. Альбина сетовала, что на себя не похожа... Работа откладывалась.

Субботний вечер скоро превратился в холодную чёрную ночь. Небо сияло и переливалось огнями. Свет редких фонарей ложился пятнами на звонкий асфальт дороги.

Учитель физики уже стоял на школьном дворе возле треноги с чёрной трубой, закреплял её винтами, окружённый радостными криками.

— Ура! Телескоп... телескоп, — гомонил и суетился Женька. Он пришёл первым из четверых собравшихся и потому с полным правом крикнул Пашке прямо в лицо: — Я первый!

Юрий Александрович снял крышку с объектива и колпачок с окуляра.

— Сначала посмотрим на Луну, вон она какая... яркая. А потом на Сатурн, на Марс... Ну, кто там назвался первым, подходи.

Женька прильнул к тубусу:

— Луна! Ха-ха-а!.. Вот здорово!.. А почему она так быстро уходит в сторону?

— Потому что не стоит на месте. Двигай телескоп вслед за ней, — физик поднял воротник пальто, спрятал в нём подбородок, а руки в карманы. — Ну и как оно, друг наш Женька? Что видишь? — он ёжился, дрожал.

— Посмотрел — дай и другим! — возмутилась Танька.

— Да щас, щас, ё-моё!.. Где там луноход-то?

— Ты чо, совсем? — Танька крутнула пальцем у Женькиного виска. — Он же маленький. Ну хватит, дай посмотреть!

— Да на, на, — Женька резко отпрянул от телескопа, повернулся к Пашке, крепко стиснул ручищами. — Первый раз... понимаешь?!

— Все мы в первый раз, — пробурчала Танька у трубы.

Симку больше интересовал Сатурн — она дождалась своей очереди и замерла у трубы...

Возбуждённый Женька молча скакал кругами в новой красной кожанке, чтобы согреться. Иногда он отходил в сторону, прятал голову в полах расстёгнутой куртки, курил папиросы. Учитель поглядывал на него, задумчиво потирал запотевшие очки.

На улице у школьного сквера развернулась машина, скрипнули тормоза. Свет фар прошёлся по школьным окнам, клумбам и потух. Симка подняла голову от трубы телескопа, глянула в ту сторону. Пашкино сердце дёрнулось в груди и остановилось. Пустотой наполнилось горло, перехватило дыхание.

Пашка прильнул к окуляру. Лик Луны с кратерами и морщинами погружался в тень. Казалось, сейчас кто-то выйдет из той тени и помашет рукой.

Послышались удаляющиеся шаги. Это Таня и Симка направлялись в сторону машины.

— Всем пока! — крикнула Танька. — Юрий Александрович, до свидания.

Коченеющий физик глубоко кивнул на прощанье.

— Ну что, ребята, кто из вас поможет отнести в школу телескоп?

— Я! — крикнул Женька. — Эй, Дольский, заканчивай. . . Мы тут уже задубели.

Он приятельски жался к физику и так же, как тот, прятал руки в карманах.

— Пусть смотрит, — сказал физик, — не торопи.

Пашка видел, как Симка открыла переднюю дверь машины, а Танька юркнула на заднее сидение. Заскрежетал стартёр двигателя, машина тронулась.

— А где Сатурн? — спросил он.

Глаза его растерянно скользили по сияющим звёздам.

Юрий Александрович взгляделся в небо, прищурился, отвёл телескоп в сторону от Луны, нацелился.

— На, смотри.

Пашка прижался к стеклу. Ему вдруг захотелось туда, к оранжевому шару Сатурна в кольце.

Неделю спустя, в субботний день, Пашка проснулся от стука и поскрипывания оконных ставень за окном; от ветра они болтались на крючках. Пахло жареными пирогами с капустой и чем-то ещё, очень знакомым. Он встал с кровати и вышел из спальни.

Посреди кухни стояла тренога с портретом мамы. Сама она сидела у стола, позировала.

— В кастрюле на печке суп, наливай.

— Да сиди ты ровно, — вскрикнул отец. — Поест, куда он денется. Дайте хоть немного поработать! . .

— За десять лет, пока ты не брался за портрет, я уже состарилась. Пусть бы оставался какой есть, — она мученически улыбнулась, повела бровями.

— Не надо было говорить, что не похожа.

— Я из-за шапки. . . У меня ведь такой никогда не было.

— Дело не в шапке, мать, сиди ровно.

Пашка отказался от супа, навёл чаю и ел пироги. Пахло красками, выдавленными из тюбиков.

— Сегодня вечером сходим ко мне на работу, поможешь мне, — сказал отец. — А сейчас, если хочешь, нарисуй углём эскиз. Назовём его «Пироги».

— Пусть поест, — вставила мать.

Она сидела вполоборота к отцу, как на холсте, и смотрела куда-то в окно. Быть может, вспоминала времена, когда Пашки ещё не было, когда они с Виктором гуляли по улицам или прятались от дождя в кинотеатре. Она едва заметно улыбалась. Её ладони мирно лежали, сложенные на колене.

В Доме культуры Павел бывал не первый раз. Если крутили кино, то он проходил в полутёмный зал с верхнего входа на последний

ряд. Однако больше всего ему нравилось пробираться по лестнице в кинопроекторную к дяде Васе, приятелю отца, и оттуда смотреть через квадратное окошко на экран.

В мастерской отец включил свет, снял пиджак, повесил на гвоздь, принялся разводить водой подсохшую гуашь.

— Если хочешь, порисуй что-нибудь. Я недолго... Допишу афишу, и пойдём домой. Можешь пока и в зале посидеть, там сейчас репетиция танцоров.

— А помогать?

— Да ладно, я сам...

Смотреть репетицию Пашке не хотелось, он вышел на парадное крыльцо. Сразу за стальной решёткой ограды Дома культуры увидел ту самую «Волгу», на которой уехали со школьного двора Танька и Симка. В животе булькнула пустота. И Пашка решил пойти в зал.

Сцена освещалась двумя светильниками с верхних балконов. В зрительном зале на последнем ряду, где уселся Пашка, было почти темно. Там, на сцене, он сразу увидел Симку. В чёрных трико и футболке, она вращалась и ловко перебирала ногами по зелёному полу, а когда подпрыгивала и вскидывала руки — походила на ласточку.

Несколько женщин и мужчин стояли вдоль белого экрана, наблюдали за ней в ожидании своей очереди. Спиной к залу на краю сцены стоял парень в белом спортивном костюме.

— А теперь дама и кавалер вместе, — руководитель кружка дала знак Симке и парню. — Пройдите этот фрагмент танца ещё раз. А потом и все остальные точно так же, за ними... Разберитесь по парам... Симуля, ты сегодня молодец!

Пашка сник. На бледном Симкином лице розовели пятна. Парень подхватил её за талию. И они то кружились, то замысловато пробежали по сцене. Холодные Пашкины ладони сжались в кулаки. Он тихо вышел из зала, спустился в фойе.

— Что, Паша, скучаешь? — тёмное в морщинах лицо вахтёрши выглядывало из-за очков. — Записался бы в танцевальный... Видел, как Симка с Лёшкой бразильское танго выплясывают?

«Лёшка... — Пашино сердце сжималось и замирало. — Лёшка...»

В мастерской у отца он уселся на скрипучий бутафорский стул с высокой спинкой. Отец оглянулся:

— Не ёрзай, развалится.

— А когда мы домой пойдём?

— Осталось уже немного... Пара штрихов... Что там на сцене?

Пашка молчал.

— Чтобы нарисовать глаза человека, Паша, надо его понять. Чем дышит, чего хочет... Ты знаешь, где она живёт? — неожиданно спросил отец.

— Кто?

— Кто-кто... Она... Подойди к ней как-нибудь вечером, предложи погулять.

— Зачем?

— Ну вот, зачем-зачем, — отец разогнул спину над афишей. — Чтобы понять... Сегодня и сходи, или завтра, сразу послу уроков. Предложи погулять.

Отец не знал, что Пашка уже приходил к Симке. Он чуть ли не побежал к её дому в тот самый вечер, когда физик и Женька скрылись с телескопом за школьной дверью.

Стараясь не стучать ботинками по дощатому тротуару, он приблизился к её дому и замер: у ворот стояла машина. В салоне горел свет. Парень со сцены о чём-то смешном рассказывал Симке, беззвучно хохотал и размахивал руками. Смеялась и она, и совсем не была похожа на ту себя, в классе, тихую Снежную королеву. Пашка не знал, зачем и почему он всё ещё стоит и смотрит на них. Но вдруг «кавалер» перестал смеяться, завёл мотор, нагнулся к Симке и поцеловал в щёку. А потом включились фары.

Пашка испуганно отвернулся. Ему не хотелось оказаться замеченным, но и уходить тоже. За его спиной хлопнула дверца «Волги». Машина тронулась и быстро унеслась, обдав Пашку яркой вспышкой. Он вновь повернул лицо в сторону Симкиного дома — она стояла у калитки и укоризненно смотрела на него, а потом ушла. Захваченный врасплох, Паша ещё долго дрожал в темноте от нахлынувшего холода.

Вчера, в субботу, он ещё раз приходил к её дому. Тому была причина. В понедельник Пашка обнаружил, что парта, за которой сидела Сима, была пуста. Этому не было никакого объяснения. Но уже в среду он увидел, как она вышла на перемену в школьный коридор из другого класса, из восьмого «Б». И он подошёл к ней.

— Здравствуй.

Симка кивнула.

— Можно, я провожу тебя домой?

— Зачем?

— Просто так... Поговорим.

— Меня не надо провожать, Паша... Не хочу.

И всё же в пятницу он дождался её после уроков. Симка и Танька Вяткина вместе вышли из школьного двора.

Танька вскинула брови:

— О, Симчик, тебя ждут. Я побежала...

— Та-ань!..

— Ну что — Тань?.. У меня дела. Паша-а, пока! — Танька весело подмигнула Пашке.

Симка стиснула и без того тонкие губы, вихрем прошла мимо него. Её каблуки спешно чеканили асфальт. Он шёл следом. Догонять не было смысла. Ведь ему сказали «нет». Он просто шёл и шёл, пусто

поглядывал на серое небо и на вспыхнувшие желтоватым светом уличные фонари.

Когда фигурка Симки скрылась в переулке, он представил её, стоящую у ворот и поджидающую его укоризненным взглядом.

«Я просто гуляю,— мысленно оправдывался он,— просто так...»

Сумерки опустились незаметно. Ветер шелестел сухими листьями. Яркая уличная лампа на столбе у дороги качалась, в жёлтом пятне света, казалось, раскачивались ворота и окна с резными ставнями.

Пашка остановился у её дома, повернулся к горящим окнам, прижался к штакетнику. За стёклами оранжево светились плотные шторы. В окне напротив появлялась и пропадала Симкина тень. И было хорошо, что его, Пашку, никто не видит. Он стоял, ни о чём не думал.

Вдруг тень остановилась. Штора раздвинулась. Тёмный овал Симкиного лица прижался к стеклу и тут же исчез. Пашка отпрянул от забора и хотел убежать, но... убежать уже было поздно. Да и от кого?

Неожиданно во всех окнах погас свет. И теперь шторы освещались лампой с улицы. В одном из окон штора осторожно отошла в сторону. Кто-то, крадучись, смотрел на Пашку, но уже не Симка.

А вскоре за воротами во дворе скрипнула дверь, и уличная калитка распахнулась. В сторону Пашки, ковыляя, приблизилась старушка в фуфайке, с шалью, впопыхах наброшенной на голову.

— Шёл бы ты, милоч, домой... А?... Стоишь тут, пужашь... спать не даёшь. А?... Ты кого ждёшь-то?

— Хотел с Симой поговорить,— выдавил Пашка.

— С Симкой? О-о-о!.. Так ведь спит она уж, спит... ага... уж спит,— седые пряди её волос топорщились из-под шали на ветру.— Ты иди, родной, иди... Не выйдет Симка...

Пашка покорно кивнул.

— Вот и молодец...— перед калиткой во двор она оглянулась: — Беда с вами... ой беда.

Пора было уходить, но Пашка всё стоял. Теперь он смотрел вверх, где сквозь редяющие облака начинали поблёскивать звёзды. Ветер затихал. И уже не пробирала звенящая дрожь. Откуда-то издалека доносился сладкий запах дыма растопленной печи... И вдруг Пашкина грудь будто распахнулась, наполнилась запахом листвы... Он закрыл глаза и представил себя летящим над облаками к звёздам. Что там, внизу,— было не так важно.

Отец оценивающе глянул на готовую афишу, потёр руки:

— Всё, баста! Уходим. Завтра, если будет тепло, рванём на рыбалку. Вечерком...

Над крыльцом Дома культуры нависала ночь. Отец закурил.

— Осень,— задумчиво произнёс он, отвёл руку с папиросой в сторону и шумно вдохнул в себя остывающий сумрак.— Ты, Паш, всё же

сходил бы к ней... Как говорил твой дед Мирон, начатую картину надо дорисовать.

— Уже ходил.

— Да-а-а?... И что грустишь?

— Да так...

— Не грусти... Твоё само придёт к тебе. Кстати, ты знаешь, кто такие Азры?

— Кто?

— О-о-о!.. Ты не знаешь, кто такие Азры?!

Борис Петров

Капли живицы

Главы из книги «Жизнь — житуха — житие», которую постоянный автор и бывший редактор альманаха «Енисей» не успел опубликовать при жизни

I. В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Бывает, идёшь пеши, особенно если осенью, полями, шагать далеко, а вокруг такое однообразное пространство, да ещё нудные телеграфные столбы, зануды и облик, и монотонным своим гудением, ровным строем удаляются от взора, последние — такие маленькие, и топать до них — о-ё-ёй... И вот довольно часто со мной случается, вдруг в голове возникает какое-нибудь случайное словечко, никакого отношения к смыслу моей ходьбы не имеющее, и начинаешь от нечего делать перекачивать его так и сяк, словно гонять во рту леденец. Дорога скучная, а тут какое-никакое занятие, будто и время начинает утекать незаметнее.

Вот, к примеру, самое обычное слово «жизнь» — сколько у него родичей, близких и далёких, бойких и скромных, весёлых и молчаливо-мудрых. Жизнь... По-разному она складывается у людей: кому процветать, кому влачить, а то и бомжевать, кому с небесами общаться. И слова для каждого случая находятся разные: «житуха», «житие», «жисть-жестянка». А ещё есть старое торжественное — «живот»: «Ради правого дела животы свои положим!» Интересно...

Или я недавно услышал от одной деревенской женщины: «Ты только глянь, какая черёмуха-то нынче стоит рясная». Почему рясная? Что такое «рясная»? По смыслу выражения было понятно, что — богатая, обильная, усыпанная ягодой. А созвучно с названием болотной водоросли ряски. Почему? Корень у слов явно один и тот же. Ха! И внешнее сходство заметно на глаз: травка мелкая, как ягоды на черёмухе, обильная, сплошь покрывает воду. А ряса, одежда священника? Тоже усыпанная мелким шитьём? Или это риза? Вот и не знаю, надо будет посмотреть дома в словаре у Даля... А пока продолжаешь разбирать и обсасывать словечки на ходу — сколько вдруг возникает всякий раз неожиданного, интересного!

Я вот так, пеши по пустынным дорогам, насочинял целую книгу. Однажды на рыбалке мы с сыном затеяли игру в слова: «Почему так называется?» Почему смородина, почему пескарь, почему синица. Кто проиграет, тому после ужина мыть котелок и ложки-кружки.

Известно же, что мытьё посуды — самый тяжкий для мужчины труд! Я, конечно, победил. Но игра понравилась, года два или три ходил и бормотал сам с собой: почему — осина?.. зимородок?.. горностаи?.. Ведь никакими стаями они по горам не бегают! Докапываться до истинного смысла и происхождения названий оказалось очень увлекательно. А в итоге получилась детская книжка с игровым названием «Почему — карась?».

Да, вот и про жизнь-житуху надо бы записать, а то эти летучие мыслишки, крутящиеся в голове на ходу, имеют обычай легко и выветриваться. Ага, выются в голове, словно комары над ухом, один попищал — отстал, другой прилетел — улетел. А черкнёшь пару строк в записной книжке — глядишь, когда-нибудь пригодится. Вот только писать на ходу плохо, присесть бы, да на что тут сядешь, земля после дождя грязная. Кабы в лесу, другое дело.

В тайге-то сейчас красота. Берёзы уже становятся пегими от жёлтых прядей, и первые факелы рябинового огня там и здесь вспыхивают на фоне усталой летней зелени. Самая пора ехать за опятами. Время их сбора — тихое, немного грустное и раздумчивое, после жаркой летней беготни хочется покоя.

Чтобы собирать опёнки, великой науки не требуется — они растут скопищами, плотно обсев какой-нибудь пень. Издали такой пень в опячьих шляпках напоминает сказочный остров Буян с маковками церкви и старинных крыш — с целым городом на холме. Подходишь к этому грибному городу и начинаешь стричь. Мы эти грибы так пнями и меряем, словно картошку вёдрами. Опёночный урожай у нас обычно приходится на перелом августа-сентября. Но случаются отклонения. Я нынче ездил в конце августа — не было опёнков, хотя тайга имела вполне «опячий» вид. Вокруг запестрело, засентябрило... Эх ты, из какой дальней дали явилось вдруг это словечко! Оно было в ходу у тульских охотников на вальдшнепов, такая водилась примета: засентябрило в лесу — жди вальдшнепиных высыпок. Главное, что и настроение передаёт. В тайге — не посреди полей; я в тот раз сел на колодину и словечко это со всем, что вокруг него, записал. А заодно и сравнение про остров Буян, это у меня давно стало привычкой: ходишь, ходишь и начинаешь высматривать удобный пенёк. А как сел, достаю из кармана записную книжку.

Так вот, опять в ту поездку не было, зато насобирал полную свою «сберкнижку» (а что, и впрямь сберкнижка — депозит впрок для будущих писаний). Это я давно заметил — своеобразный закон: чем неудачнее грибная поездка или хуже клюёт на реке рыба, тем больше записей. Потому что не захватывает охотничий азарт и голова свободна. Большинство богатств моих записных кладовых — как раз результаты неудачных охот и рыбалок. Иногда на одном пне сложится целый сюжет, в другой раз занесёшь на счёт всего одно словечко, но драгоценное.

А что, можно было бы эти мои лесные рассказы так и окрестить «Опёнки», только звучало бы смешно, как будто с намёком на юмор. Вот я назвал в этой книге целую главу коротких записей «Шелушинки» — тоже не очень-то. Шелуха, мусор — как-то оно легковесно. Не солидно. То ли дело у именитых авторов — тоже ведь заметки, но как красиво и многозначительно величаются! «Лесная капель», «Затеси», «Осенние листья», «Камешки на ладони». И сразу получается, будто не заметки, а стихи в прозе. Надо, надо и мне придумать какое-нибудь своё название, что-нибудь вроде «Зарницы памяти» или «Сполохи». Глядишь, тоже сошёл бы за маститого.

Э-хо-хо, скоро, что ли, придёт конец серым бездушным столбам? И тогда с пригорка откроется вид на большое синее степное озеро...

Умная память

На таёжную речку Кемь я впервые попал осенью, и красота её меня сразу, как говорится, приворожила. Тихая, пустынная, в парчовых сентябрьских нарядах. А рыбы! Щуки, лязгая зубами, бросались на самые примитивные спиннинговые блёсны, сорожняка и крупных, отъевшихся ельцов — сколько хочешь, только чуть прикорми для порядка. Эту бель я в тот раз и не ловил... И затем всю зиму мечтал, как снова заберусь в те сказочные места. Далековато, но оно того стоит. И сына возьму, пусть у него на всю жизнь останутся воспоминания о необыкновенной рыбалке. Как у меня живут в памяти видения озера Боброва, незабываемого озера моей молодости.

Оно лежало среди светлых березняков. Дорога сначала петляла полями, потом редкими лесными гривами, полянками, луговинами. Цвели золотистые лютики. Сколько их было, крупных, удивительно ярких! Иная лужайка открывается из-за берёз — рыбачить на озеро Боброво я ездил на велосипеде — хоть глаза зажмуривай от ослепительного блеска, словно солнечный зайчик сыграл в лицо.

По берегу Боброва старые косматые берёзы свешивали пряди чуть не до земли. На воде под берегом плавали глянцевиные лопухи кувшинок, и под их прикрытием караулили добычу отчаянной храбрости щуки. Попозже, в июле, можно было на рассвете поймать килограммового линя, этакий увесистый кургузый оковалок с обтрёпанным хвостом, добычу заветную. Но для этого требовалось приехать с вечера, чтобы набросать в парную, дымящуюся туманом воду разопревших зёрен пшеницы, а потом дожидаться рассвета. И сколько было проведено на тех берегах светлых летних ночей, какие росные наступали утра, когда трава от обилия влаги становилась жемчужно-серой, озеро начинало дымиться тёплым душистым парком и от воды тянуло приторной сладостью цветущих лилий.

«Бульк!» — по сонной водной глади разойдётся ровный круг, поплавок побежит-побежит, нырнёт, выплывет и успокоится. Но уже вскоре вздрогнет, потом ещё раз — и косо уйдёт в прозрачную глубь...

Ах, Боброво, Боброво! Спасибо Тебе, Господь Всеблагий, что Ты дал мне его в своё время. Травы луговые только зацвели, днём молодой зелёный шум гулял в повислых космах берёз, золотистые иволги высвистывали над водой, кукушки орали до хрипоты, а ночью в недалёких лугах сочно били перепела. И что за ночи то были! В два часа уже светало, а темнее и не сгушалось. Июнь — молодое лето, в воздухе царит нежный запах цветущего шиповника, романтический аромат юности и любви. «Пока косою острою в лугах трава не скошена...» И теперь мне хотелось, чтобы у сына тоже навсегда остались такие же свои счастливые картины.

До Кеми добрались уже поздними сумерками. Дорога была долгая, устали, кое-как поставили палатку, ужинали в ней всухую. Перед сном я с лучом фонарика осмотрел все углы: не забрались ли комарики? Несколько штук попало, но мы их ликвидировали и спали вольно. Я проснулся ещё до восхода. Вокруг царил тишина, и её наполнял ровный, как мне показалось, какой-то терпеливый гул.

— Что это там гудит? — пробормотал Серёжа, на минуту разлепив глаза. — Думал, ты паяльную лампу разжигаешь.

— М-м-м... Кажется, комары.

Да, это были они. Сквозь марлевое окошко я рассмотрел целое облачко, которое клубилось перед палаткой, и сотни насекомых, обсевших саму марлю, неторопливо переступавших своими изломанными ногами. Ждали нашего появления. Наверное, переговаривались вполголоса: «Выйдут, куда они денутся...» Вот паразиты, собрались и топчутся с тихим гулом, словно провожающие у подъезда перед выносом гроба. Что ж теперь — и на рыбалку, что ли, не выходить? Я оделся и, кряхтя, выбрался наружу.

Здесь было свежо, прохладно, и гул слышался не так густо. Эх, как взъярился подлый гнус! Обрадованная моим появлением туча взмыла в воздух и опустилась... Я покосился на плечо — куртка из зелёной стала серой, словно покрылась живой грязноватой шерстью. Рядом с палаткой гибкие стебли осоки клонились под весом усевшихся на них насекомых, ждавших своей очереди. Да, кажется, мы попались.

— Ничо, Серёга, переживём, — бодренько сказал я, вернувшись в палатку. — Правда, придётся принять некоторые особые меры. Босиком, к сожалению, не побегаешь, только в сапогах и толстых брюках. Куртку им тоже не пронзить, нос короткий. Жарко в ней днём, но всё же меньшее зло. Теперь-то придумали антикомариные мази, наша «Дэта» их держит: вьются вокруг, поют, надоедают, а сесть бояться — жить можно. Раньше вообще спасались только дымом и накомарниками, а всё равно рыбачили. В Бобровом мы даже купались. Знаешь как? Всю одежду сперва приготовишь, пуговицы заранее расстегнёшь, сапоги стащишь и быстренько-быстренько скидываешь брюки, рубаху, складываешь всё в обратном порядке. Бултых в воду! А она в озере

тёплая, ласковая, над гладью тянет сладковатым духом цветущих кувшинок...

— На твоём Бобровом тоже, что ли, были комары?

— А как же!

И вдруг в моём сознании словно бы молния просверкнула: правда были? Конечно! Как же я о них забыл?! В памяти только золотые страницы, прекрасные картинки и — ни единого комарика! Про купание случайно вспомнил. Но хуже всего доставалось ночью.

Бросив в воду прикорм, призрачно-светлое июньское междузорье я коротал тут же, на берегу, прямо на траве, укрывшись с головой брезентовым плащом. А комарьё толпилось поверх спасительной ткани, нудно пищало, толкалось, кололо брезент тонкими острями. Не сон это был, а пытка в инквизиции! Как ни стараешься укутаться, дырочку для дыхания всё равно оставить надо. И только закроешь глаза, в неё врывается самый наглый и свирепый долгонос — да как завопит у самого уха, словно в железную рельсу ударили. Спросонья вскакиваешь на ноги, ожесточённо размахивая плащом над головой, как будто это невидимое облако можно разогнать!

Охолонёт свежей ночной сыростью, придёшь в себя и снова ложишься, закутываешься. От росы брезент отсыреет, станет тяжёлым, дышать под ним вовсе нечем, приходится вновь устраивать щель для доступа свежего воздуха. Поверху у самого уха снуёт и тычется в ткань острыми пиками бесчисленное серое воинство, зудят, злятся, что не могут вонзить жало в тёплую плоть. Но молодой сон берёт своё. И снова ненадолго: опять внутрь прорывается отчаянный копьеносец, и я, как ужаленный, в очередной раз вскакиваю, размахивая над головой плащом. Со стороны посмотреть — сумасшедший, что ли?

Позже мне попались стихи вологодского поэта Александра Яшина:

Жизни нет по ночам
Ни в одном глазу.
Я опух, одичал,
Сам себя грызу...

Кое-как перебившись, перемучившись до рассвета, выбираешься наконец на свежий воздух, в голове мутно, распухшая губа — всё-таки уязвил злыдень — отвисла, похожа на горячий вареник. Но несколько глубоких вздохов и взмахов руками разгоняют ознобную дрожь. Гудите, клубитесь? Ничего, в открытом бою мне с вами проще. На крайний случай имеется накомарник. А начнёт клевать рыба, оно и вовсе как-то забывается.

И всё это было?! Днём — да-да! — комарьё несколько утихомиривалось, зато появлялись оводы, слепешки, мухи-жигалки, по-сибирски — пауты. До того изводили скот, что его приходилось пасти по ночам. Толстокожие коровы комаров переносят легче. Но как же пастухи? Приспособлялись — перебывались у дымовух из гнилушек.

Ага, один мне даже тогда шутейно объяснил: «Комар зная боится — жир может вытопиться, а пауты — сырости, а то зелёный кафтан слиняет». Даже вот острили.

Невероятно... Столько лет лелеял в памяти дни молодого счастья, румяные зори, мимолётные ночи, как песенную пору вспоминаю, одну из самых счастливых и безоблачных. Но какая же могла быть радость, коли вокруг клубилась такая же, как сейчас, комариная жуть?! Обвыкнув, притерпеться, приспособиться — это ещё можно, а радоваться... Не путаю ли я чего-нибудь за давностью лет? Может, лишь сегодня нафантазировал эти страсти, а на деле не омрачал проклятый гнус золотых дней?

Было, всё было. И незабываемая красота озера моей молодости, и гнусное комариное существование тоже. Которое... просто испарилось в памяти! Только встреча с таёжной Кемью возродила забытую реальность. Да-да, это её шуточки, моей старой подруги, на подобные каверзы она очень даже способна. Некоторые психологи вообще считают, что память — это не накопление сведений, а именно механизм вычёркивания из обилия жизненных впечатлений всего ненужного. И неприятного. Идея парадоксальная, однако если подумать: ведь сохраняй она ВСЁ пережитое... Да избави Бог! Зачем бы мне столько лет носить в себе ожесточение того комариного злодейства? И она потихоньку его стёрла. Это как на обогатительной фабрике: загружают в технологический процесс массы руды, а на выходе пустая порода идёт в мёртвые отвалы, и лишь то, что содержит ценный металл, остаётся для дела.

А запало светлым обликом мне моё Боброво потому, что был молодым! Первая встреча с Сибирью, о которой мечтал, первая любовь, красота неопишная, юное лето, всё цветёт и благоухает. И, конечно, сама рыбалка... Интересно, как запомнится наша сегодняшняя поездка сыну? Неужели когда-нито буркнет: «Завёз меня однажды родитель в комариное царство — у-у! Обещал рай, а угодили как раз наоборот. Еле ноги живыми унесли». Обидно бы, коли так.

Днём мы всё-таки рыбачили. Наярились «мазутой», как называют местные всякие антикомариные зелья, несмотря на жару — в сапогах, в шапках, оно вроде и ничо. Рыба-то клевала лихо. А что эти вокруг вьются, перед глазами мельтешат и ноют — да и пусть. На обед сварили — пришлось что попроще — макаронны с маслом, и столько подлых долговязиков напало в котелок — хоть ешь, хоть сразу вываливай. Пришлось есть, ковырялись ложками, Серёжа острил:

— Таёжный деликатес — макароне-комароне! Какие-то они здесь рыжие. И злые, как собаки, я таких раньше и не видел. Давишь его, и слышно, как кости хрустят. Знаешь, я недавно слышал, что комаров у нас сто двадцать видов всего-навсего. А если б больше-то, а? И что кровь пьют только самки, а комариные самцы питаются нектаром цветов.

Ну, коли нектаром — совсем другой разговор. Раз чувство юмора его не покинуло, есть надежда.

А сам я сперва как-то обиделся на свою ворчливую сожительницу: подвела ведь, не ожидал от неё такого коварства. Но потом сказал себе: нет, всё-таки она у меня умница. Не знаю, какой останется эта наша поездка в будущем, но и за сны золотые об озере молодости огромное ей спасибо. Должно же что-то светлое сохраняться в душе.

А что за поворотом?

Сентябрь. На лёгкой лодочке-надувашке сплавляюсь по таёжному Кемчугу.

В руках короткие весёлки, в ногах рюкзак, поверх него — готовый к бою спиннинг. За каждым поворотом открываются новые виды.

Эх, какая алая рябина склонилась с переплетённых корнями песчаного яра, так и полыхнуло по глазам холодным осенним пламенем. А вон семья белоствольных берёз легонько играет золотистой листвой на фоне сумрачных пихт, сыплют монетки на прозрачные струи. А над следующим плёсом черёмуха — царица лесная, а не черёмуха, вся купа лилово-малиновая. Удивительные тона подобрал для её наряда невидимый живописец. За каждым поворотом будто вступаешь в новый зал безлюдной художественной галереи «Осень».

Но мне сегодня положено не любоваться, а внимательным глазом оценивать открывающиеся речные уголья. Ага, завал рухнувших лесин под ярком — многообещающее местечко, наверняка под стволами стоит в засаде щука. Можно бы попробовать выманить её блесной, да слишком рискованно, в глубине в таких завалах коряга на коряге, я и без того уже оторвал пару «байкальчиков». Зато ниже течения — ого, какой виднеется пережат-галечник! Протянулся наискось от берега до берега, под ним обязательно должен быть свал в ямку, любимые стоянки местных таймешков. Они на Кемчуге невелики, да всё равно не сравнить с заурядной постной щукой, — спущусь до этого пережата!

И вот он промчался подо мной пестротой разноцветной гальки на дне, однако предполагаемой глыбы за ним не оказалось — так, что-то невразумительное, бездарное. Придётся плыть дальше, река длинная, что-нибудь стоящее да попадётся.

Берега за каждым кривляком открываются один другого живописнее. Издали начинает маячить зелёная гора, сосновые маковки на фоне небесной синевы. По-африкански яркие зимородки срываются с нависших над заводами сучков. У этих птичек ослепительно-синяя спина, красно-коричневый низ и тяжёлая голова молоточком. Сидит на ветке — и вдруг бултых камушком в воду, только круги по поверхности. Через пару секунд вынырнет в сторонке — в клюве малёк. Кулички мирно дремлют, нахохлившись, на брёвнах, прибившихся к берегу. Пропускают меня, хоть рукой бери, а как проплыву, испуганно вспархивают. Тишина, покой.

Наконец гора наискось выступила из тайги и привалилась к воде глинистым яром. Под ним-то уж должна таиться яма! Опускаю якорь — увы, глубины опять всего полтора-два метра. А течение почти умерло. Какое-то неживое улово, на поверхности сонно кружится грязноватая пена. Эх, гора-гора, до того заманчиво маячила и обещала, столько я на пути к тебе пропустил реальных мест, а ты так равнодушно обманула. Что ж, остаётся надеяться, что в следующей излучине...

Этот сплав по речке очень напоминает мне писание рассказа или повести. В общем масштабе я знаю, откуда мой путь начался и где завершится: там, далеко впереди, Кемчуг перекрывает мост лесовозной дороги, от которого можно вернуться на попутном МАЗе с хлыстами. Я знаю, что на этом пути предстоит миновать множество разных поворотов, меняющихся берегов и каких-то событий. Там — опять зацеп, здесь предстоит долго хлестать воду спиннингом впустую, наконец — хватка, подсечка, борьба, победа и радость. Но предвидеть все подробности на предстоящем маршруте я не могу, они вырисовываются, лишь когда проплываешь каждый новый поворот и приходится принимать очередное решение. Точно так же рождаются события в рассказе.

Да, похоже. Но сколько отличных для ловли мест я сегодня проплыл мимо! В надежде, что за следующим поворотом окажется лучше. Да только надежды чаще всего не оправдывались, и приходилось снова плыть дальше. Трезвый рыбак должен вести себя расчётливее, практичнее, он бы столько времени впустую не убил, ни одной реальной возможности не упустил бы. А я... Как-то всё не могу остановиться. Выходит, я рыбак несерьёзный? А кто же тогда? Больше смахиваю на путешественника. У этих натура другая, их всё время тянет вдаль: что там за следующим поворотом, за горизонтом, за той романтически мерцающей далью? Тянет и тянет, не даёт покоя непознанное впереди.

Но, возможно, романтика тут ни при чём, а проявляется лишь свойство характера: не могу вовремя остановиться. Дурное свойство, просто сказать — дурацкое. Плохая черта, чреватая многими неприятностями в жизни.

Плыву — люблюсь, присматриваюсь, соображаю. Иногда всё-таки пробую поймать свою удачу (пара щучин уже в рюкзаке). Думаю об очередном рассказе, о себе... Такая моя рыбалка.

«Надо заблудиться...»

Кажется, где-то в дневнике Л. Н. Толстой, рассуждая о том, как у него движется работа над романом, заметил, что иногда надо «заблудиться», чтобы... Вот только окончание фразы у меня из головы вылетело: что именно — «чтобы»? Никак не мог вспомнить. Помог случай.

Летом мы с сыном неделю сплавлялись на резиновой лодке по Чулыму. Вечером остановились под глинистым яром, на котором,

как на пьедестале, выросла старая развесистая сосна. Единственная на нашей стороне. И прямо к её подножью из чащи тальников, черёмухи и калины выходила широкая тропа, испещрённая клеточками мотоциклетных следов. Деревня же постоянно слышалась от нас в километре или двух. На рассвете там долго зудел движок доильного агрегата, потом начали взрывать просыпающиеся трактора, брехали собаки. Явно не больше двух километров от берега это село, полчаса ходу, и тропа утопанная. А у нас закончился хлеб. Утром я сказал своему отроку:

— Вот что, ребёнок, хватит жить захребетником, ступай-ка ты в люди. Пора самостоятельно приносить хлеб насущный. Бери сетку и денежку, сбегай в деревню, купи три буханки.

— А я не заблужусь? — деловито осведомился он.

— Есть захочешь — дорогу сыщешь. Слышишь деревню? Ориентируйся на звуки. Да и тропа надёжная. На всякий случай запомни: от стана пойдёшь как раз на восход солнца. Тебе вряд ли пригодится, но у меня привычка всегда отмечать направление. И по дороге запоминай всякие приметные места: какие-нибудь на ней колодины, необычные следы, что в глаза бросается, чтобы на обратном пути их узнавать и быть уверенным, что не сбился. Даю тебе на всё про всё часа полтора, даже два для гарантии. Сдачи не надо, — великодушно завершил я напутствие.

— Я быстро, — бодро ответил он, заталкивая в карман деньги. — Бегом побегу.

Прошло два часа, минул и третий... Магазин, что ли, закрыт? Как у них в деревне обычно: сама на покос, а на дверях записка: «Уехала на базу». Ещё час... Долгонько он шлётрает. Но где тут блудить? Вон она, деревня, слышна рядом! И тропа набитая. Раз ездят на мотоциклах, пеши-то во всяком случае пройдёт. Однако ощущение тревоги росло.

Да не может с ним ничего произойти, нет тут никаких опасностей! Как заблудиться-то? В одну сторону не пустит Чулым, с другой слышно деревню, а к ней обязательно тянутся дороги. Но ведь три часа его нет, теперь уже больше. Это мне на бережке хорошо рассуждать, а когда потеряешься, то и соображать начинаешь словно в тумане, невероятное кажется возможным, и решения приходят совершенно несуразные с точки зрения спокойно размышляющего дома человека. Он мальчишка городской, начнёт метаться, испугается, да ещё — спаси и не приведи! — залезет в болото или ногу подвернёт. О, тогда и вблизи от дома можно... Мало ли было случаев — пропадали рядом с дачами, милиция искала.

Нет, пора что-то предпринимать. Но что? Идти искать? А как бросить на берегу палатку, лодку? Разобрать и спрятать в кустах... Только куда идти-то? На самой тропе не заблудится, а всю урёму не прочтешешь. Однако и сидеть без действия больше не могу. Ладно, гляну на эту проклятую тропу, что она из себя представляет.

И надо же, только углубился в заросли, навстречу показался мой Серёга. Растрёпанный, растерянный, устало улыбающийся, в руках болталась сетка с буханками.

— Ага, явился блудный сын! — с притворной строгостью воскликнул я. — Что-то долго ты гулял.

Конечно, он заблудился, мои смутные предположения оправдались. — Но как тебя угораздило? — недоумевал я. — Вон деревня, слышно. — Папа, но тропа идёт совсем не в ту сторону! — возразил он с обидой. — Я шёл, шёл, еле дошёл. «Близко...» Километров пять до ней! — Откуда же им тут столько набраться? Тебе просто показалось.

Но некая догадка у меня уже мелькнула.

— Ничего не показалось! Я купил хлеба и пошёл назад, — продолжал Серёга. — А ты сказал, чтобы через два часа вернуться. А тропинка заходит в лес и опять отворачивает, а мне уже есть захотелось. Я немножко остановился отломить корочку и слышу, что недалеко гудит моторка. Вон где Чулым-то, а дорожка — совсем в другую сторону. Я думал, выйду на берег и увижу палатку. И пошёл прямо.

— Так, ясно, — окончательно понял я. — Старинная мудрость: кто прямо ездит, тот дома не ночует...

Дальше события развивались следующим образом. Серёжа свернул в лес на звук недалёкой, как ему услышалось, моторки. Лес был дурной: старые корявые вёты, черёмушник, всё перепутал смородинник, переплели длинные плети хмеля, заглушила крапива и рослые купыри, — обычная приречная урёма. Противная паутина облепляла лицо, сетка с хлебом мешалась в руках, цеплялась за кусты. Серёжа засомневался: не вернуться ли? Но по тропе снова так долго идти, а он обещал прибыть «мигом». И моторка прогудела недалеко... Стал продираться дальше. И наконец впереди блеснула вода.

Но это был не Чулым. Вода чёрно-прозрачная, стоячая, подёрнутая сонным пухом, над нею свисали густые заросли. Из-под берега, из самых корней кустов с шумом вырвались две утки, он даже вздрогнул от неожиданности. Куда идти дальше? Возвращаться в чащу так не хотелось! Он уже сообразил, что это старица, а раз так, она обязательно должна как-то соединиться с Чулымом; моторка, как ему показалось, прогудела, удаляясь влево, и Серёжа повернул в том же направлении вдоль проблёскивающей в зарослях воды. Шёл, продираясь, исцарапал руки, ветки хлестали по лицу. Шёл, шёл, а конца затону не было. Берег куда-то заворачивал, уходил дальше, бодрое настроение постепенно сменялось неуверенностью. Но должен же быть конец у этой старицы! И тупик показался. Только ничего похожего на желанную реку не было. Озеро стало мельче, сквозь тёмную воду проступали мрачные водоросли, сверху плавала бледно-зелёная тина, пузырилась пеной.

— Я хотел её обойти, а там такой бурелом! И как затрещит что-то в чаще! Большое-большое...

—Сохатый, кто же ещё. Он сам тебя напугался.

—Я не испугался, правда! Только немного страшно стало.

Всё-таки пришлось моему храбрецу повернуть назад. Но в каком месте он забрался в эту чашу? Где выдраться на тропу-обманщицу? Он никак не мог решиться бросить берег курьи и пересечь заросли, чтобы выйти на известную дорогу. Шёл, шёл, а лес вокруг становился всё угрюмее и глуше. Появились тёмные ели, с их лап свисали сивые лохматые бороды, то и дело попадались упавшие деревья, они щетинились высохшими твёрдыми сучьями. Представляю... Обычно, коли надо вызвать впечатление жуткого дремучего леса, непременно воображение рождает картину тёмного насупившегося ельника.

—Серёжа, а дерево скрипело? Противным таким старушечьим голосом.

—Скрипело. Я даже вздрогнул...

—И русалки на ветвях сидели?

—Нет, не видел. А что? Птица какая-то прямо из-под ног вылетела, даже ветром меня обдала.

—Ну уж — ветром... Рябчик, наверное.

Он уже потерял представление не только о направлении, но и о времени. Мечтал теперь не о том, чтобы скорее попасть на стан с хлебом, а хоть куда-нибудь выйти. Устал, весь исцарапался. Сетка с буханками путалась в зарослях и оттянула руки, но есть совсем не хотелось. Хоть куда-нибудь выйти! Один раз ему снова послышался гул лодочного мотора, но теперь совсем в противоположной стороне, где-то сзади, а потом снова впереди. Но опять появился тупик затона, вперехлёт заваленный упавшими в воду мёртвыми елями, между стволами росла высокая жирно-зелёная трава с ядовитыми лиловыми цветами. На чистой прогалине стояла большая худая птица с длинным острым клювом-пикой.

—Большая?

—Во-от такая! — произнёс он, изображая бас и широко разведя руки.

—Такие здесь не водятся.

—Правда-правда, вот такая! Почему-то на одной ноге, замерла, как будто неживая.

—Обыкновенная серая цапля, лягушек караулила. А ты что?

—А я не захотел — вдруг она полетит?... И тихонько пошёл назад.

—Опять?! Куда назад-то?

—Не знаю...

Я слушал его и совершенно точно представлял всё, что он видел и что пережил. Мир вокруг стал непонятным, без границ, пустынным и опасным. А ты посередине — затерянный, маленький... Досталось мальчишке страстей.

—Слушай, Одиссей, а было так — солнце светило впереди, а потом вдруг почему-то оказалось за спиной?

—Было. А ты откуда знаешь?

— Тоже случилось. Я понял, куда ты забрёл. Там в зарослях большой излучины Чулыма прячется старица. Когда ты бросил тропу, то попал на её берег, и она всё время тебя отгораживала от реки. Вот ты и бродил вдоль неё взад-вперёд. И рядом Чулым, да не попасть. Эти курьи почти всегда имеют форму петли, поэтому кажется, что всё время идёшь прямо, но она незаметно заворачивает, и получается, что солнце почему-то стало светить в спину. В такие коварные объятия ты и угодил. Деревенские в этот дурелом не ходят, зверьё в нём живёт спокойно — затерянный мирок. Ладно, слава Богу, что выбрался, будет тебе наука. Без приключений тоже неинтересно.

А про себя я подумал: молодец, парень, сам справился. Зато сколько чудес увидел. Давненько я так не блукал, чтобы забрести в неведомый мир, вроде как в Зазеркалье, в сказку...

И вдруг вспомнил: вот для чего «надо иногда заблудиться»! Чтобы увидеть знакомый мир другими, будто новыми глазами. И тогда события или поступки, которые описываешь, вдруг предстанут не привычными, скользкими мимо внимания, а неожиданными, странными, непреднамеренными и самому автору удивительными. Да, кажется, именно в этом и состояла суть замечания Льва Николаевича.

Капели напугали

Говорят, тетереву вся зима — одна ночь. Забьётся с вечера в снежную лунку и дремлет, терпеливо ждёт рассвета и весны. Так и я — всю зиму трудился над одной работой, и что там происходит снаружи — не замечал, весь ушёл в задуманное. Утречком напьёшься чаю и — в свою работу, как тот косач в снежную лунку вниз головой. За зимние месяцы отяжелел, отупел, потерял чутьё к внешним событиям. Но всё равно дело подвигалось медленно, хотя всё время твердил себе, что до весны надо закончить, а то...

И вдруг за окнами разом отпустило, в чистом небе разыграло солнце, под карнизом засверкала душистая капель. В небе торопливо плыли ослепительно-белые облака. Воробьи, окропившись в первых лужицах, подняли задорный шум и гам, голуби томно ворковали на подоконнике.

Весна?.. Не может быть, рано ещё ей! А вдруг — в самом деле? А у меня ещё работы непроворот, никак нельзя расслабляться, иначе не успею к сроку. Нет-нет-нет, никаких капелей! Главное, не допустить их в душу, а то рухнет мой рабочий зимник, кувырком полетит трудовой настрой, захолонёт весеннее возбуждение. Подождите, радостные весенние капели, не сверкайте, не звените, сосульки, не деритесь, шальные воробьи, не сияйте в небесной лазури, верхушки осеребрившихся верб!

Да разве они меня послушают? У них своя жизнь и вечный порядок природы. Что им до мелкой моей муравьиной суеты? Сам теперь как-то приспособляйся...

Пошёл на Енисей посмотреть, какой там уровень, не начала ли ГЭС большой сброс, не замутилась ли вода от взбурливших ручьёв и притоков. Вдоль набережной гулял влажный майский ветер, в нём прямо-таки чувствовались воля и весеннее желание устремиться куда-то вдаль. Незаметно для себя добрёл до скульптуры на берегу, установленной в честь посещения Красноярска А. П. Чеховым. Вообще-то решение довольно необычное — увековечить этот факт в граните. Мало ли кто бывал в нашем городе проездом — всем памятники ставить? Но с Чеховым случай особый: важно, что он после своего краткого посещения о Красноярске и Енисее написал.

Я остановился, задумался, глядя на довольно необычное творение скульптора. Острословы его появление встретили ядовито: дескать, затея изобразить Енисей в виде сапога действительно оригинальна... Представил, как Антон Павлович, возможно, таким же днём — тоже был май — раздумчиво прогуливался где-то здесь по пустынному галечнику. Всё-таки интересно вообразить, что он тогда видел перед глазами, о чём думал. Впрочем, тут и воображения не требуется — он сам обо всём написал, можно прочитать. Да так написал, что заслужил гранитный памятник от благодарных красноярцев. Надо же было суметь — талант. Я эти его высказывания, как только прочитал, занёс... себе в рабочую тетрадку и несколько раз цитировал в очерках.

И вдруг сегодня подумалось, что, помимо их публицистического звучания — в довольно необычной для Чехова пафосной тональности, — в этих двух абзацах его текста заключено ещё одно содержание. И оно особенно важно для меня лично, потому что уж больно показательно демонстрирует коренную разницу между двумя подходами... Какими «подходами»? Путано как-то формулируется у меня мысль: что хочу сказать? что я понял? Допустим, вот если бы сейчас потребовалось объяснить какому-нибудь собеседнику? В таком случае лучше уж — с помощью примера.

Представьте, что вы впервые приехали в Красноярск, полюбовались могучим и суровым Енисеем и решили рассказать друзьям в письме об увиденном, — что бы именно вы написали? С большой долей вероятности можно предположить примерно следующее. Енисей — одна из самых больших рек, которые мне (вам) доводилось видеть. Даже трудно сказать, какой именно он здесь в ширину, потому что посередине острова и противоположный берег виднеется далеко в сизой дымке таёжных гор. Течение у него быстрое. Я подобрал на берегу щепку, бросил на воду и пошёл рядом. Та-ак, получилось примерно пять километров в час. А сама вода! До того чистая и прозрачная — каждый камешек на дне различаешь. Не сравнить с тоже быстрым, но мутным Иртышом. Даже не пожалел, бросил шагов на пять от берега монетку, так её видно на дне, поблёскивает сквозь прозрачные струи.

А теперь признаюсь, что это описание я не нафантазировал, примерно таким услышал его от своего родного дяди Оси, ездившего в Сибирь в командировку (опять в качестве геодезиста, что-то они размечали для очередной большой стройки). Запомнилось потому, что описание было «художественным», наглядным и выразительным, с деталями личного восприятия рассказчика. И я, в это время живший на Волге, представил по его описанию Енисей вполне зримо.

Теперь давайте для продолжения опыта вообразим ещё, что мог бы написать в очерке о Енисее побывавший на нём в командировке журналист. Здесь мне тоже фантазировать не требуется: приехав работать в Красноярск, я, естественно, довольно скоро вдохновился на газетную публикацию о «голубом меридиане» огромного края. Были в ней и положенные жанру образы типа «богатырь-река», «брат океана», «неутомимый труженик». Но в основном речь шла о громадной хозяйственной роли этой транспортной артерии и о самоотверженном труде (конечно, романтическом, как же без этого) речников. Добротный известинский очерк, многим понравился и в Красноярске, и в редакции.

Ну а теперь, наконец, обратимся к тому, что написал о Енисее Чехов... Впрочем, нет, сперва всё-таки необходимо объяснить, как и зачем он оказался на этом пустынном берегу. Чтобы главная мысль стала ещё понятнее.

Весной 1890 года Антон Павлович отправился в далёкое и трудное путешествие на Сахалин. Ему исполнилось тридцать лет. В своём творческом развитии — уже не Чехонте, но ещё далеко не признанный великий классик; в литературном багаже — первая драма «Иванов» (которую той весной играли в Иркутске!), весёлые водевили, повесть «Степь». Газеты называли автора «известным молодым беллетристом», даже «талантливым», но ещё никто не знает, что впереди произведения, которые сделают его одной из вершин мировой литературы. Он и сам этого не знает, и вот зачем-то решил поехать на неведомый Сахалин.

Многие друзья и знакомые от этого намерения отговаривали, в том числе печатавший молодого автора в своей популярной газете «Новое время» издатель А. С. Суворин (в либеральных кругах его считали реакционером), но тем не менее согласившийся спонсировать путешествие.

Он выдал Антону Павловичу корреспондентское удостоверение от своей газеты и обещал платить по двадцать копеек за каждую напечатанную строчку путевых очерков. Очерки Антон Павлович сначала писал, а со второй половины пути «зарабатывать двугривенные» (как выразился сам) бросил.

Весна в Сибири — время разлива великих и малых рек и неопишуемой распутицы, досталось путешественнику изрядно, в одном из писем он выразился так: «Я не ехал, а полоскался в грязи... Мозг мой не мыслил, а только ругался». Сибирский тракт назвал «чёрной

оспой земли» — выразительно. В Томске прожил с 16 по. 21 мая, написал и отправил первые шесть отчётов о дорожных впечатлениях. На несколько дней остановился и в Иркутске. А в Красноярске только переночевал.

Десятилетия спустя красноярские краеведы чуть не поминутно восстановят детали его пребывания в городе. Правда, особенно восстанавливать окажется нечего: погулял по улицам и городскому саду, подивился электрическому освещению в окнах купца Гадалова, с кем-то, разумеется, разговаривал, а пойти в гости к В. И. Сурикову, который в эту весну жил в Красноярске, говорят, постеснялся. Но в очередной раз повторять рассказы краеведов — зачем? Мне хочется поговорить о своём. Короче, переночевал и утром отправился дальше. И вот тут нам, красноярцам, повезло.

Во-первых, ещё неизвестно, какие бы отзывы оставил путешественник, проживи он у нас дольше. О Томске вон написал: Томск — город интеллигентный, только интеллигенция здесь странная, стоит поговорить со здешним интеллигентом несколько минут, и уж он предлагает: «А не выпить ли нам водки?» А Красноярск — «самый лучший и красивый из сибирских городов». Подчеркну, это он написал уже после Иркутска, очерк был отправлен аж из Благовещенска! Более того, об Иркутске и Байкале он вообще ничего не написал.

А во-вторых, утром Антон Павлович опоздал на плашкоут, который отчалил на правый берег чуть не перед носом у него, и пришлось полтора часа ждать следующего рейса. Что было делать? Антон Павлович неторопливо прогуливался взад-вперёд по берегу, смотрел, думал. Красноярские газеты в это время писали, что на городских берегах за зиму накопились кучи навоза, весной они вытаяли и являли вид настоящего безобразия. И ещё — что из-за традиционных весенних палов город опять заволокло сизым дымом. Но чеховского внимания всё это не привлекло, картина была для России всеобщая. Антон Павлович парил в других сферах. Позже он свои впечатления опубликовал. Цитата знаменитая, многожды приводимая в печати, но в плане моих рассуждений напомнить её необходимо. Итак, вот что он написал:

«Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей неистовый могучий богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовётся песнью... На Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, которая нам и во сне не снилась... Я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске, много у меня было разных мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо».

А по дороге за переправой у Антона Павловича родилось ещё одно знаменитое высказывание, на этот раз о сибирской тайге: «От неё

ждёшь не того, что она может дать. Вначале как будто немного разочаровываешься. По обе стороны от дороги тянутся обыкновенные леса из сосны, лиственницы или берёзы... Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разведённые перелётные птицы знают, где она кончается». То есть опять не ботаническое или географическое описание и не пейзажные ухищрения! А то, как он это явление принял и ощутил в душе. Вот в чём суть. Причём метод был абсолютно сознательным — в личном письме Суворину он сам его объяснил: в его очерках, дескать, «больше чеховского чувства и мыслей, чем Сибири». Таков был принцип автора.

Я ещё раз посмотрел на гранитного Чехова и почему-то вспомнил один разговор. Дело было в редакции «Известий», точнее, уже не в редакции, а вечером в гостинице, в дружеском застолье. Говорили, конечно, и о работе. Один брат по перу проронил: «Да вот всё никак не соберусь... Надо тоже повестушку выдать, интересный материал есть. Не боги ведь горшки обжигают, только что газетная текучка время жрёт: то одно срочное задание, то другое».

Что касается горшков, то относительно глиняных утверждение бесспорно. А если в смысле «повестушек», то сильно сомневаюсь. Близость журналистики и художественного творчества — чисто внешняя и коварно обманчивая. Со столяром и плотником я уже сравнивал; если сопоставление с топорной работой кого-то не удовлетворит, можно привести другой пример: два берега у одной реки. Антон Павлович, рассказывая здесь, видел на одном — город, на другом скрывались в синеватом мареве заливные луга и покосы острова. Какой из них был важнее? Оба важнее: разные, но без них не было бы и самой реки. Каждый из них выполняет свою роль... Кстати, Антон Павлович тут исправил бы не очень грамотное моё выражение: роль не выполняют, а играют. Правда, в паре писатель — журналист примешивается ещё фактор времени: как известно, «газета живёт один день», а книжка, даже если не получится «нетленка», она всё-таки в корочках. Хотя «Илиада» и без обложки стала вечной. И в случае с Чеховым тоже в этом смысле получилось нетипично.

Дело в том, что приведённые выше цитаты, ключевые для открывшейся мне идеи, были опубликованы лишь в той самой «реакционной» суворинской газете — и больше нигде! Так как сам Чехов свои сибирские заметки ни в одно издание собственных сочинений не включал. В книгах же советского периода они печатались именно по газетному источнику, в особом разделе; приведённая мною цитата стала особенно популярна в связи со строительством Красноярской ГЭС. А что касается слов: «Красноярск — красивый город»; «я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему здесь излюбленное место ссылки», — то они вообще взяты из частных писем, никогда нигде раньше не печатавшихся и для публикации не предназначавшихся.

Почему же он никогда не включал сибирские очерки в свои книги? Ответ напрашивается сам: как писатель, считал, что эти тексты недостаточно художественны. В виде публицистики — пожалуйста, печатайте в газете (тем более — по двугривенному за строчку, да и оправдывать надо было корреспондентский билет, выданный Сувориным), а как проза, факт искусства изящной словесности — нет, на сегодняшнем профессиональном сленге — «неформат». Не тот уровень.

Что же получается: такая длительная командировка, невероятное обилие новых ярких впечатлений — и никакого творческого результата? У нормального-то газетчика как? Съездил, вернулся, «отписался» — и снова за материалом... Нет, утверждать, что чеховское путешествие оказалось безрезультатным в творческом плане, не совсем верно. Появился целый том «Остров Сахалин». Книга, которую, увы, и тогда мало кто прочитал, а теперь тем более. Да, акт гражданского поведения, приведено множество уникальных краеведческих фактов.

А читали и бурно обсуждали, и поняли, что родился истинный, ни на кого не похожий классик, появившиеся сразу после сибирского путешествия «Попрыгунью», «Чёрного монаха», «Палату номер шесть». А как же материал, собранный во время путешествия?! Ведь мало того, что проехал половину России европейской и всю Сибирь, так ещё и возвращался морем через Японию, Цейлон, Суэцкий канал и Средиземное море! Вон Бунин — поплавал по морям и напечатал прекрасные путевые очерки «Воды многия» и «Тень птицы», именно за которые и получил звание академика по разряду изящной словесности. А Чехов...

В полном собрании его сочинений мы найдём лишь два рассказа по впечатлениям той большой экзотической поездки: «В ссылке» и «Гусев» (события последнего происходят в Индийском океане, в пароходных декорациях). Оба прекрасные, но не самые известные. Лично я считаю рассказ «В ссылке» просто гениальным... Зато впечатления последующей тихой жизни в подмосковной усадьбе Мелихово, а ещё позже в Ялте, рождали жемчужины классики одну за другой. Чтобы утешить разочарованных сибиряков, замечу, что о родном Таганроге Антон Павлович вообще ничего не напечатал. И как всё это понимать?

«Ну, нашёл с кем сравнить — с Чеховым!» — скажут мне обиженные пахари газетных полос. А самые сердитые добавят: «Ты на себя лучше посмотри, раз такой умный».

Вот как раз на себя и посмотрел. Чехова я давно... нет, не могу сказать, что люблю, тут чувство другое — священное недоумение. Мне довелось побывать почти во всех местах, связанных с творческой жизнью Антона Павловича. В столичном музее на Садово-Кудринской — на первые солидные гонорары купил не квартиру, двухэтажный дом, но на парадной двери повесил медную табличку: «Доктор А. П. Чехов». В мелиховской усадьбе — на лошадах со станции Лопасня Серпуховского уезда. В ялтинском Доме-музее. Посмотрел, представил,

подумал, многое понял. И главное: что великий талант — это непостижимо, умом и словами не объяснить.

Можно пытаться подражать парчовой прозе кудесника Бунина, можно «косить» под энергичный стиль папы Хэма или под сложные речевые периоды на полстраницы, как у Фолкнера (замечу: все трое этих очень разных нобелевских лауреатов называли Чехова своим учителем!). Но научиться писать «как Чехов» невозможно, многие пытались — безуспешно. Автор повести «А зори здесь тихие» Борис Васильев признавался: он страницами собственной рукой переписывал тексты Антона Павловича, пытаясь вскрыть их тайну. Но так ничего и не понял. Потому, что Чехов — это *просто*. Просто понял душу человека, почувствовал его, а затем просто взял и написал. И чему тут учиться?

«Э-хо-хо! — подумал я, стоя перед скульптурой на берегу Енисея. — А всё-таки вот разделаюсь с газетной суетой, выкрою время, сяду и... Хотя бы не повестушку, а только рассказ. Но настоящий, а? Вдруг получится? Заранее, конечно, уверенным быть нельзя, заранее никто не знает. Больше того, иногда напишет и сам не понимает: что? А тут узнают друзья, начнут ехидные пересуды и допросы: дескать, в писатели, что ли, решил податься? Придётся оправдываться, в смысле, что получилось вроде не хуже других. „Да которые не хуже-то, — скажут, — таких миллион! Уж лучше быть хорошим журналюгой, чем сереньким писателишкой“. — „Это, оно, конечно...“ А всё-таки: если попробовать, а? Ну, тянет, просто очень хочется! На другой берег: что там, как? Что ж теперь — и сидеть на обжитом месте до пенсии? Тем более, кажется, понял, в чём здесь самая глубинная суть. Лишь бы хватило способностей. Но это надо проверить на практике, иначе не узнаешь...»

Посмотрел на часы — ого! Пошёл просто глянуть, каков уровень на Енисее, а прохлаждаюсь тут уже второй час (гм, как и Антон Павлович). Задумался... Но кое-что понял новенькое, надо же. Место, видать, такое — намоленное.

СБОР ЖИВИЦЫ

Зачем-то стал перебирать свои старые папки и тетради — попалась запись от 1 августа 1974 года. Я тогда рыбачил на Кемчуге, а там повсюду, если подняться с речки на гору, стоят сосняки, и многие стволы изрезаны похожими на оперение стрелы каррами: это вздымщики местного химлесхоза насекали борозды, по которым должны были стекать капли сосновой смолки. Капля по капельке — набираются бочки живицы. Из неё на заводах делают канифоль, необходимую в радиопромышленности, без неё бумага была бы просто «промокашкой», ситцы и сатины не имели бы нужного качества, у музыкантов смычки не извлекали бы звуков из самых драгоценных скрипок. Из живицы вырабатывают скипидар для фармацевтики и производства

красок. Да мало ли чего ещё полезного получают из этого сырья — в промышленности его называют терпентином.

А я тогда, взбираясь на гору после рыбалки, подумал: и моя работа похожа на сбор живицы. Тоже расцарапываю своё воображение, собираю по капелькам всякие наблюдения, целые запасы душистого таёжного «терпентина» (мне чудится в этом слове созвучие с «терпением»). А затем обрабатываю его, преобразуя в конечный продукт.

Это я так тогда, в 1974 году, записал. А теперь прочитал и вдруг увидел идею: а что, если эти мои короткие рассказы и заметки назвать «Капли живицы»? Да, «Шелушинки» — звучит несолидно, «Опёнки» — тоже не то, слишком игриво. А «Капли живицы» — чем хуже по сравнению с «Осенними листьями» или «Камешками на ладони»? Тем более эти янтарные капли рождаются ведь у сосны от боли, от тревоги, а само слово содержит в себе некую целебную способность заживлять раны... Да, вполне стоит подумать.

ИСТИНА И ПРАВДА — РЕАЛЬНОСТЬ И РАССКАЗ

В писательском Доме творчества в Ялте вместе с литераторами жили донецкие шахтёры — Литфонд часть своих путёвок обменивал на путёвки в профсоюзные санатории для тех писателей, которым требовалось специальное санаторное лечение. Шахтёры и литераторы с интересом общались друг с другом, пользуясь такой неформальной возможностью. Как-то подходит ко мне один мужичок и говорит: «Хочешь, я тебя познакомлю с человеком? У него, я тебе скажу, такая биография! Возьмёшь бутылёк, вечером посидим — во какой роман напишешь!» И развёл руки, показывая, какой примерно толщины получится книга. Он совершенно простодушно думал, что автору надо лишь найти интересные события (сюжет) и затем всё добросовестно описать. Не врать, а лишь изложить честно, как оно всё бывает в жизни. Правдолюб у нас народ, вынь да положь ему эту самую голую правду-матку. А то всё врут писатели, зачем-то приукрашивают. Попробуй высказать ему вслух, что в голом-то виде оно как-то и не того, и уж больно примитивно выглядела бы роль творца-художника, то есть усомниться в святой вере в правду — не всякий и поймёт.

Что до меня самого, то мне к этому пониманию пришлось пройти довольно сложный путь, преодолевая наивные представления и даже некоторые личные свойства характера. Какие? Например, с молодых ногтей став заядлым охотником, был начисто лишён потребности сочинять охотничьи побрехеньки и никогда своим подвигам ничего не приписывал. До смешного. Ещё совсем пацаном попал во взрослую компанию гонять с собаками зайцев. «А ты, — спросил по дороге один дяденька, — раньше-то бывал?» — «Бывал!» — «И зайцев добывал?» — «А как же!» — «Сколько?» — «М-м-м... Не помню», — стеснялся я. «Ну, двух или, может, пяток?» — настаивал прилипчивый

следователь. Соврать я не смог и тихим голосом смущённо признался: «Одного...» Смешно вышло: «Не помню...» — вроде со счёта сбился.

Забавный пример. В начале двадцатых годов прошлого века к Пришвину приехал с Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев. Рассказал о своих путешествиях по Уссурийскому краю (кстати, в качестве военного топографа и, собственно, разведчика Генштаба), о его чудесной природе, о встречах с интересными людьми. И пожаловался: сначала, когда взялся писать, ничего не получалось. Если излагать события, как они идут в походном дневнике, то образ Дерсу Узала, будущего героя книги, выходил непонятным и неубедительным. Как быть?.. Над начинающим автором довлела профессиональная психология: для топографа и разведчика исказить что-либо в отчёте и домыслить — грех недопустимый, табу, такое и в голову не могло прийти. Поделился с женой. А та по наивной своей простоте сказала: «Да в книге-то следовать хронологии дневника совершенно необязательно! Возьми и переставь события местами». — «Господи, как же я сам об этом не догадался?!» — воскликнул изумлённый (Пришвин, вспоминая об этой сцене, употребил определение «первобытный») автор знаменитой «Дерсу Узала».

Так что авторы рассказов и повестей — они тоже разные. Некоторые заранее предупреждают: «Я — выдумщик, не любо — не слушай». Читатель знает правила игры и относится к ней соответственно. А каково художнику, который изначально исповедует принцип максимальной близости к реалиям жизни? Если он считает своей задачей лишь помочь людям увидеть себя со стороны — по-новому, чтобы задумались... Огромное влияние на меня в период литературного ученичества оказало чтение дневников классиков и признанных мастеров и комментариев к их сочинениям в конце книг мелким шрифтом. Что оказалось даже интереснее самих рассказов и повестей! Например...

Приехав в Бахчисарай, А. С. Пушкин осмотрел знаменитый «фонтан любви» и с досадой отметил в путевом дневнике: «Увидел я непорочный фонтан; из заржавелой железной трубки по каплям падала вода...» А потом написал стихи:

Фонтан любви, фонтан живой!
Принёс я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой...
<...>
Твоя серебряная пыль...

И так далее. Как прикажете это понимать? Тут возможен ответ: «Так это ж поэзия! Зачем сравнивать?» Хорошо, возьмём его же прозу. Как известно, Пушкин специально ездил по местам пугачёвских событий, говорил с живыми очевидцам, читал воспоминания и документы — узнал столько всего всякого! И написал... В «Истории Пугачёвского бунта» — с его знаменитым определением как «бессмысленного

и беспощадного» — Пугачёв один, а в «Капитанской дочке» совсем другой. Гений Пушкин! Поэт, выше всего ставивший свою творческую независимость! В каком своём произведении он описал настоящую правду? Может быть, суть в том, что объективное соответствие реалиям, то есть истина, — одно, а правда — что-то другое? Недаром у нас в народе говорили: истина от земли, а правда — с небес.

Для профессионалов-литераторов всё, чем я сейчас поделился, покажется примитивным. Но я не с ними тут и толкую, профи — они и есть профи, и вообще, всякое научение в творческом процессе бесполезно, каждый приходит — или не приходит — к своим правилам путём личного опыта. Я просто вспоминаю, как трудно в одиночку ковылял к подножью Парнаса (ё-моё, могу ли я позволить себе разок настоящее поэтическое выражение?). Короче, в своё время и мне пришло понимание, что «шахтёрское» представление о голой правде — наивность. Однако и столь же ошибочно полагать, будто нафантазировать и насочинять в рассказе можно всё, что в голову взбредёт. Правда — она всё-таки с небес... Приведу два эпизода из личной практики — возможно, кому-то покажутся любопытными.

ПРО АНГЛИЧАНКУ ЛАСКУ И ЛЕРКУ-МАНЕРКУ

В своё время мне довелось написать серию очерков на тему «Мои собаки» для очень популярного столичного охотничьего журнала, в котором такие публикации пользовались неизменным интересом у читателей. Одной из героинь этих очерков стала моя подружка, английский сеттер Ласка. Я воспитал её с младенческого щенячьего возраста, а в Красноярск привёз с Волги на самолёте, в рюкзаке за спиной. Животина была преоригинальнейшая, со своим, сугубо персональным, характером. Ну очень общительная и дружелюбная! Не знаю, то ли это шло от чисто женского желания *всем* нравиться, то ли от живости собственной природы. Во дворе ей обязательно надо было подбежать к каждому встречному — аж вся извивается от радости, на морде такая счастливая улыбка, будто встретила лучшего друга, которого сто лет не видела! Вместо положенной преданности хозяину, своей семье — потребность объясниться в любви с каждым прохожим, совершенно натура не собачья. Я даже малость ревновал.

На первых же охотах она обнаружила редкостный талант: поразительное чутьё, сообразительность, азарт и... независимость в поведении. Идём по лесной дорожке, я посылаю её налево, она посмотрит — всё понимает! — и повернёт направо. Что, дескать, ты мне указываешь? Кто лучше чувствует, я или ты? Но ведь решение, что именно надо делать, кого и где искать, чтобы добиться результата, определяется не только с помощью мокрого носа, но и опытом, разными соображениями, в конце концов, моими желаниями! Ведь это я её сюда привёз, имея кое-какие цели. Но как ей это объяснить? Только ругать за непослушание — бесполезно. Одарённая псина, в домашнем

быту весёлая, а деловые отношения у нас складывались трудно. Как, впрочем, очень часто вообще с талантливыми личностями. Характер её и подвёл.

Однажды в сумерках мы возвращались на стан, Ласка вдруг что-то зачуяла низом, я понял — какие-то следы в траве, увлеклась и потянула в сторону всё дальше и дальше. Я попытался её вернуть — оглянулась: «Слышу, слышу!» — и снова за своё. Надоело мне за вечер это постоянное перетягивание каната, плюнул и пошёл к палатке, до которой оставалось совсем близко, решив: «Придёт, куда она денется».

Но она не пришла. Ни вечером, ни на другой день — никогда.

Утром я по следам разобрался и сумел представить, что произошло. Оказывается, там недалеко, за березнячком, была покосная дорожка, на ней стояла машина: приехавшие бродили по лесным полянам, собирая грибы. Их-то следами, по своей дворовой привычке, и утянулась моя красотка. Выбежала на дорогу: машина, люди, — стало быть, ей потребовалось показать, как она им рада! А те, вполне вероятно, подумали, что городская собачка в лесу потерялась. Хозяев не видно, не слышно, а она вон как обрадовалась чужим. Явно заблудилась. Такая красивая... Хватить её в салон, дверца захлопнулась — прости навсегда, моя прекрасная леди.

Не знаю, как у неё сложилась новая жизнь; вероятнее всего, стала просто экзотической дворнягой, не знаю. Такого культурного охотника как я, вряд ли нашла другого: на Енисее истые «легашатники» редкость. Скорее всего, прахом пошли все её элитные таланты. Сама виновата. Так я и поведал в очерке, и читатели, возможно, посочувствовали моей героине, над которой собачье тщеславие сыграло плохую шутку.

А через много лет мне захотелось написать рассказ. Но не о Ласке: собаки ведь, даже самые умные и интеллигентные, рассказов про себя не читают, замысел автора должен быть обращён к людям. Поделится автор своими соображениями и переживаниями — глядишь, у кого-то они вызовут собственные чувства и соображения. То есть рассказ должен быть о человеке, как он, в данном случае хозяин Ласки, радовался, ревновал, злился, устал и махнул рукой и к чему это привело. А к чему привело?

К тому времени я уже знал известное литературное правило: сюжет надо «заострить», чтобы он глубже проникал в сердце читателя, то есть развязку следовало довести до настоящего трагического финала. Такое событие мне даже выдумывать не потребовалось, подвернулся случай из жизни одного моего приятеля. У его пса на охоте случился инфаркт — от возраста и перегрузок. Приятель на руках принёс своего помощника к машине, привёз домой. Пёс выжил, но стал тяжёлым угрюмым инвалидом. Знакомые советовали приятелю: «Что ты с ним маешься? Усыпи, в лечебницах это теперь запросто. И собака отмучится, и ты освободишься, заведёшь новую — молодую». —

«Не могу,— отвечал тот.— Вам легко давать советы, а мне он друг. Не мо-гу!»

Примерно такой финал я и приписал своей Ласке. Пришлось изменить имя, стала она Леркой-манеркой. Потребовалось усилить вину хозяина: это он её в азарте охоты загнал, не считаясь с возрастом и отсутствием нужной тренировки после зимней жизни в квартире. Самое интересное, что я, кажется, почти ничего не фантазировал. Но много думал. И всё нашлось само собой. И получилось новое повествование — про ту же Ласку, но... совсем о другом! Не о занятом собачьем характере, а о нашей ответственности перед своими четвероногими. Мало ли какой у неё норы — она-то сама этого не понимает! А ты, коли взялся, отвечай. Условно говоря, сюжет получился на известную тему: «Трудно быть Богом». Даже собачьим.

«ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?..»

И ещё пример, коротенько. Решил написать о судьбах двух деревенских соседей и об их драматических взаимоотношениях. В молодости один из них ушёл на фронт, честно воевал, получил награды и даже прославился: расписался на рейхстаге, и как раз его подпись попала на фотографию, которая обошла множество журналов, книг и документальных фильмов; в районе об этом узнали, стали приходить и поздравлять школьники.

А второй от фронта... уклонился: с молодости умел «косить» под инвалида, хотя был здоровым до старости, исхитрился использовать формальную лазейку и, скажем так, ещё кое-что. В результате на финише жизни одному — слава и почёт, другому — жгучая зависть и ненависть. А живут с детства рядом. И до того довели злые страсти человека, что он даже пошёл на клевету и лжесвидетельство против соседа, в результате чего честный фронтовик безвинно пострадал.

Что я тут взял у своих реальных прототипов из реальных событий, а что подмешал от других и «заострил» — речь сейчас не о том. Размышляя, как бы мне всё это поинтересней изложить, я подумал: а кто об их истории будет рассказывать? Просто от автора, как говорится, в третьем лице? Очень уж просто; главное, что в сборнике подобного типа рассказов без того несколько, книга будет выглядеть монотонной. А вот лучше, если бы кто-то третий стал постепенно узнавать житейскую историю и сам — тоже сомневаться, возмущаться, переживать, тогда и читать станет интересней, сопереживая этому третьему. Но кто может им стать? Первым приходит на ум приезжий журналист, но таких рассказов — хоть пруд пруди, приём стал избитым, не годится. Долго я размышлял и придумал.

Третьим станет случайный парнишка-подросток. Откуда бы ему взяться? А вот жил такой отрок-шалопай в городе, как в Сибири говорят — «Алёша бесконвойный», и... Тут моя фантазия вовсе пошла в разгул. И откуда только взялось — сам не подозревал, что способен

на подобное. Значит, так. Отец их бросил, мать одна тянула двоих детей, воспитывать было некогда, лишь бы накормить, обуть-одеть, учился парень шаляй-валяй. Куда его девать? Подружки матери присоветовали: устрой ты его в сельское профтехучилище, туда и с его успеваемостью примут. Станет трактористом, а они и в городе нужны, хоть на бульдозер, хоть на стройку. Так она и сделала. Но на практику малого отправили в деревню пахать зябь, дали старенький ДТ, который всё время ломался. А поселили временно как раз на квартире у героя войны. Тут-то он и стал узнавать всю историю, даже оказался немного участником конфликта. Вот такой появился персонаж, у него даже реального прототипа не было, весь «из головы» (гм, словно Афродита из пены морской). Какое-то ему требовалось дать имя, и я — признаться, лишь ради оригинальности заголовка — нарёк парня Колькой, а хозяина-ветерана — Николаем Николаевичем, и получилось «Коля-Коля, Николай».

Но получилось и другое, чего я вовсе не ожидал: с огромным удивлением увидел, что юный шалопай превратился... в главного героя рассказа. Впервые в жизни для него открылись и прекрасная человеческая доброта, и адские глубины человеческой же зависти и подлости. А выдуманный Колька, выросший без мужской руки хоть и безалаберным, оказался парнишкой добрым и чутким по натуре. Производственная практика стала для него школой жизни, этапом взросления и формирования молодой души, её отверждения. Знаете, как бывает: первоначально в растворе всё взболтано и перебаламучено, однако постепенно что-то выпадает в рыхлый осадок, что-то всплывает пеной, что-то твердеет, кристаллизуется и определяется...

Не знаю, как всё это у меня получилось, автор сам редко способен оценить результаты собственного труда, право вердикта принадлежит господам присяжным читателям. Я только хотел поделиться своим примитивным опытом: как пришёл к пониманию того, что правда жизни и правда искусства — это... обе правды! Но разные. Произведение искусства, в том числе художественная литература, — всегда *мир, сотворённый* в душе автора. Да-да, я настаиваю: всегда. Ибо иначе это просто не факт искусства, а нечто — хотя бы и тоже в печатном виде — другого порядка. Очень просто.

Наверное, в творческих учебных заведениях всё это объясняют с первых лекций и семинаров. Но познать общеизвестные истины, чтобы они стали твоим собственным знанием-убеждением, всегда так сложно...

2. ЧЕМ ДУША ЖИВА

Прорвёмся, славяне!

К 150-летнему юбилею В. И. Сурикова на родину художника привезли один из его шедевров — «Взятие снежного городка». Выставили

в культурно-историческом центре на Стрелке. И как раз взъярились настоящие рождественские морозы, Сибирь показала, что она ещё — ого, может! За годы глобального потепления мы как-то от такого и отвыкли. Да и зачем нос морозить, лучше посидеть дома.

Но у роскошного парадного подъезда музея было необычно оживлённо: красноярцы — много молодёжи! — шли и шли на свидание с великим земляком. Чтобы своими глазами увидеть, что же он такого изобразил на своём знаменитом полотне.

Очевидцы оставили много свидетельств об этом распространённом когда-то гулянии — потешном штурме снежной крепости. Его устраивали обычно в последний, «прощённый» день Масленицы. «Город» строили на льду реки или пруда — крепостной вал из снега, политого водой и обледеневшего. Посреди вала — ворота, поверху — снежные фигуры и украшения. Противоборствующими командами управляли два «енарала». На крепости раздаются песни, клики и музыка. Штурмующие с неистовыми криками бросаются на приступ, им навстречу летят комья снега, шапки, раздаются холостые выстрелы. Первый приступ отбит, но атакующие с ещё большим азартом ударяют на осаждённых, не щадя ни себя, ни своих коней. Битву описывал ещё первый красноярский губернатор А. П. Степанов: пешие захватчики лезут на стены, конные прорываются к воротам, мётлы и нагайки составляют оружие.

Что привлекло в том сюжете великого художника? Ясно что: прежде всего — характеры, неукротимый дух сибиряков, который он и выразил средствами живописи. Я стоял перед картиной, восхищался, разные соображения и чувства толкошились у меня в голове. В том и состоит назначение подлинного искусства — это всегда чудо, вызывающее мощную волну переживаний и рождённых ими мыслей, то смутных, то неожиданно простых и ясных.

Суриков занимает совершенно особое место в богатой великими именами русской живописи. Перебираю разные памятные с детства картины: «Бурлаки на Волге», «Неравный брак», «Вдовушка», «Тройка»... Нет, у В. Г. Перова изображена не гоголевская птица-тройка, а трое ребятишек, которые, впрягшись в санки, везут тяжёлую бочку с водой. Всё — беды людские, непосильный труд, согбенные, изнурённые фигуры, колодники, слепцы-бродяги.

И вот Суриков — совершенно другие лица! Яростный Пётр I, бунтари-стрельцы, неукротимая боярыня Морозова, Суворов с чудобогатырями, Стенька Разин, удалые казаки Ермака... Как говорится, почувствуйте разницу — совсем иной русский народ! Не забитый и угнетённый страданиями — народ вольный, могучий, сильный духом. Вот он передо мною на полотне: лихие, весёлые, с морозу краснооружие земляки-красноярцы.

Обычно, говоря об этом произведении Сурикова, знатоки восхищаются яркостью красок, сочностью колорита, брызжущим на вас

ощущением бодрости и азарта. И при этом напирают на психологическую сторону истории создания шедевра. Именно ту, что три года перед написанием «Снежного городка» Василий Иванович переживал пору глубокой депрессии, вызванной смертью любимой жены. Краски художника тогда потускнели, колорит погас. И вот возрождение к новой жизни, к новым вершинам творчества. Споры нет, так всё и было, и этот психологический аспект важен.

Но, стоя перед картиной (видел я её и раньше — в столичном музее), начинаешь думать о другом. Например, о том, что год её рождения — 1891-й — был самым, как в наши времена стали говорить о брежневском периоде, «расцветом застоя», глухой порой политической реакции Александра III в ответ на подлое убийство своего отца, царя-освободителя. Именно той порой, которая в литературе отображена чеховскими «сумерками». Как же так: два великих художника чувствовали себя в одну эпоху совершенно по-разному?

Ничего необъяснимого тут нет. Одновременно существовала молящаяся Русь Лескова и Нестерова и бунтарская поэтов-народников, забытая Глеба Успенского и Маковского и Россия, бурно строящая железные дороги и броненосцы. И вот ещё Россия праздничная и неукротимая, как на полотне Сурикова. Было всё это, уживалось одновременно! Так густо перемешалось в нашей непостижимой стране героическое с низким, великое с подлым, Божье с сатанинским. И что именно попадёт на полотно, в рассказ или в песню, зависит от глаза и слуха художника.

Почему же Суриков именно так видел свой народ и свою Россию? Ответ прост: потому что был сибиряком, более того — потомком казаков-первопроходцев. Всё-таки есть особый сибирский характер, есть! И господа москвичи зря против этого возражают. Это и по жизни объяснимо: в Сибирь шли только сильные, даже если и не по своей воле. А уж выживали, несомненно, лишь они: слабым здесь не местечко.

Как говорится, что ни город, то норы. Я уже приводил примеры — Тулу, Симбирск, Самару. Так вот у Красноярска характер — казачий. Как зародился, так и остаётся. Унылым на Енисее не прожить. Смотрите, братцы, «Взятие снежного городка» — смотрите на себя, какие вы красивые и неунывающие, и верьте: всё перемелется. «Прорвёмся, славяне!» Не знаю, когда родилось это лихое присловье, но точно, что особенно популярным стало в годы Великой Отечественной, это тоже о многом говорит.

И другой вспомнился поразительный эпизод из творческой биографии Сурикова. Его знаменитую картину «Переход Суворова через Альпы» ещё в мастерской пришёл смотреть Л. Н. Толстой, они были знакомы. Сам бывший офицер, участвовавший в боевых действиях, Лев Николаевич сразу обратил внимание на явные нелепости, изображённые на историческом полотне. Кто же станет юзом спускаться

в пропасть с примкнутыми штыками?! Они ведь переколют друг друга! А главное — зачем? Или — Суворов гарцует верхом на самой кромке обрыва: надо же быть дураком, чтобы горячить коня на краю гибели! Великий писатель-реалист был, безусловно, прав в своих замечаниях. И тоже *реалист* Суриков выслушал, подумал и ответил: «Пусть так останется». Только представить: боевой офицер и гениальная, авторитетнейшая личность даёт советы, желает добра, а Василий Иванович остаётся при своём мнении. Почему?

Потому что имел характер и отстаивал свой взгляд живописца. Он ведь изображал не войну, а характеры, настроение — средствами живописи. Если взять войну в опере, тем более в балете, там она и вовсе на реальную не похожа! Убери с полотна этот грозный блеск штыков, пересади полководца на понурого мерина — и что увидим? Не героизм, а унылость и обречённость. Гений художника это чувствовал. Но ведь ещё требовалась и твёрдость нрава, чтобы не поддаться влиянию *такого* доброжелателя. И этой воли, уверенности в себе у сибиряка Сурикова оказалось достаточно. Как теперь говорят, не прогнулся под чужой авторитет.

Так я думал и чувствовал, стоя перед «Взятием снежного городка». Хотя в смысле истоков суриковского творчества нового открытия не сделал. Он и сам говорил: «Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства; она же дала мне дух, и силу, и здоровье». На словах я это знал давно, в минуты свидания с подлинником — почувствовал сердцем.

Загадки «Синего платочка»

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч...

Какие незатейливые, простенькие слова. Хотя надо признать: есть в них что-то милое, ласково-грустное, вызывающее светлый отклик в душе самого простого человека. Но на великое творение явно не тянут. Да никто из создателей песенки на такое и не претендовал. Почему же стала любимой на всю страну, подлинно народной? Да ещё в самые тяжёлые, трагические годы? Ответ, казалось бы, напрашивается сам: не слова завоевали сердца людей, а музыка, мелодия.

Однако если по совести, чего же и в мотивчике этом такого гениального? Ну вальсок, очень лиричный, легко-напевный, но ведь один из многих. Какая такая в нём таится колдовская сила, и есть ли она вообще? И всё же приходится признать: заключена в этой песенке колдовская сила. Только... непонятно какая. Меня всегда волновали её секрет и загадки: почему, как случилось, что стала народной? Да и просто откуда взялась, кто сочинил? В домашних застольях пели, на концертах исполняли... но без указания авторов, лет тридцать или больше «Платочек» жил безродным — почему?

Кстати, очень популярной в войну была и песня «Огонёк»: «На позиции девушка провожала бойца...» И тоже без имени композитора. Но у неё хоть автор стихов был известен, Михаил Исаковский. Этот талантливейший выходец из смоленской деревни вообще был мастер «работать под народ», достаточно назвать всемирно известную «Катюшу», «Одинокую гармонию», «Враги сожгли родную хату...». И композиторы у него были именитые: М. Блантер, Б. Мокроусов, В. Соловьёв-Седой. А вот соавтора по «Огоньку» поэт и сам не знал, объявляли: «Музыка народная».

И что «Синий платочек» сразу стал народным, совершенно очевидно. Забегая вперёд, раскрывая ряд подробностей и ответов на загадки, до которых сумел докопаться, скажу, что песня эта впервые была исполнена весной 1940-го, то есть всего за год перед войной. Магнитофонов ещё не существовало, телевидения тоже, радио — да, главным образом в виде чёрных картонных тарелок репродукторов на стенах. Были патефоны, но не в каждой семье. Да и сколько времени требуется, чтобы песню выбрать, записать, наштамповать пластинок, развезти и распродать их по всей стране? Нет, за год было не управиться. Но уже в конце лета 1941-го стали ходить новые слова на эту уже популярную мелодию:

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.

Как такое могло случиться? Непонятно. И разве можно не удивляться неисчислимому количеству переиначек этой песни? Мелодия та же, а слова сочиняли всяк на свой вкус и лад, сохраняя, правда, обязательный «платочек». Известный красноярский собиратель фольклора К. М. Скопцов приводит в своём сборнике «Родники народные» варианты: «С крестиком белый платочек», «Беленький скромный платочек видел в дали голубой», «Парню нужна перевязка, кровью истёк он, лежит. Девушка в белом скромном платочке к парню на помощь спешит». Это записано в Красноярском крае, а сколько вариантов кочевало по всей стране! Чаще — сентиментальных, примитивных, однако все о том, о чём хотелось петь, как оно само изливалось в суровую пору страшной войны.

А весной 1942-го появился и «канонический» военный текст в исполнении Клавдии Шульженко: «Строчит пулемётчик за синий платочек, что был на плечах дорогих...» Также, признаться, не Бог весть какой поэтический шедевр, но в нём было талантливо уловлено то же чувство, которое делало песню любимой. Об истории этого варианта рассказала в своих воспоминаниях сама Клавдия Ивановна.

В апреле 1942 года, после самой тяжёлой блокадной зимы, она со своими музыкантами выехала из Ленинграда по уже растаявшему

льду Ладоги в Волхов. Здесь после концерта в одном из госпиталей к ней подошёл лейтенант Михаил Максимов. Он был корреспондентом газеты 54-й армии (газета называлась «В решающий бой»). Тоже интересно: по мирной специальности ставший военным журналистом лейтенант Максимов был... технологом общепита, перед войной руководил районным трестом столовых. На фронте сначала пахал в пехоте, был ранен. И пописывал стихи для армейской газеты. Стихи понравились, и его взяли в редакцию. Результатом личной встречи с уже известной тогда певицей и стал новый текст «Синего платочка». Первое исполнение его состоялось 12 апреля сорок второго в железнодорожном депо станции Волхов. Вскоре стихи перепечатали многие фронтовые газеты, появилась грампластинка, ни один концерт Шульженко не обходился без полюбившегося всем номера.

И как не привести ещё один эпизод из воспоминаний певицы? Запись «Платочка» на грампластинку производили уже зимой сорок третьего. Помещение не отапливалось, в студии устроили шатёр, чтобы пар от дыхания не садился на микрофон. Писали на пластинку, покрытую воском. Когда закончили, пришла оператор и разрыдалась: «Простите, я всё испортила!» Оказалось, она, слушая, заплакала на рабочем месте и не заметила, как слёзы капали на тонкий нежный воск. Пришлось всю работу делать заново. История выглядит уж очень сентиментальной, но такого никому не придумать.

Теперь это общеизвестно, однако я рассказываю о собственных открытиях, сделанных по крупицам задолго до того. Снова и снова задавал я себе вопрос: в чём секрет, какое волшебство таится в немудрёной мелодии? Написали бы в довоенной газете: «пошленькая, мещанская песенка», — имели бы основания...

Так вот, «Синий платочек», я думаю, стал популярен потому, что выражал всеобщее щемящее чувство того, что наши люди из-за проклятой войны *потеряли*, что у них отняла обрушившаяся на всех чёрная беда. Сразу стало всё, чем жили до трагического 22 июня, необычайно дорогим, светлым и бесценным — все эти простенькие платочки на плечах дорогих, милых, желанных, родных, эти ласковые встречи порой ночной, простые мирные человеческие радости. По поговорке: что имеем — не храним, потерявши — плачем. «Только зажили — и вот... Проклятые, проклятые фашисты!» И закипает в миллионах сердец та самая ярость благородная. Без этих чувств потери своего простого счастья и решимости его отстоять невозможна была бы победа. Вот что помогал почувствовать простенький мотив.

Именно по такой же причине всю войну крутили и народ взахлёб смотрел откровенно показушный фильм о предвоенной жизни «Свинарка и пастух». Показушный, фальшивый, но про «хорошую любовь», да ещё со светлой безоблачной мелодией. Нужно это было людям, требовалось, чтобы пережить страшные испытания.

Ну, допустим. А всё-таки — откуда он взялся, этот «Синий платочек», в нашей жизни? Кто его создатели? С ответами на эти вопросы обнаружились свои чудеса, с годами я узнавал всё новые мелкие подробности. Например, по смыслу ведь текст у песни... мужской! Обращён к любимой, а исполняли его три известных певицы, и я не знаю ни одного звучания мужского. Считается, что первой была Изабелла Юрьева, в её манере мелодия превратилась в романс, замедленный и чувствительный. Я старался, но представить подобную интонацию удавалось с трудом. Нина Русланова придала «Платочку» свой характер — народный, хотя в мелодии это, пожалуй, не заложено. Поэтому точнее всего совпало настроение музыки и слов с чисто эстрадным вариантом молодой певицы Клавдии Шульженко, она придала песне ту душевность и современность, которые принял народ. В том и состоит истинный талант: то, что он создаёт, совпадает с ощущением всех в данный момент, в данных обстоятельствах. А Шульженко удалось сделать это дважды — в довоенном исполнении и в войну. Случай редчайший в искусстве.

Хорошо, но кто же всё-таки авторы песни, почему их никогда не называют?! Объяснение приходило в голову одно, в ту пору распространённое: скорее всего, композитора... посадили. А то и расстреляли. Подобное явление было достаточно распространено: вдруг имена известных изобретателей, поэтов, композиторов — исчезали. К этому как-то уже привыкли. Очень вероятно, что такая судьба постигла авторов «Синего платочка» и «Огонька»...

И только в 1982 году я впервые услышал имя человека, подарившего нам эту светлую мелодию. Даже могу сказать точно: 17 сентября 1982 года. Я охотился в довольно глухих местах Пировского района, жил в заброшенной таёжной избушке. Вечером варил на железной печурке кое-какую похлёбку, а на столе под окошком бормотал карманный транзисторный приёмник, я его не очень-то и слушал. Но потом начался концерт, объявили любимый «Синий платочек» и... назвали автора! Имя было странным, вообще не советским, ничего мне не говорившим: композитор Ежи-Гарри Петербургский. Имя как будто польское, но — Петербургский... Странно. Однако в той передаче о нём больше ничего не сообщили.

Только позже, в связи с начавшейся горбачёвской «гласностью», стали проясняться весьма любопытные детали. Да, Ежи Петербургский — поляк. Но песню сочинил в Москве. Не случайный эстрадный дилетант — окончил Варшавскую консерваторию, а потом ещё и Венскую. После того, как в 1939 году гитлеровские войска оккупировали большую часть Польши, а другую заняла Красная Армия, он со своим джаз-оркестром перебрался в Союз, жил в гостинице «Москва» и выступал в знаменитом саду «Эрмитаж». Концерты — всё-таки иностранец! — пользовались большой популярностью. Но и то, что оркестр исполнял, само по себе было великолепным: танго «Милонга»,

песенка «Ты, моя гитара», знаменитое танго «Утомлённое солнце»... Что?! То самое, знаменитое, которое «нежно с морем прощалось»? Тоже Петербургский? Оказалось, он же. И тоже песня с необычной судьбой: исполнявшего её знаменитого эстрадного тенора Вадима Козина действительно посадили и сослали в Магадан, где он и закончил свой век. А других исполнителей долго не находилось, как-то оно казалось рискованно.

Вспоминали, будто на сочинение гениального «Платочка» автор потратил всего тридцать минут. Случается. Композитор Никита Богословский рассказывал, что сочинение тоже очень популярной песни «Тёмная ночь» заняло ровно столько времени, сколько требуется на её исполнение: просто сел за рояль и сразу сыграл. Правда, за тридцать минут в номере гостиницы «Москва» родился ещё не «Синий платочек», а лишь милый безымянный вальсик. Тест для него, написанный явно под «рыбу», то есть подогнанный в размеры мелодии, на другой день принёс поэт Яков Галицкий, а уже вечером вокалист оркестра Станислав Ландау исполнил новую песенку. Шедевры рождаются легко...

И «Платочек» пошёл в народ. А всего через год песенку напевали уже с военными словами. Потому что история за эти месяцы круто развернулась. Но об истории необходимо рассказать особо. Она ещё раз совершила в судьбе Ежи Петербургского судьбоносный финт. Нет, его не арестовали и в Катынском лесу не расстреляли, но из титров на грампластинках и с титулов печатных нот, эстрадных афиш имя всё-таки было изъято. И тут мне придётся напомнить кое о чём, к песням, казалось бы, касательства не имеющем. О сложных политических отношениях СССР и Польши во время Второй мировой войны.

«Панская» Польша была полностью оккупирована, её правительство эмигрировало в Лондон, обитало там под крылышком Черчилля, однако наше руководство его формально не признавало, что порождало острые, непримиримые разногласия с Англией. Это не помешало нам сформировать на территории СССР целый армейский корпус из интернированных поляков — для борьбы с общим врагом-агрессором. Командовать корпусом назначили генерала Андерса. Советское правительство рассчитывало использовать его в боях против гитлеровцев. Однако Андерс заявил, что подчиняться Москве не намерен, будет служить только законному правительству, находившемуся в лондонской эмиграции. Возник очередной советско-польско-британский конфликт. В конце концов, под давлением союзников, наше руководство вынуждено было разрешить уйти этому корпусу из СССР через Иран. Корпус воевал, кажется, сначала в Африке, затем в составе союзного десанта в Италии. То есть тоже не за Польшу, но для поляков было важно, что не вместе с Красной Армией.

Какое отношение все эти политические перипетии имеют к «Синему платочку»? Оказалось, имеют. Дело в том, что Ежи Петербургский

«предательски» ушёл вместе с корпусом Андерса в Иран. Поэтому его фамилия на долгие годы и десятилетия исчезла из титров. А саму песню уничтожить не удалось, и она стала просто безымянной, формально — народной. Чего только не перемешалось в её судьбе: пакт Молотова — Риббентропа и стихийное ощущение народа, талант композитора и большая политика, творческий вклад разных поэтов, ленинградская блокада, своекорыстное участие идеологических органов, душевные силы прекрасных певиц. Зато и результат: десятки, может, и сотни тоже хороших песен военной поры давно завершили свой жизненный срок, а этой, не сомневаюсь, суждены ещё многие годы. Ибо Великая Отечественная не умрёт в памяти нашего народа, а с нею и «Синий платочек».

А Ежи-Гарри Петербургский после того, как покинул СССР, оказался... в Аргентине. И только в начале семидесятых годов вернулся на родину. Ему было уже восемьдесят, в Польше его не помнили и не ждали, однако песни его пели. Да только не с такой любовью, как «Синий платочек» в России.

И в заключение — так сказать, постскрипум.

То, что я рассказал выше, уже было написано и даже напечатано, как вдруг — кажется, к очередной печальной годовщине 22 июня — услышал по московскому радио передачу о песне «Огонёк». Я о ней упоминал в начале, и, теперь признаюсь, не случайно. Прокрутили по радио старую запись «На позиции девушка провожала бойца...» в исполнении солиста радиокомитета Владимира Нечаева, и тепло у меня стало на сердце: значит, не одному мне памятна, вот и нынешние журналисты заинтересовались. Но главное — они привели некоторые детали.

Стихи М. Исаковского были опубликованы в главной газете страны «Правда» с подзаголовком «Песня». Сразу несколько композиторов, в том числе соавтор Исаковского по легендарной «Катюше» М. Блантер, сочинили мелодии на эти стихи. Но ни одна из них не пошла. А запели в народе ту самую, безымянную.

Видимо, по инициативе ущемлённых маститых авторов в Союзе композиторов создали специальную комиссию для установления имени создателя народной музыки. И в ходе её работы всплыла фамилия... Ежи Петербургского! Этого ещё не хватало. Пришлось деятельность комиссии прекратить, а результаты её работы огласке не предавать. Оно и понятно, имя эмигранта уже было стёрто и с «Платочка», и с «Утомлённого солнца». Если всё произошло именно так, легко представить, как смутилась комиссия, может, и перепугалась, ведь докопались до того, за что легко можно было угодить «под раздачу».

Но неужели и впрямь Петербургский? Как-то оно было бы даже слишком. Хотя каких только чудес не случается в творческой истории разных знаменитых произведений.

Загадочная, необъяснимая, прекрасная... Вторая симфония Калиникова. С первого раза, как услышал,—давно, в студенческой молодости,—она меня заорожила и проникла в самое сердце. И вот теперь стареет моё сердце, а она сохраняется в нём по-прежнему юной и светлой. Главное — удивительно русская. Самая русская из всего, что я слышал.

Звучит её мелодия, и в напевных, женственных голосах валторн чудятся мне просторы родной равнины, гуляй-ветер, под которым волнами ходит рожь, вдали светится стволами опушка берёзовой рощи, и плывут в синеве над безграничными полями белые пухлые июньские облака. Всё это я вижу именно с высоты холма, полной грудью вбирая вольный дух полей и ощущая себя кровным сыном этой самой прекрасной на свете земли. Вот такая музыка... Хотя я даже не могу сказать, что люблю её: нравится может нечто видимое или слышимое тобою со стороны, а она — во мне, часть меня, и как можно говорить, что ты любишь, скажем, собственное сердце? Странно было бы...

С музыкой у меня старые «интимные» отношения. Когда я перешёл в третий класс и наступило лето, начались беззаботные каникулы, мне почему-то захотелось играть на дуделке. Были тогда такие розового цвета пластмассовые рожки, детские кларнеты с дырочками, зажимая которые пальцами, можно было дудеть на разные голоса, причём довольно громко. И вот я стал приставать к маме, чтобы она купила мне такой инструмент, игрушку. В выходной родители отправились по магазинам за покупками и в числе прочего принесли мне... мандолину. Теперь я их что-то не вижу, в ходу стали домры. Итальянка-мандолина отличалась от них тем, что у неё было не три, а четыре струны, парные, а весь строй один к одному соответствовал скрипичному. То есть если умеешь на мандолине, бери скрипку — и запросто сможешь на ней тренькать. Короче, я неожиданно получил не игрушку, а настоящий музыкальный инструмент. Думаю, такое решение появилось по инициативе отца, который сам когда-то на мандолине брэнчал (а гитара у нас в доме водилась всегда).

Мандолина так мандолина, я с увлечением принялся её терзать, подбирая всякие мотивчики. Со временем у меня появился соответствующий самоучитель, и я постепенно самостоятельно стал копать в нотах. С этой мандолиной года через два я и попал в школьный струнный оркестрик. Увлечение росло, и после долгого, настойчивого кланчания я добился — мне купили баян. На нём-то уж я уверенно разучивал старинные вальсы, современные песни, фокстроты и танго. До серьёзной музыки мои интересы не простирались, потому как провинциалу-самоучке всякие симфонии казались чем-то далёким, из другого мира, и простому человеку непостижимым.

И вот однажды парень из параллельного класса — мы друг друга знали, но до того не общались, — подошёл к нашему раздолбанному школьному роялю, который стоял в углу спортзала для того, чтобы любой желающий мог пробарабанить на нём «Собачий вальс», поднял крышку клавиатуры и, стоя, положил кисти на клавиши. Старикан-рояль вдруг ожил, из его истерзанной утробы полились дивные печальные звуки такой красоты, что я обомлел. Вовка, так звали парня, вскоре бросил играть — сморщившись, пробормотал: «Не могу, совершенно расстроен...» Я спросил, что он такое играл. «Лунная соната». Бетховен. И... так красиво?! Значит, сонаты можно слушать? Я же говорил: провинциал-самоучка. Правда, ещё не успевший закоснеть в своей дремучести, ещё способный к восприятию нового и развитию.

А в русскую классическую музыку я въехал на «Тройке» Чайковского («Ноябрь» из фортепианного цикла «Времена года»). Времена года, природа — как раз то, что мне было ближе всего. Дальше — больше: приняла моя душа и симфонии Петра Ильича, «Эгмонта» и Пятую Бетховена, мир классической музыки распахнулся для меня и впустил в свои зачарованные прежде чертоги. И только со Второй симфонией Калинникова я встретился довольно поздно: почему-то её очень редко исполняют по радио, не попадалась на пластинках, и ни разу не довелось услышать в концертном зале. Почему — объяснить не могу.

Как передать словами, что я ощущаю, слушая её? Пересказывать музыку почти безнадежно, слова всё приходят какие-то рядом по звучанию и чувствам, отвлечённые и немые. Попытался объяснить, что СЛЫШУ в звуках симфонии Калинникова, а описал — что *вижу*... Как тут быть? Может, попробовать сравнить его музыку с творчеством других композиторов, особенно с которыми он жил в одно время? А кстати, когда он жил? Где родился, кем был, с кем дружил?

Долгое время я ничего о нём не знал: просто Калинников, автор Второй симфонии, даже без имени-отчества. Наконец заглянул в Энциклопедический словарь. Ага, Василий Сергеевич, автор двух симфоний и симфонической картины «Кедр и пальма», «продолжатель традиций Чайковского и „могучей кучки“». И больше ничего. Нет, названы ещё годы жизни: 1866—1900/01. Даже неизвестно точно, когда умер? Как-то странно. По крайней мере, стало ясно: современник Горького, Бунина, Куприна, Танеева, то есть младший наследник Чайковского и Бородина, чуть старше Рахманинова. Так у него ещё и брат был, Виктор, тоже композитор! «Автор духовных песнопений». Интересно, но раз «духовные» — вообще тёмный лес.

А родился — Бог ты мой! — в Мценском уезде на Орловщине. Что же это за земля волшебная, откуда в ней силы давать стране самые яркие русские творческие таланты? Тургенев, Фет, Лесков, Бунин, Пришвин, вот ещё и Калинников! Теперь ясно, из каких родников пристекали его мелодии.

Позже я узнал немногие подробности жизни этого одарённого человека, кометой пролетевшего по небосклону русской музыки. Отец — полицейский, становой пристав, мать — дочь диакона. Окончил духовную семинарию, но в священники не пошёл, поступил в Московскую консерваторию и жил на двадцать пять рублей в месяц, которые присылал родитель. Умер в тридцать четыре года от чахотки. Его слушал и благословил Чайковский, а питерцы Римский-Корсаков и Глазунов не приняли, знаменитый критик Стасов просто не заметил. Питерцы всегда отличались снобизмом.

Петербургская, хоть тоже русская, школа музыки была другой. Корсаков — кудесник звуковой изобразительности, великий искусник. Мог в симфонических картинах представить вам весну с её каплями, звонкими ручьями и пением птичек или живописать мощь окианаморя синего. Бородин воплотил в звуках оркестра богатырскую силу народа... А у Калинникова нет никакой изобразительности, у него просто напрямую, непосредственно, неведомой силой поёт сама душа, звучат её глубоко русские струны. Опять же, взять «Камаринскую» Глинки или Четвёртую симфонию Чайковского — тоже наше, родное, но... чувствуешь, что слышишь музыкальную классику, а у Калинникова — просто обнажённая душа.

Пожалуй, ближе всех его Вторая созвучна с великим творением Мусоргского «Рассвет на Москва-реке». Да, пожалуй. Тоже объяснить невозможно, а понятно сразу, что это рассвет именно на Москва-реке, а не на Темзе или Луаре. При всей гениальной общечеловечности творений Бетховена и Моцарта, я всегда чувствую, что это музыка немецкая. В операх Верди и Россини события могут происходить в Париже, Севилье, хотя бы и в Древнем Египте, но музыка звучит всегда итальянская. Потому что если она великая, в ней непременно отражён национальный характер, таково её волшебное свойство. Что и говорить, скажем, о негритянских или индийских мелодиях и ритмах?

...А может быть, томящее чувство, которое рождает во мне звуки калинниковской симфонии, поможет передать сравнение с творчеством наших художников? Скажем, Бородин — это Суриков и Васнецов в музыке. Пейзажи Шишкина слишком монументальны, сами по себе прекрасны, но звучание их другое. Если только Левитан, его «Золотая осень» или «Вечерний звон». Однако у Калинникова слышится явное лето, даже точнее — светоносный летний полдень. Нет, не получается, не могу доискаться слов и образов, чтобы передать, что поёт сама душа, без всяких изобразительных ухищрений и посредников.

Пытался привлечь на помощь поэтов, и, разумеется, прежде всего — земляка и современника Калинникова, Ивана Бунина. Много у него прекрасных стихов, рисующих милую природу общей им родной земли.

Веет утро прохладой степною,
Тишина, тишина на полях!
Заросла повиликой-травою
Полевая дорога в хлебах...

Или: «С поля пахло рожью и дождём...»

Прекрасные стихи, совершенно живые картинки и за сердце берут. Да только всё не то. У Бунина всегда конкретность, реальные детали: дождь, повилика, полевая дорога. А в музыке Калинникова русская природа вообще, сама её душа выражает себя непосредственно и позволяет тебе почувствовать, что... Впрочем, я уже про это говорил, что же повторяться? Сколько ни повтори, яснее не станет. Похоже, не с моими задатками пересказывать щемящие звуки мелодий на язык письменной речи.

А главное — надо ли?

ЗАСАДА. ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО МАРША

Во времена оны я довольно тесно общался с покойным ныне красноярским композитором Николаем Голосовым. Формально — по линии существовавшего при писательской организации бюро пропаганды художественной литературы, но и, как говорится, очень даже «без галстуков». Я любил и знал много песен (был, как и Коля, баянист), он почувствовал во мне благодарного слушателя. Вплоть до того, что мог разбудить телефонным звонком среди ночи, чтобы спеть в трубку только что родившееся творение. А я, ещё не совсем проснувшись, чего-то вякал, типа: «Вот эту триоль ты, старик, здорово придумал, украшает...» Или что-нибудь об удачном переходе из минора в мажор через доминант-септаккорд.

А если без шуток, то некоторые песни Николая Голосова в самом деле были очень хороши и нравились мне искренне. Недаром их брали в свой репертуар маститые столичные исполнители. Правда, с этим ему всё как-то не везло. Исполнит модный солист песню Голосова, потом возьмёт да уедет в Израиль, и, считай, пропала песня. Печально. Однако случилась с Колей музыкальная история вовсе страшная.

Статус композитора — дело почтенное, а тут надо пояснить, что Голосов был ещё и автором-исполнителем. А артист, певец с баяном — это совсем особая творческая категория. И, соответственно, другой образ жизни. То есть участие в различных праздничных гулянках — теперь их величают «корпоративами», после чего нередко, случалось, Коля попадал в натуральные запои на несколько дней. Издержки, так сказать, дарования. А жил он один в довольно запущенной квартире, в Зелёной Роще. И вот однажды...

— Возвращаюсь, — рассказывал мне сам, — домой, руки трясутся, еле ключом попадаю в замок, открываю дверь... А в квартире миллионный наряд. «Ага, молодец, попался! Придётся вам проехать

с нами». Берут под белья руки, заталкивают в милицейский «уазик», и покатили. Куда? За что?! Сижу и пытаюсь сообразить, что же я такого сумел натворить. А голова раскалывается, похмелиться-то не удалось, в душе полный раздраз. Неужели, думаю, замочил кого по пьянке? Не должно бы, не было, кажется, никаких драк. Хотя кто его знает, в подпитии люди иногда совершают такие несуразности — затем всю жизнь приходится расплачиваться. Короче, мысли в тяжёлой голове колобродили самые драматические.

Наконец привозят нашего Колю в краевое УВД. Но ведут не в сырые, заплесневелые казематы, а в высокий светлый кабинет самого начальника всей краевой милиции! «Товарищ генерал, по вашему приказанию композитор Голосов доставлен». И в ответ вежливое такое, дружелюбное приветствие: «Здравствуйте, товарищ Голосов, Николай... э-э... Николаевич? Очень хорошо, присаживайтесь, пожалуйста».

А дело оказалось... Приближался какой-то очередной праздник милиции. Во время обсуждения подготовки к мероприятию генерал высказал пожелание в смысле, что хорошо бы нам получить к этому дню свой марш красноярской милиции. И сам назвал фамилию возможного автора. То ли слышал какую песенку, то ли просто чтобы знали, что и он знаком с культурной жизнью края. От себя засвидетельствую: тот генерал, его звали Дмитрий Иванович, был очень интеллигентным и порядочным человеком, хотя и носил несколько несоответствующую должности и личному характеру фамилию — сибирскую! — Грабежов.

Желание начальника — закон для подчинённых. Решили немедленно заказать новый марш композитору Н. Голосову. Тем более что до праздника оставалось не так много времени. Звонят по телефону — не отвечает. Пришлось съездить по адресу — в квартире никого. И в филармонии ничего сказать не могут: он, поясняют, самодеятельный, у нас в штате не состоит. А дни бегут, генерал на планёрке спросил: как там дела с маршем? Я бы, дескать, хотел сам предварительно послушать, всё-таки в некотором роде лицо фирмы. И, услышав в ответ: «Не можем найти», — слегка удивился: как это не можете, вы где служите-то?

Тогда и решили подключить к поиску опытных оперативников. А у тех приёмы отработаны: забросили свои сети в соответствующую среду, вскрыли квартиру и устроили засаду, дело привычное. Объект сопротивления при задержании не оказал.

— Времени оставалось вовсе в обрез, — продолжал Коля свой рассказ, — и они, наученные опытом, взяли меня под домашний арест. Лейтенант, которому поручили караулить, попался смыслённый, понял, что требуется объекту для вдохновенного творчества. Запер меня на ключ, сам сбегал в соседний магазин. И процесс пошёл.

«Марш красноярской милиции» получился вполне приличным, не хуже других, которые создавались... А впрочем, кто знает, как они создавались? Творчество — процесс таинственный.

В 1987 году в связи с 70-летием Октябрьской революции в залах Союза художников на Крымском валу в Москве состоялась юбилейная выставка. С верхов, в духе того времени, поступило указание: показать народу всё, что было в нашем изобразительном искусстве с 1917 года. А я как раз оказался в столице и пропустить такое событие в культурной жизни не мог.

Надо заметить, что в одном месте были открыты сразу две выставки: на одном этаже размещалась классика живописи американской, а на другом — эта самая наша, юбилейная. Увидеть американские пейзажи, охотничьи сцены, живописные жанровые картинки мне было очень интересно. Вигвамы, разбросанные на выстриженной зелёной поляне по берегу мелкой быстротруйной речки... Правда, что ли, так вот они и жили, словно на иллюстрации в детской книжке? Очень уж как-то лубочно. И сама живопись: всё показалось совершенно реалистичным и — увы — вторичным. Однако я испытал чувство благодарности к далёким неизвестным мне художникам: спасибо, оставили для нас образы природы, быта и типов своего времени. Смотрю сегодня и вижу, как оно там всё начиналось, этот монстр под названием США. Хотя, если честно, скучновато было в американских залах. То ли дело изображение той же действительности в сегодняшнем голливудском кино! Впечатление любопытное...

Совсем иные ощущения родились с первых шагов по родным залам: у американцев дремала музейная тишина, а тут будто музыку врубили! Маяковский и Бурлюк — «Окна роста». Видел я их в качестве книжных иллюстраций, а на деле-то — огромные плакаты с фигурами чуть не в натуральный рост! Очень броские, все рисунки — из ломаных линий, краски — контрастными пятнами без переходов. Только бумага сильно пожелтела, поблели цвета.

Ага, а вот и Шагал, ну-ка, ну-ка... Из этого я тоже кое-что знал по иллюстрациям да с открыток, а тут подлинники. «Скрипач» — оказывается, это картина огромных размеров, в полстены! Лицо персонажа — зелёное. Не в виде рефлексов и бликов цвета, а просто само по себе плоско-зелёное, вот прямо как перья молодого лука. Вокруг разбросаны серые ослики, одежда на персонаже — всякая, непонятная. Скрипочка сверху карминно-красная, рука на ней — чистая зелень. Нос крючковатый и согнут на лице в ту же сторону, что и наклонена голова. Смотрится всё это довольно забавно, однако за что Шагала стали считать великим художником, я не понял. Предполагается, что такими живописными средствами автор вызовет у меня определённые чувства? По ассоциации с игрой цветами? Хоть бы подсказал, какие у меня должны быть чувства-то... Вот этот луково-зелёный, он что должен пробудить — зелёную тоску или июньскую радость в смысле «молодо-зелено»? Главное, что я чувствую, — никакое не настроение, а понимаю, что всё это — умствование автора: «Вот я вам сейчас ещё

не такое выдам!» М-да... Ладно, твердят, что гений, — придётся, наверное, списать на мою эстетическую недоразвитость.

Честно признаюсь: дальше импрессионистов я в восприятии живописи не ушёл. Зато они... Как вспомню отведённые им залы Русского музея в Питере — душа ликует, вздымается телячьим восторгом. Господи, какая радость, ведь надо же так схватить мгновения бытия! В красках, нанесённых «небрежными» мазками кисти. Волшебство. И средствами композиции. Я-то знаю, как это делается: будто всё случайно, будто рама обрезала дерево или фигуру как попало. А на самом деле Левитан впечатления этой этюдной случайности, схваченной на полотне картины берёзовой рощи, добивался в мастерской если не лет двадцать! Моне, Писарро, Сислея — чудо. И наши — Серов, Коровин, Кустодиев. А дальше у меня с живописью не пошло. Не знаю, не знаю. Возможно, мне самому чего-то не дано, чтобы воспринимать авангард, появившийся за ними? Да, из любимых чуть не забыл ещё назвать Аркадия Пластова.

Эх ты, даже это выставили?! Однако, молодцы устроители, так и должно быть: смотрите сами и делайте выводы... В небольшом зале, в который я ступил, посреди стены висела рама, окаймлявшая простой чёрный квадрат. Да, именно тот самый, знаменитый. Подошёл, наклонившись, прочитал подпись: «Чёрный квадрат. Супрематизм. Казимир Малевич, 1926 г.» Ну и что мы имеем?

Да-а, это он здорово придумал, впечатление производит ошарашивающее. Не искусством, — какое же тут искусство? — а своей, извините, наглостью. Вот, дескать, я взял и предъявил! И как вам? А как?..

Стою, смотрю. Но на что, собственно, смотреть-то? Ну, квадрат. Чёрный. В раме. По-моему, на ватмане. Вроде даже просто тушью, в обрамлении белых полей. М-м-м... А не лох ли я, попавшийся на примитивный розыгрыш? Оглянулся: не наблюдает ли кто, готовый захохотать? Нет никого. Гм, шедевр, понимаешь ли, а в зале пусто. Не то что творилось в 1955 году в зале музея имени Пушкина, где довелось созерцать «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. Тоже была выставлена только одна картина, а очередь тянулась по всей Волхонке, билеты распределяли через профкомы, перед самой «Мадонной» — милицкий пост. А тут... не знает, что ли, народ? Ну ладно, а всё-таки — что передо мной? Хоть убей, не получается отнестись как-то всерьёз. Неужели я и правда до такой степени тупой? Наверное, надо постоять и посмотреть: вдруг что-нибудь почувствую? Только непонятно, на что смотреть-то! Ну хорошо, отойду в сторонку и понаблюдаю.

И нашлось на что смотреть! Вот это было интересно, очень.

Первым подошёл мужчина средних лет и ординарного облика. Постоял, недоуменно пожал плечами. Низко склонился, приблизился лицом и чуть не носом провёл вдоль рамы снизу вверх. Выпрямился, отёр рукою подбородок. И вдруг воровато оглянулся: не наблюдает ли за ним кто, притаившись в углу? А то ведь явно попался, как простак

на улице: идёшь — лежит кошелёк, наклонился, а он — шмыг от тебя на ниточке! И ржанье издевательское за спиной: забавляются, паразиты... Я торопливо сделал вид, будто увлёкся — разглядываю что-то на другой стене и попавшего впросак гражданина вовсе не замечаю. Но гражданин всё равно торопливо покинул зал. А я подумал: точно, и я так же. И, видно, похоже сделал плечами — недоуменно: ведь должно же ещё что-то быть. Неужели просто повесили этот чёрный четырёхугольник, и птичка не вылетит? А ничо больше нету-ка... Но тут появился ещё посетитель, реакция простая и открытая — добродушно-насмешливая во всё лицо, словно на концерте юмористов. Во, дескать, молодчага, взял и закрасил! А вы гадайте. Молоток!

Затем вошли двое. Остановились и начали спорить довольно громко, не стесняясь.

— Нет, ты мне скажи: как назвать живописью закрашенную чёрным некую площадь? Это живопись?

— Э-э, в известном смысле. Но скорее философия, мировоззрение.

— А! Тогда другой разговор. На философию можно списать любое шарлатанство. Но зачем же было заключать в раму и вешать на выставке произведений искусства? Для подобных эффектов есть другое место, называется цирк. Философия... У живописи свои средства: цвет, формы, композиция, — а если содержание надо объяснять вербальными средствами, какое отношение она имеет к...

— Как это какое? — перебивает тираду собеседник. — Супрематизм как течение во всём мире признан, экспонируется.

— Погоди, я сейчас тебе элементарно покажу, как рождается подобное признание. Значит, так. Сначала является некий жулик или в лучшем случае полусумасшедший, обуреваемый сатанинским тщеславием. Но главное не в нём, а в тех, которые смотрят. Первый решил: все дураки, а я самый умный — понял! И начинает объяснять другим, причём здесь очень важно как можно больше заковыристых терминов, метафизики, тумана. Второй спохватывается: ну вот, теперь подумают, что я тупой, ничего утончённого и новаторского не понимаю. И подхватывает, стараясь перещеголять первого. А дальше пошло-поехало, подключаются газетные пустоплясы, для которых суть не важна, главное — шумиха. И в результате формируется «общественное мнение».

— Ты сознательно игнорируешь такую данность, как то, что о произведении искусства вообще не может быть объективного мнения! У каждого из них имеются две ипостаси: творческий акт автора и восприятие его зрителем или слушателем. Один зритель постигает глубинный космос замысла, другой, увы...

— Вот-вот я и говорю: то есть «сам дурак»! Это у вас такой главный интеллигентский метод доказательства своей правоты.

— Но ты сам себе противоречишь! Отрицаешь, а ведь пришёл, начал горячо обсуждать — выходит, задело?

— М-да, это ты меня уел... Хотя я не «творение» это обсуждаю, а как людям лапшу на уши вешают. Пойдём-ка лучше отсюда, а то и впрямь можно подумать, что я... — договаривал фразу он, уже выходя из зала, и её конец было не слышать.

А у шедевра уже образовалась новая парочка. На этот раз хлыщеватый парень, длинноволосый, в очках, и симпатичная девчонка с милой кудряшкой, «непреднамеренно» свисавшей на лоб, которую ей то и дело приходилось сдувать или поправлять пальчиком, что и составляло главную заботу её обладательницы. Парень сразу же принялся в буквальном смысле обхаживать свою спутницу — топтался вокруг неё петухом, выразительно размахивая руками. Что-то увлечённо пытался втолковать, кивая в сторону «Квадрата». Говорил он торопливо и неразборчиво, да я и не вслушивался, меня больше привлекала девушка. По её выражению было видно, что она тоже не столько вникает в объяснения, сколько наблюдает за поведением своего гида, думая о чём-то своём. И вдруг громко и открыто смешливо фыркнула! Парень озадаченно глянул на неё.

— Ты чего?

— Знаешь, я представила, каким ты лет через двадцать станешь умным, сытым и... лысым!

— Почему лысым?!

— А так, не знаю. Все, которые привыкают как вот ты сейчас говорить, почему-то с годами становятся лысыми. Наверное, чтобы казаться ещё умнее и солиднее. Ладно, ты только не обижайся, пойдём дальше, а то ведь надо ещё много посмотреть.

Ах, милая, милая девочка, спасибо тебе. И я, пожалуй, тоже пойду, а то от этих мыслей... Зачем мне тут дальше подвергать себя такой ужасной опасности? Если даже молодому парню через двадцать лет грозит лысина, а я-то уже много старше его...

Светлый талант и затемнение в мозгах

Я вырос с песнями Исаака Осиповича Дунаевского. Наверное, можно сказать, что всё моё мироощущение в какой-то степени сформировалось под влиянием его музыки. Да, это не будет преувеличением. Вот даже помню, как в детсаду мы разучивали «Легко на сердце от песни весёлой», честное слово. Пожалуй, смысл слов до меня ещё не очень доходил, но мелодия! Она, словно воздух при вдохе, заполняла душу и оставалась в ней каким-то камертоном будущих музыкальных впечатлений. «Волгу-Волгу» с прекрасной чистой музыкой Дунаевского я смотрел первоклассником, с телячьим восторгом. А «Цирк», хотя этот фильм вышел на экраны раньше «Волги-Волги», — уже во время войны, и не меньше десятка раз, как тогда было принято. Под звуки его «Дорожной» — Лемешев пел: «Эх, сколько мною пройдено, и всё вокруг моё!...» — нетерпеливо мчался в Москву поступать в МГУ. И вплоть до последних его замечательных песен — «Летите,

голуби» или «Школьного вальса» — всё было моё, именно так я сам всё и чувствовал в жизни. И, убеждён, не только я — многие из моих сверстников. «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер...» — или: «Каким ты был, таким остался...»

И вдруг в годы «перестройки и гласности» — позволили каждому, извините, самоуверенному придурку говорить всё, что взбредёт, — слышались грозные голоса неких пророков-обличителей (которые, как всегда, считают себя святее папы) о том, что «марши Дунаевского заглушали стоны ГУЛАГа». Услышав такое впервые, я как-то подрастерялся. Во-первых, почему это они на Дунаевского? Были и «Москва майская» братьев Покрасс, «Катюша» Матвея Блантера, бодрые марши Анатолия Новикова, вполне легкомысленные песенки Леонида Утёсова... Мало ли?.. Тогда уж всех их — анафеме! Почему только одного? ГУЛАГ действительно существовал со своими зверствами, а они в те годы радовались да веселились. «Цирк» вышел на экраны в 1936 году, «Волга-Волга» — в 1938-м, «Светлый путь» со знаменитым «Маршем энтузиастов» — в 1940-м. И даже ещё на съёмках «Весёлых ребят», прямо на киноплощадке, арестовали одного из авторов сценария этой комедии! В свете исторических фактов и впрямь всё выглядит сомнительно.

К тому же, получается, и я сам — слушал те песни и радовался, даже подпевал. Учился в школе, потом в институте, ходил на свидания, играл в футбол, дудел на трубе в духовом оркестре... А народ в это время изнывал в лагерях и страдал от тоталитаризма. Выходит, я, в лучшем случае, представитель восторженных идиотов, а ежели был нормальным, то конформист и подлец. Что же до Дунаевского, тут и сомнений нет. Допустим, я был молодым лоботрясом, а он-то взрослый человек, обязан был всё понимать! Стало быть, просто негодяй... Круто забрали пророки в нашем отечестве.

Я сразу почувствовал в этих обвинениях что-то несправедливое и неправомерное, однако ответ сформировался лишь постепенно. Так что и возражать стало уже поздно. Однако затем слышались странные утверждения с другой стороны, из лагеря защитников композитора. Которые, как и их оппоненты, сомнений (в его величии) никаких не допускали, а всех несогласных зачисляли в недоумки и тоже в негодяи. Тут уж и я — как всегда с опозданием — не стерпел и решил высказаться. Тошно стало слушать и тех, и других.

Да, выпало «великому Дуне» в сложные времена. Но сперва надо выяснить один вопросец: а какой она была, та эпоха в истории нашей страны, тридцатые-сороковые годы? Как раз в этом и не сходятся оценки у противоборствующих лагерей. Одни видят *только* репрессии, диктатуру, ГУЛАГ, голодоморы — не жизнь, а сплошная безысходная трагедия. Была трагедия? Была, и оправдывать страдания миллионов неповинных, по крайней мере, аморально. Но вот в чём заваyka: существовало в жизни страны и в быту народа и другое,

да-да! Кто-то же ведь добывал нефть и плавил сталь, конструировал танки т-34 и самолёты, сеял и убирал хлеб, пел и танцевал на сцене Большого театра и участвовал в самодеятельности, играл в футбол и шахматы, ездил летом в Сочи и Ялту, смотрел новые кинофильмы, гордился достижениями страны, которая стала третьей в мире по промышленной мощи. Неужели надо доказывать, что всё это тоже *было?!* Даже странно. Впрочем, чего же странного? Фанатики всегда видят лишь то, что им хочется, и в упор не замечают остального. Такое у них зрение, порок неизлечимый.

Приходит в голову сравнение с деревенским сенокосом. Каждый, кому доводилось помахать литовкой и поработать вилами, знает, что покос — тяжёлая работа: пот разъедает рубаху, гнус изводит, жарыща мучит. Но есть в этом крестьянском действе и нечто поэтическое — «размахнись, рука, раззудись, плечо» — свои красота и радость. Недаром и стихи, и живописные полотна... авторов которых пока ещё никому в голову не приходило обвинять в лакировке действительности и поэтизации царского строя. Как и Сурикова — за его героические картины.

А теперь я хочу высказаться о другой стороне дела — о психологии творчества. Дунаевский был одарён талантом *светлым*. Это кому что достанется от Бога: одному — лирический дар, другому — восприятие монументальное. Гойя ощущал жизнь трагически, а Боккаччо — ведь в самом деле во время чумы! — писал «Декамерон». Гениального Чехова упрекали за то, что он не берётся за роман, а Льва Толстого — за то, что в самый разгар яростных споров и борьбы по поводу отмены крепостного права — судьбоносного для страны решения! — написал повесть о петербургском хлыще, который уехал за экзотикой на Кавказ и пытался завести шуры-муры с казачкой, да она не поддалась, выбрав молодца Лукашку.

Великие творцы всегда индивидуальны, по-своему видят мир и отражают свою эпоху. Дунаевского природа наградила талантом светлым и жизнеутверждающим, обвинять его в этом просто глупо. И нечестно. Писал только оперетки, когда требовался новый «Борис Годунов»! Да потому и оперетки, что родился не Мусоргским, а Дунаевским, любвеобильным «Дуней» (как звали его близкие). И, слава Богу, «материал» для своих маршей, вальсов и лирических песен слышал в жизни, а не выдумывал, отгородившись от реалий на Парнасе.

Кстати, все кинокомедии с музыкой Дунаевского (которые, подчеркну ещё раз, пользовались в народе невероятной популярностью — то есть всех тех восторженных зрителей тоже запишем теперь в позорный список? Многовато получится...) — все их снял режиссёр Г. В. Александров. Но к нему никто претензий не предъявляет, ибо с ним ясно — комедиограф, неестественно требовать от него шекспировских страстей. Или блестящий танцмейстер Игорь Моисеев — это ведь он был постановщиком знаменитых физкультурных парадов на Красной

площади, «апофеоза показухи» в период репрессий! А что другое он, балетмейстер, мог поставить ко Дню физкультурника — сцены из жизни эзков в лагерных бушлатах, что ли?

Другое дело — поэты. Этот мог написать, а мог и не писать. Или, если уж само спелось, не печатать.

Хвалебные стихи о Сталине, оказывается, первым опубликовал не кто иной, как Борис Пастернак — в «Известиях» 1 января 1936 года. Но его борцы с ГУЛАГом не упоминают, объясняя со стыдливыми улыбочками: Борис Леонидович, дескать, был человеком наивным, его надо простить. А Булгаков — увы, было и такое — рассчитывал, что за пьесу «Батум» о молодом Сталине ему позволят опубликовать много настоящего, его тоже «можно понять». А вот Дунаевского и Исаковского — ату их, ату! «Лебедев-Стукач»... А он «Священную войну» написал: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Странное сознание у некоторых критиков, с затемнениями в отдельных участках, как случается на иных рентгеновских снимках. Если только это можно назвать критикой, а не другим отборным русским словом.

А теперь обернёмся к защитникам Дуни. Увы, логика и на этой стороне ничем не отличается. Расписывают, как советская власть его травила, каким был страдальцем от тирании: сам, дескать, едва избежал. Да, признают, написал песню о Сталине, но плохую. Да, первым из композиторов получил орден и стал депутатом. Но за очередную оперетту Сталинскую премию не дали! Вот какая ужасная травля, понимаешь ли: привык к Сталинским премиям — и вдруг очередной обнесли. Нам бы, как говорится, его заботы. О чём вы, господа!

Так что я, в общем-то, не о Дунаевском. Я о фанатиках, какими бы святыми, как им кажется, принципами они ни руководствовались. Идеи идеями, а совесть тоже иметь надо.

Впрочем, они всё равно не поймут, на то они и фанатики — люди с белыми глазами и с зомбированным сознанием. Зачем же так долго долдонил? Да так, сам с собой. Вдруг ещё кто-нибудь согласится?

Солдатский вальс

— А теперь давайте споём несколько песен военного времени! — воскликнула ведущая мероприятия воспитательница. Она была одета в нарядный, но строгий костюм, щёки в меру подрумянены. — Все вместе! — бросила в зал и обернулась к сцене, где располагалась инструментальная группа: гитарист, ударник, клавишник.

Момент был явно отрепетирован: музыканты дружно грянули «Смуглянку»!

Р-раску-у-удрявый

Клён зелёный, лист резной!..

Зал, впрочем, подхватил довольно жидко, как бы с усмешечкой. Между сценой и первыми рядами стоял столик с букетом гвоздик,

за ним, рядом с воспитательницей, сидел сухощавый серебристо-седой ветеран, его парадный пиджак пестрел множеством медалей. Он тоже вяло и немо, по-рыбьи, раскрывал рот — положение обязывало. Кое-как дотянули заводную мелодию до конца, и ветеран сказал: — Эко, весёлая у вас получается война, мне бы на такой-то. Да только нам не виноград доставался, а пули да осколки.

Воспитательница стрельнула на гостя удивлённым взглядом, но праздничного настроения уступать не хотела, тем более должность не позволяла выпускать инициативу мероприятия из собственных рук. — Тогда давайте всем залом — «День Победы»!

— Хорошая песня, — спокойно согласился ветеран. — Только она появилась через тридцать лет после войны.

— Что вы говорите? — искренне поразилась ведущая. — А я думала... С детства ведь знаю.

— Хорошая песня, хорошая. Её в тысяча девятьсот семьдесят пятом сочинили, к юбилею.

— В семьдесят пя-атом? — растерянно протянула воспитательница. — Я тогда ещё и не родилась...

— То-то и оно, для вас что сорок первый, что семьдесят пятый. Всё, что больше тыщи, — миллион.

Воспитательнице самой стало интересно.

— Хорошо, Иван Савельевич, а какие вы пели в окопах?

— В окопах? На передовой-то, правду сказать, не до того было. А вот попадёшь в госпиталь — там у нас всякие песенки ходили. Мне одна запомнилась, про двух товарищей.

— Просим, просим! — по-девичьи захлопала в ладошки ведущая, обращиваясь к слушателям.

В актовом зале профлиция собрали несколько учебных групп парней и девиц. Девчата захлопали, какой-то обормот дурным голосом бухнул: — Бра-во! Бра-во!

Послышалось хихиканье. Иван Савельевич остро глянул в зал и вдруг по-молодому вспрыгнул на приступочек сцены, слегка одёрнул пиджак и запел...

Голос у него, прямо сказать, был не концертный, будничным голосок. И запел он, скорее всего, от тоски: думаете, мол, я уж совсем? А вот хрена вам — можем мы ещё, могом! Пел «всухую», без сопровождения: музыканты явно растерялись — отродясь такого мотива не слышали. А отчаянный вояка вёл своё, невзирая ни на что. О том, как жили два товарища на свете, веселее не было дружков, оба молодые, оба Пети, оба из отряда моряков. Мелодия у исполнителя несколько плыла, напоминая то романс Шульженко, а то как бы и «Гоп со смыком». Музыкантам было — не позавидуешь, попробуй-ка подхвати. Но солист упорно тянул свой рассказ, как оба Пети были ранены и в госпитале за ними ухаживала девушка по имени Людмила, отдыха не знавшая сестра. Естественно, оба в неё влюбились...

Вопреки всему Иван Савельевич довёл подзатянувшуюся балладу до конца.

— У нас таких много было, — пояснил солист. — А вы хоть «Солдатский вальс» знаете? Его Утёсов исполнял и по радио, и на пластинках.

И он — вот же раздухарился отчаянный вояка, видимо, задело, что его не понимают, — снова начал!

Давно я не видел подружку,
Дорогу к знакомым местам.
Налей же в солдатскую кружку
Свои боевые сто грамм...

Упоминание про «сто грамм» каким-то удивительным образом долетело сквозь общий шум до слуха некоторых сидящих в зале и вызвало одобрителльные возгласы. Тут и остальные начали прислушиваться: что там всё-таки происходит на сцене? Во даёт дед! Наконец и музыканты, кое-как потыркавшись в струны и клавиши, тоже начали схватывать ритм. Гитарист приблизился к певцу вплотную и, расплываясь во всю молодецкую рожу, стал с удовольствием подбрякивать, ловя аккорды длинными пальцами левой руки. Следом подладились и остальные. На этот раз солист и оркестранты кончили номер даже с некоторой лихостью. Зал, что говорится, разразился бурными аплодисментами.

А старый солдат, войдя в роль — он, видимо, по натуре был артистичен, — тут же на сцене присел на уголок какой-то табуретки, извлёк из кармана кисет с махрой, сложенную в книжечку газету и принялся демонстративно свёртывать сигарку. Сидел он бочком, одно колено повыше другого, и так неторопливо, со смаком, всё проделывал, что явно напоминал солдата-заводилу Василия Тёркина с популярной картины. Натрусил табачку, закатал, послюнил, чиркнул спичкой и пустил струйку синего пряного махорочного дыма. Публика была покорена. Только массовичка взирала на происходившее несколько ошарашенно. А бывалый воин предложил стоявшему рядом гитаристу: — Закуривай, землячок.

Тот осклабился:

— Не, батя, я только с фильтром признаю!

Я попал на эту встречу случайно. Отмечали, помнится, юбилей Победы. Сначала к разноликой юной аудитории обратилась воспитательница, ответственная за мероприятие. Она говорила со служебным вдохновением, но слушали её не очень. Когда слово предоставили гостю-ветерану, на некоторое время шумок в зале поутих, но постепенно стал расходиться снова. Вот тогда ведущая и воскликнула, радостно обращаясь к залу:

— А теперь давайте все вместе споём несколько военных песен!

И оркестр с ходу выдал заводной проигрыш «Смуглянки».

Странные вещи иногда происходят в жизни. Взять эту самую залихватскую «Смуглянку» — спору нет, мелодия композитора Анатолия

Новикова великолепная. Но слова-то совершенно дурацкие, о каких-то мифических молдавских партизанах. Какие партизаны? В Молдавии, считай, и немцев не было, её оккупировали румыны, которые считали эти территории своими и говорили с местным братским населением на одном языке. Какие партизаны?.. Гм, если только действительно создавали отряды по сбору винограда, чтоб добро не пропадало. К боевым действиям на фронтах Великой Отечественной этот разудалый шлягер не имеет абсолютно никакого отношения! Однако за десятилетия бойкая «Смуглянка» вытеснила собой и загнала в небытие много действительно военных песен, которые хоть как-то отражали ТЕ настроения людей, их подлинные переживания.

Свою не совсем честную роль сыграл здесь и фильм «В бой идут одни «старики» (1975 год) замечательного актёра и режиссёра Леонида Быкова. Он один из тех, кто старался сохранить бытовую достоверность в изображении войны, и это ему удавалось лучше многих. А вот поди ж ты, не устоял, польстился и вывел «Смуглянку» главной героиней военной картины.

Кстати, в основу фильма была положена ещё одна фальшь. Дело в том, что самодеятельность в одном авиационном полку действительно существовала, об этом рассказывали его ветераны. Но то был полк *московской* ПВО, и располагался он в самой столице, имел в городе свой клуб и всё такое прочее. А так как в фильме это смотрелось бы «неубедительно», да ещё надо было ради любовной линии — куда ж без неё в кино? — поместить рядом эскадрилью женскую, то авторы перенесли действие в полевые условия: «поющая» устраивает свои концерты чуть ли не в блиндажах. Каким нужно быть наивным, чтобы в такое поверить! Получилось, как будто оперные пейзажи из «Евгения Онегина», исполняя хором: «Болят мои рученьки от работухи», — сошли со сцены Большого театра и всерьёз делают вид, что они и есть настоящая лапотная деревня. Смешно ведь. Но фильм Быкова сделан талантливо, сегодняшние зрители ему верят — вот это самое обидное. Хотя таков закон: со временем образы искусства заменяют собой в представлениях людей историческую реальность.

Я до того осерчал на эту «Смуглянку», что не поленился и, не доверяя собственной памяти, специально перелистал несколько песенников издания военных лет, в том числе выпущенный военным издательством в 1947 году. Нет в них знаменитой «Смуглянки», нет! Разумеется, много других — со словами о Сталине, большинство бодрых, героических. Включили составители из политуправления и лирические песни, общепризнанные. Между прочим, сам с удивлением узнал, что такая популярная, как «Эх, дороги...» — того же Анатолия Новикова, — была написана лишь в 1946 году как воспоминание о недавней войне. А «Смуглянку» сами пережившие те события составители, чувствуя несозвучие настроений, в сборник так и не поставили.

Тут надо уточнить. Песни военной поры делились на две группы: официальные, которые исполнялись по радио и в концертах, и народные — фольклор, ходивший сам по себе. Среди последних большинство, как и заведено, было душещипательных, жалостных («А молодого лейтенанта несут с разбитой головой...»), с текстами откровенно графоманскими, а мелодиями — часто переименованными из старых популярных. По радио оперный баритон патетически выводил про то, как «летел на подвиг капитан Гастелло», бодро: «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт», — сурово: «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» А в народе гуляла сентиментальная — требовалось, очень хотелось душевного! — про двух Петь. С подобными разлагающими боевой дух песенками политорганы боролись всеми своими силами. Гневный и бдительный Илья Эренбург наотмашь разнёс знаменитую ныне «Землянку», а прекрасную светлую мелодию Соловьёва-Седого «Вечер на рейде» целый год запрещали. В самом деле, с чего бы это вдруг грустить на фронте и вспоминать, что «до смерти четыре шага»? Было, было такое.

А народ всё-таки пел и своё — простенькое, наивное, зато для души. И — тогда ещё массово — частушки. Я сам слышал, в глухом лесном бараке «страдали» после работы мобилизованные на лесозаготовки колхозные девчата:

А у меня милёнка нету, а кто в этом виноват?
А виновата Красна Армия, ещё военкомат...
Лейтенанта я любила, а майор мне нравится,
У майора — тра-ля-ля — в землю упирается!

Разная была война в народе и в казённом искусстве; в казённом — сплошь победоносная, бодрая и бравая, даже слегка с приплясом. И песни того времени эти два восприятия отразили.

Наталья Ахпашева

* * *

Высоко за стеной
 потемнела таёжная крона.
 Вдруг повеяло скорой весной
 от железобетона.
 Доживём как-нибудь.
 Просветляются серые лица.
 Наслаждаясь, вздохнуть
 и воды родниковой напитокся...
 Исподлобья тоска
 устремляется за облаками.
 И плывут облака —
 и, свободные, гаснут над нами.

* * *

До самой последней разлуки
 почти пересчитаны дни.
 Лежат безнадежные руки
 поверх голубой простыни.
 В палате прохладно и сыро.
 В разводах пустая стена.
 Бутылочка из-под кефира
 на тумбочке возле окна.
 Лекарствами пахнет с порога
 и хлоркою — от половиц.
 Как трогательна и убога
 стерильность районных больниц!
 А дни всё короче, короче.
 И думаешь: может, пора?
 Но страшно. И ласкова очень
 дежурная в ночь медсестра...

ПТИЦА-СЛАВА

Спохватился, а жизнь на исходе —
у последнего края стою.
А давно ли носило в народе
развесёлую славу мою?!
И подумаешь, годы считая:
мол, теперь-то не всё ли равно?
Слава — птица залётная, злая,
не летит на простое пшено.
Я её полюбил как родную
за размах позолоченных крыл,
приманил на казну дорогую,
из серебряной плошки поил.
Сколько было с тех пор позабыто
по дорогам в иные миры!
Сколько выпито! Сколько пропито!
Камнем кануло в тартарары!
Спохватился у самого края
и стою, как последний дурак...
Что ж теперь ты, моя удалая,
раскудахталась яростно так?!

* * *

По имени вслух не назван,
и воспоминание зыбко,
он мне ничем не обязан —
случайной была улыбка,
застигнутая мгновеньем,
когда совсем беззащитна.
Как в солнечное сплетенье
ударом, дыханье сбито...
Оглядываясь, понимаю,
как необратимо было
и что уже не узнаю,
как я его бы любила.

НЕДРЁМАННОЕ ОКО

Разыгрались над миром ветра.
Утром смотрит родная природа —
потолок прохудился. Дыра
в самом центре небесного свода.
И сияет из этой дыры
одинокое огромное око.
То сморгнёт на чужие миры,
то опять распахнётся широко.

Из-под шапок всклубились чубы.
«Что сие?» — удивились народы.
Не имеет ли место здесь быть
ущемление прав и свободы?
Кто позволил? И чей это глаз?
Или опыт великих свершений
этак перенимают у нас
существа из иных измерений?

Некто странный, небритый и злой
со вчерашнего, вышел к трибуне.
Микрофон — цоп нетвёрдой рукой
и вскричал, убеждая всех втуне,
что, мол, близится Армагеддон,
будет награждена добродетель —
зрит на землю последних времён
неподкупный и грозный свидетель!

Ведь куда ни пойдёшь по делам,
всё таращится и примечает,
так и шарит по тёмным углам
и зрачком любопытным вращает.
И на всякий случайный итог,
против всяких привычек и правил,
кто-то вдруг возвратил старый долг,
с днём рождения тещу поздравил.

Стали реже мужья изменять
жёнам, чем на начало квартала.
Стали классиков больше читать.
Резко криминогенность упала.
Поумнел безнадёжный дурак —
враг прогресса и рацпредложений.
Потеплел неожиданно так
климат международных сношений.

Горький пьяница пьёт лимонад,
пьёт и плачет: «Я с милой расстался!»
А один областной депутат
от поста своего отказался.
Всё-то зоркому сверху видать.
Не обвесишь теперь, не обманешь.
И такая пошла благодать:
сплюнешь — вздрогнешь
и на небо глянешь.

Разве туча какая найдёт...
Жил же раньше, греха не боялся.
Выйдешь поутру на огород —
никуда этот глаз не девался?
Как повесили, так и висит,
на окрестности грустно взирает.
По служебному рвению бдит
или просто со скуки моргает?

Долго, коротко — время прошло.
Глядь однажды — на небе заплата.
Всё само по себе заросло?
Или козни того депутата?
Иль забили с другой стороны
существа из иных измерений,
изучившие до глубины
опыт наших великих свершений?

Ёлки-палки в садах зацвели.
Опечалилось синее небо
над бескрайним простором земли.
Глаз всевидящий был или не был?
Напряглись многомудрые лбы.
Зачесались крутые затылки.
Затемнились покровы судьбы.
Зазвенели пустые бутылки.

В чистом поле народы стоят,
излучая в пространство тревогу.
И низы ничего не хотят,
а верхи ничего и не могут.
Не явился свидетель на суд.
Отменили пиры и парады.
И доселе — не верят, но ждут
в пустоту устремлённые взгляды.

* * *

Мыши бумагой шуршат в столе.
Слепнет окна слюда.
Раз, наверное, в двести лет
кто-то приходит сюда.
Вместе с эхом гранитных плит
взбирается на крыльцо.
Долго связкой ключей гремит,
отстёгивая кольцо.
Входит. Пальто отправляет в шкаф.
Потом над рабочим столом,
чёрную линзу глазницей зажав,
склоняется тусклым лицом.
Невнятно бормочет в седые усы,
радикулит кляня,
и, как механические часы,
снова заводит меня.
И начинают звёзды кружить,
петь — пружины орбит.
А если ухо к груди приложить,
то сердце в груди стучит...

* * *

Ведать цену счастья и несчастья —
привыкать к простому бытию.
Спрячусь от вчерашнего ненастья
в нежность молчаливую твою.
Что слова? Рука в руке — и славно.
Дышит вечность с четырёх сторон.
Тонет в невесомости туманной
дом наш на окраине времён.
Прокатались годы и невзгоды
через наш бесхитростный уют.
И отбушевали непогоды.
И не здесь нас терпеливо ждуг...
Гаснут сожаленья и желанья.
Жжёт виски прохладой седина.
За какие в прошлом испытанья —
кто бы знал — в награду нам дана
двух существований соразмерность,
чтоб сияла на исходе дня
мне — твоя безропотная верность
и тебе — доверчивость моя?

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

Накид. Лицевая. Накид.
Поехал он левой дорогой,
где конь его будет убит,
вдруг видит — в избушке убогой
Яга Костяная Нога:

«От дела, царевич, лытаешь?»

Опять разыгралась пурга...

Ну что же ты не засыпаешь?

Куда ж твой отец запропал?..

Погода сегодня шальная.

И дальше Иван поскакал...

Изнаночная. Лицевая.

Татьяна Веснина

* * *

Живу без потрясений и обманов,
 Без бурь, без катаклизмов и тревог,
 Без всяких там таинственных туманов,
 Без дальних стран, без ливневых дорог.

Иду спокойно утром на работу,
 Смотрю, бывает, вечером кино.
 И не зовёт, не манит «где-то что-то»,
 И всё вокруг мне вроде всё равно.

Но как-то вдруг однажды рано-рано
 Проснусь я неизвестно отчего.
 Взгляну в окно: там синие туманы
 Плывут... плывут... из детства моего.

И позовут, поманят и закружат
 Косые ливни, встречи, поезда.
 И станет мир огромный так мне нужен,
 Как нужен раньше не был никогда.

ЦАРЕВНА

Прозрачность невесомая дымков.
 На крышах — будто сливок взбитых пена.
 Среди сугробов, как меж облаков,
 Не иначе — сибирская царевна.

Она идёт, изящна и легка.
 Вокруг лица — кудряшки вязью кружев...

Царевна отпахала у станка.
 Теперь идёт домой. Готовить ужин.

НА КАРТОФЕЛЬНУЮ ТЕМУ

А картошка о ведёрочко — дзынь.
А картошка о ведёрочко — бряк.
Много лет уже, и вёсен, и зим
Ищет клад на поле Ваня-дурак.

А сосед его купил «мерседес»,
Хоть давно уже совсем не бандит.
А Иван — копать на поле чудес,
И душа от нетерпенья зудит...

В огород, мол, свой — не на Колыму.
И картошкой по ведёрочку — бряк.
«Мерседес» мне, говорит, ни к чему...
Неужели и взаправду дурак?..

ГЕРБАРИЙ

Сердце своё засушу,
как листок для гербария,
и — на гвоздик,
чтоб никому не мешалось.
А потом
самый дальний билет попрошу:
пусть одно повисит и подумает малость.

Сердце выну: прекрасно!
Внутри пустота.
Ничего не болит, не щекочет,
не скачет.
Я и та,
и уже вроде вовсе не та.
Вот какая приятность, вот какая удача!

Засушу своё сердце
и наклею в альбом.
Всё пристойно вполне, благородно и мило.
Ненароком друзей приведу полный дом:
«Вот гербарий из сердца...
говорят, что любило».

ПРЯТКИ

Она недавно выбросила кошку
И по двору теперь идёт с оглядкой:
Ведь кошке кажется, что это понарошку
И что хозяйка с ней играет в прятки.

Стремглав несётся, издали завидя...
(Хозяйка тихо прячется за кустик.)
А киска на неё пока что не в обиде:
Хозяйка поиграет и запустит.

Придержит двери, скажет: «Ну, чего ты?..» —
И будет всё как прежде — верит киса...
И будет ждать, когда она придёт с работы,
Колбаски даст... Посмотрят телевизор...

«Хозяйка снова спряталась, похоже...
Ну что мы — этих прятков не видали?!
Ещё один разок сегодня (ну и что же?)
Переночую (ф-фу!..) в сыром подвале...»

НЕВЫДУМАННОЕ

Садит мать для него цветы:
Розы, лилии, незабудки...
Он сидит посреди красоты
И сидеть так готов хоть сутки.

Мать отправит его поспать.
Иль пошлёт: «Принеси водицы...»
Он воды принесёт и опять
Тихо возле цветов садится...

Любит он этот дивный сад,
Улыбается, шепчет что-то...
Ровно сорок три года назад
Врач назвал его «идиотом»...

...Мать несла из роддома «кулёк»:
«Ничего, ничего, мой милый...»
Той весной свой первый цветок
Она для него посадила...

ПО НАРОДНЫМ МОТИВАМ

В белом-белом поле
чёрная дорога.

В чёрном-чёрном небе
белая луна.

Не прожить мне, мама,
больше недотрогой,

Я сегодня выпью
крепкого вина.

Я сегодня буду
нежной и покорной.

И в улыбке гордой
губы не скривлю.

Я шепну сегодня,
может быть, притворно,

Три желанных слова:
я тебя люблю.

В чёрном-чёрном небе
звёзды заискрятся...

В чистом-чистом поле
вскинется метель...

И не будет больше
сил сопротивляться —

Упаду, хмельная,
в белую постель.

...Не поманит больше
чёрная дорога.

Улыбнётся грустно
белая луна...

Я жила так долго
гордой недотрогой,

А сегодня выпью
крепкого вина.

* * *

Малыш какой-то выстрелил в меня.
Сухой щелчок раздался в тишине.
И отчего-то вдруг средь бела дня
И жутко, и тоскливо стало мне.

Так беспощадно-холодно блеснул
В его ручонке детский пистолет...
А он ведь знать не знает про войну,
Которой миновало столько лет...

Взглянул, за мамой вслед засеменив...
Нет-нет, малыш, в том не твоя вина,
Что, вдруг ладонью сердце заслонив,
Я поняла: не кончилась война.

НЕ МОГУ

Ну не могу я взять тебя... не могу!
Муж у меня не любит собак...
И лежать тебе, милая, вот здесь на снегу.
Иначе — никак.

Он не пустит, не пустит двоих нас в дом!
Такой вот он человек.
И куда мы с тобою тогда пойдём?
Опять в этот снег?

И как в себе это потом носить
И делать вид: ничего, мол, пустяк?..
Господи, Господи, дай мне сил:
Мой муж — не любит собак...

* * *

Не хочу помнить то, что было,
просто вот — не хочу.
Не хочу помнить, как любила.
Как ходила к врачу.

— Мальчик!

«Господи, дай мне силы!»
Боль от скальпеля,
ком в груди...

Не хочу, память, — как любила.
Уходи.

* * *

Разорвать порочный круг,
вырваться из плена...
надо сделать это вдруг,
сделать непременно.
так вот прямо и вперёд,
и решиться сразу.
кто-то вслед пускай орёт:
— ты куда, зараза?
кто-то ахнет,
сквозь испуг
улыбнётся криво...
разорвать порочный круг
и вздохнуть счастливо...

* * *

Глаза — два окна.
Захлопни ресницы-ставни,
чтоб в душу случайно
не роняли слова-камни.
Глаза — две свечи.
Где спички? Зажги скорее.
Смотри и молчи —
сердце своё согрею.
Глаза — две двери.
Два долгих пути
в неизвестность.
Зайди... посмотри...
Там интересно...

Николай Гайдук

ЦВЕТЁТ СИБИРЬ

Взлетают лебеди, легки,
 Оставив зимние печали!
 Жарки опять цветут, жарки —
 Цветы Сибири величавой!

Я так люблю их жаркий дух,
 Я так люблю их образ жаркий!
 Как будто сказочный петух
 Ладонь ласкает гребнем ярким!

Как будто золото земли,
 Все самородки друг за другом —
 На тонких ножках вдруг пошли
 Горами, берегом и лугом...

Стою, смотрю во все глаза
 И сердце грею над жарками.
 Цветёт Сибирь! Да кто сказал,
 Что тут гремели кандалами?

Благословенные края,
 Где вольный ветер не затихнет!
 Жарки, жарки — душа моя
 Вот так же после смерти вспыхнет!

Но это как-нибудь потом —
 Я поброжу ещё по свету...
 Цветёт Сибирь, горит огнём,
 И дыма нет, и горя нету!

* * *

Берега берутся за руки —
Ледостав звенит во мгле.
Ты всё утро смотришь за реку —
Избы топятся в селе.

Навигация закончилась,
И причал уже в снегу.
Под ветрами ивы скорчились —
Тут, на левом берегу.

А на правом, на возвышенном,
Заждалась твоя краса —
Жемчугами платье вышито,
В лентах чёрная коса.

Там, на правом, — дело правое:
Выпал снег — бери баян!
Где-то пляшет свадьба бравая —
Эхо катится в туман...

Ты прищурил очи синие
И продрогшие до дна:
Неужели там красивая
Ждать устала у окна?

Берега берутся за руки —
Лёд звенит во все звонки...
Ты глядишь с тоскою за реку —
Гаснут в избах огоньки.

СЛАВЯНСКИЕ НАПЕВЫ

1. Печальные славянские глаза
Когда-то были радостно горящие!
Россия потеряла голоса —
Остались подголоски немудрящие!
И тем, кто жизнь поставил на мольберт,
Кто околдован музыкой и словом,—
Трудиться надо в поте и мольбе,
Чтобы сказать о чём-то светлом, новом.
Загадку знали лучшие умы,
Погибшие во льдах или в «бутылках».
Разгадку никогда не сможем мы
Найти в своих талантливых бутылках.
2. Двадцатый век, он Русь перетряхнул —
Упала в грязь её краса и сказка!
В полях давно затих тревожный гул,
Но есть в душе тревога и опаска.
Теперь у нас почти любая тварь
Глядит насторожённо или хитро.
Кровавой саблей вырублен словарь,
И пулей обескровлена палитра!
И солнце наше ходит с хромотой,
И ветер бьёт крылом своим помятым,
И никогда мы полною душой
Не ощутим ни Родину, ни святость!
Сбылась мечта! О русский человек,
Ты был широк — тебя мечтали сузить...
Великое нашествие калек
Теперь несёт нам в души тёмный ужас!
3. Пускай горит славянская звезда
И грустные потёмки озаряет!
Немного звёзд, но это не беда —
Хорошего помногу не бывает.
И тем, кому явился наш язык,
Кому подвластно море буйных красок,—
Дай Бог удачи, искры и слезы...
Сказать о вечном — значит, о прекрасном!
Пусть от восторга вздрогнет Божий мир
На перепутьях нового столетья!
Пускай шумит, цветёт славянский пир —
Среди всего земного разноцветья!..

ПОКЛОН ПОЛОТЕНЦУ

Родился ты — и приняли тебя
На русское цветное полотенце!
Женился ты, ликуя и любя,
И вновь оно трепещет возле сердца.

Пришла пора — ты бросил дом в лесу,
Но где бы ни был ты с сумой бродячей,
Ты полотенце вновь прижмёшь к лицу,
Как будто бы целуя или плача!..

Оно пойдёт повсюду за тобой,
Волшебное, родное полотенце,
Расписанное ласковой рукой,
Дарованное чистым русским сердцем.

Не только в том углу, где мыть лицо,
Но даже там, где душу омывают, —
Возле иконы с тихим огоньцом
Узоры с полотенца удивляют.

Ты позабыл язык травы, цветов,
Тебе узорность эта непонятна,
А пращур полотенцем был готов
На жарком солнце вытереть все пятна!

Среди высоких этих берегов,
Среди полей, дождей, страды и снега —
Расшитое письмом седых веков,
Оно имеет силу оберега!

Пусть тебя минуют хворь и спесь,
Пусть с тебя сползёт всё наносное —
Душа чиста, покуда в мире есть
Вот это полотенце мировое!

Всю жизнь оно с тобой везде идёт,
Да и потом, над горестною кручей, —
Тесовый гроб в глубины уплывёт
На полотенцах длинных и горячих.

И в этот час, наполненный тоской,
Над миром вспыхнет новый крик младенца!
И жизнь его — с весёлою слезой —
На расписное примет полотенце!

Оксана Горошкина

* * *

И вот я, маленькая такая,
 В неутолимом моём бреду,
 Не жду погоды, весны, трамвая,
 Уже вообще ничего не жду.

Пунктиром смазанным, смутной точкой
 Лечу, не думая ни о чём,
 Чтоб бестолковую жизнь окончить —
 Пятном на встреченном лобовом,

Засохшим панцирем в паутине,
 Кругами мелкими на воде...
 Любая мошка однажды сгинет,
 Никто не вспомнит, когда и где.

И вот, когда нестерпимо тошно
 Себя подбадривать, тормошить,
 Ты укрываешь меня ладошкой
 И говоришь мне: «Дыши. Дыши».

И я дышу, до конца не веря
 В покоя временный паритет.
 Ничто не светит в конце тоннеля —
 Во мне рождается этот свет.

Он разгорается ярче, чище,
 Смелее, яростнее. И вот,
 Когда никто ничего не ищет,
 Когда никто никого не ждёт,

Когда на целой небесной плошке
 И жалкой звёздочки не найти...

Ты поднимаешь меня в ладошке
 И говоришь мне: «Лети! Лети!»

* * *

Август пахнет мятой и базиликом,
Восполняя силы мои на треть.
В нём — таком бесхитростном, безъязыком —
Я могла б, состарившись, умереть,

Затеряться в ветках усталым ветром,
Затаиться в травах сухим репьем...
Но сижу у самой у кромки лета,
Нарушая галечный окоём,

Ожидая финиша всех историй —
Места, где сюжетная рвётся нить,
Где герой выныривает из боли,
И мне больше не о чем говорить.

* * *

Луна плывёт медузой за бортом.
Ночь ловит нас ленивым влажным ртом —
Но мы с тобою падаем на спины
Огромных неподатливых китов.

Так в каждом пробуждается любовь,
И нас уносит по волнам на льдины.

Попробуй научиться у кита
Доверию, а после — испытай
Желание, которое свободно,
Как плаванье. Прими его легко —
Пусть пенится морское молоко,
Пускай оно урчит, как зверь голодный.

Отчаянье — привычная цена
Для тех, кому отсюда не видна
У горизонта ледяная глыба.

Но если глыбы не было и нет?
А только есть луны спокойный свет
И звёзды, будто маленькие рыбы...

* * *

Если бы мне сейчас быть бестолковой рыбой
Там, где придонный ил воду целует всласть,
Где равнозначен день ночи, и не могли бы
Пение птиц — звучать, солнечный свет — упасть...

Если бы мне сейчас в многометровой толще
Чувствовать, как близка, как ощутима тьма,
Что никаких штормов не существует больше
И как легко покой может свести с ума...

Мне же дано одно — быть бестолковой бабой,
Робко морской песок трогать босой стопой,
Долго на берегу чей-нибудь ждать корабль,
Чувствуя привкус слов — истинный, солевой,

И, наконец, понять, глядя, как с ветром спорит
Чайка и как прибой лижет мои следы,
Что, отрицая шторм, я убиваю море,
Суть его низводя до лужи простой воды.

* * *

Снег падает.
Выходит человек
из темноты сгустившейся подъездной.
Он в темноте —
беспомощен, нелеп.
Но здесь его
не накрывает бездной,
и человеку дышится легко
и сладостно,
как будто бы впервые —
снег падает.
Ныряют в молоко
поступки, постулаты, позывные...
У тротуара мнутся фонари.
Их долгий свет —
как Божий дар на взводе.
Не нарушай гармонию.
Смотри:
снег падает,
а человек — выходит.

* * *

Это самое чувство, когда ты как будто жив:
Поливаешь цветы, чистишь зубы, печёшь коржи,—
А внутри разгорается тысяча алых звёзд:
Семена сладкой боли, проснувшись, стремятся в рост.
Это самое чувство, когда под ногой нет дна,
И: «Приди ко мне»,— шепчет чарующе глубина.
Словно кто-то незримый легонько тебя прижал
И так нежно по шее ведёт остриём ножа.
Это чувство, которому больше не рад и сам —
Вот бы взять его крепко и вырвать ко всем чертям.

Это самое чувство: «Ты просто живи, живи!
Никому не скажу я об этой моей любви».

* * *

Рождённый быть никем не станет всем.
Он невесом, не начат и неточен,
Как гулкое пространство междустрочья
В бескомпромиссной толкотне лексем.

В нём нет беды и, в общем, нет вины,
А лишь одна бессвойственность нагая.
Но если звёзд почти не зажигают,
Возможно, эти звёзды не нужны?

И смысл весь в том, чтоб просто так стоять,
Не совершая ни броска, ни шага,
Прозрачным, как вощёная бумага,
Пустым, как нераскрытая тетрадь.

* * *

Без лишней драмы и без претензий
Пиши о том, что тебя не ранит:
Вот жук уселся в букет гортензий,
Вот сад цветущий покоем залит.

А душной ночью в безлунной гуще,
Забившись в угол, обняв колени,
Тверди бездумно: вот жук цветущий,
Вот сад уселся в букет сирени.

* * *

Чёрен цифир за прозрачной стеной окна.
Поезд легонько качается — стук да стук.
Столь неуёмная сила заключена
В чутких объятиях маминых нежных рук —

Мир замирает. И не убоишься зла,
Будто и зла никакого в помине нет.
Месяц дрейфует чайнкой в плену стекла.
В банку купе наливается тёплый свет.

Сколько хватает глазу — простор, простор.
Поезд легонько качается — цок да цок.
Пульсу подобный мистический наговор
Мерными точками падает между строк.

Сколько хватает сердцу — покой, покой.
Неосторожно разлитый на сотни миль,
Гладит железный бок золотой волной,
Между собой перешёптываясь, ковыль.

* * *

Я замужем — за мужем и детьми,
За трещиной на потолке квартиры.
Я замужем за этим шумным миром
И за его бесцельными людьми.

Я замужем за речкою во льдах,
За стопкой старых книг на дальней полке,
За чудачком в забавной треуголке,
Живущим между строк в моих стихах.

Я замужем — с улыбкой на устах,
Пусть иногда становится так плохо,
Как будто я жена царя Гороха
И вот сейчас останусь на бобах.

И хоть вокруг твердят который год,
Что брака институт сейчас в опале, —
Я замужем. И, что б там ни сказали,
Я не подам, хоть тресни, на развод.

НИКТО НЕ УМЕР

Давай представим в порядке фарса,
В порядке бреда, бадьи с лапшой:
Случилось что-то — и в нашей сказке
Никто не умер. Всё хорошо.

Жиреют принцы: казна, корона,
Охота, девки, пиры, кровать...
Зачем пытаться убить дракона?
Ведь можно просто не умирать!

В высоком замке сидит принцесса:
Томится, плачет — совсем одна.
Никем, кто вышел с конём из леса,
Она, конечно, не спасена,

И дни проходят без толку, то бишь,
Подобно водке сквозь решето,
Ведь в нашей сказке (ну, ты же помнишь!)
Никто не умер. Совсем никто.

В расход пуская сарай, фуры,
Дома, деревья — да всё подряд! —
Летает в небе дракон понурый
(Совсем не мёртвый летает, гад).

Пытать удачу к большой дороге
Выходит каждый — и стар, и мал, —
Ведь смерти нету, и можно много
Тому, кто в жизни не умирал.

Как будто резко врубился тумблер,
И счёт безумный уже пошёл.
Но в нашей сказке никто не умер,
И значит, в целом — всё хорошо.

Алексей Козловский

* * *

Ещё не разобрали по домам
 Невест, ещё свекрови — просто мамы,
 И не скребут зубцы кардиограмм
 Сердца отцов надсадно и упрямо.
 Ещё до перестройки далеко,
 Как до Луны пешком без передышки.
 И песенка звучит про Сулико
 Из каждой точки радио и вышки.
 Пошагово: ещё, ещё, ещё...—
 Мы постигаем дальние пространства,
 Да вряд ли хоть один из нас крещён
 Иль ведает о магии брейк-данса.
 Мы парни тех окраин заводских,
 Вечерних школ, одежд простого края,
 Романтики от сих высот до сих,
 Убитые безвременьем застоя.
 Мы роботы, мы пасынки страны,
 Мы винтики тяжёлого уклада,
 Провинции бездушной пацаны,
 Как пленники глухого снегопада.
 Мы вроде и свободны, и легки,
 Что даже крыльев нам теперь не надо.
 Но нам не оторваться от земли,
 Мы — пленники глухого снегопада.

* * *

Умом повредила́сь природа,
Бесхитро́стная душа:
Ни выкиды́ша, ни припло́да.
Но тем ли она хоро́ша,
Что то́лько рожа́ет, и ня́нчит,
И да́рит без ме́ры пло́ды,
Не мя́млит, не но́ет, не кля́нчит
Ка́кой-то о́собой судьбы,
О́собой, зави́дной плани́ды?
Не трога́йте, ра́ди Христа,
Безду́шные вы инва́лиды,
Ко́ль нет на вас, си́рых, креста,
Её́ необъя́тных уго́дий,
Ни не́др потаё́нных её́,
Зато́нов её́ мелководье́,
Дере́вьев туго́е смо́льё,
Во́ды шелковистую́ мя́коть,
Багу́льника ро́зовый цвет,
И да́же о́сеннюю сля́коть
Оста́вьте как не́кий се́крет.

Кони

За окном, за палисадом
Ходят кони, ходят рядом.
Присмотреться — как лекала:
Круп налево, круп направо,
Мягкой линией обводки,
Ходят кони, словно лодки,
Холки слева, холки справа,
Далеко до ледостава.
Кони, словно облака,
Отражаются в воде,
Кони всюду и нигде.
Озираюсь — были рядом.
За окном, за палисадом
Уплывают облака,
Льдом подёрнулась река.

* * *

Ты чистопородная женщина,
Без примесей лишних кровей,
Порядком изношенных сменщица
Их тел и бесцветных кудрей.
В крови, ещё предками скроенной,
Разжиженный гемоглобин —
Заслон от всезнающих спойлеров,
Как в драке «один на один»...
Я тоже — простят ли нас женщины? —
Мужчина высоких кровей.
Обманут — и тут же повенчанный
С вульгарною дамой червей.
Мне выхода нет из узилища,
Где узы — не худшее зло,
Семейных привычек хранилище...
И всё-таки нам повезло.
Под вечер, едва распогодится,
Мы словно выходим в апрель,
Туда, где весна хороводится
И где всё дружнее капель.
Где, вдрызг от дурмана сердечного —
Без всяких снадобий и вин,
Дитя поколенья беспечного,
Гуляет прохожий один.

ВОЛОНТЁРКА

Она одета чуть иначе,
Одета не по моде, чужд.
«Подайте на приют собачий».
Не все, но всё же подают.
Её тут, на углу почтамта,
Привычно видеть всяким днём.
Стоит, прозрачная, как лампа,
И даже светится притом
Огнём души своей незрячей
(Нет для неё плохих людей).
«Подайте на приют собачий...»
Да гонят женщину взашей.
Ушла, площадка опустела,
Но через день придёт опять.
Знать, до конца не отогрела
Тех, кого должно согревать.

* * *

Нет нужды вспоминать о школе,
Сколько отдано было сил
Ей и детям. Виновен, что ли?
Да и так ли я их учил?

Всё реформы, бои, сраженья,
Разлетались эпох куски,
От предательств и соглашений
Разъезжались материки.

Школа — сказано для примера,
Что не каждого довела
Вот хотя бы до инженера:
Видно, карта не так легла.

Принимаю укор на лицах
Как вопрос: «Хочешь жить в раю?» —
Когда бывшей я ученице
Кратче милостыню сую.

Отчего за её поклоны
Так неловко сегодня мне?
Ведь давно и вполне законно
Некто нас уравниал вполне.

Дарья Лысенко

* * *

Конечная цель Вселенной — большой распад:
 На атомы, одиночества, города.
 .. Дорога опасна. Сама по себе. Как факт.
 И нет ей конца, и края ей не видать.

Не ждут впереди желанные тишь и свет —
 Не ждут впереди известные нам места...
 Слегка устарел привычный тебе концепт:
 Мол, цели достиг — и главный момент настал.

Дорога бесцельна. Дорога уходит вдаль,
 Её не догнать, не вытерпеть, не постичь.
 По правую руку, сияя, летит Журавль,
 И бьёт по глазам слепящий кометный бич,

Сверхновые окна сверкают по сторонам,
 И сонм метеоров сжимает своё кольцо.
 Дорога опасна. Сама по себе. Но нам
 Не так уж и страшно смотреться в её лицо.

Ну да, Млечный Путь для смертных тяжеловат,
 Зато невозможно, невысказанно красив.

Конечная цель Вселенной —
 большой распад.

Держи мою руку,
 покуда хватает сил.

* * *

А. Р.

Давай расти.
В сомнительных местах —
На крышах, через шифер с черепицей.
Везде, где говорили, что случиться
Такого не могло
Вообще никак.

Давай цвести.
Как мак цветёт сквозь лёд,
Как сквозь асфальт стучится одуванчик.
Не торопясь,
Не путаясь,
Не прячась,
Давай расти, как дерево растёт

Из кирпича. Из чёртовой стены,
Душевно расцарапанной ветрами.
Давай шагать —
Сквозь снег, бетон и камень,
Как дни вокруг ни были бы темны.

Как дни вокруг ни были бы пусты.
Всему назло
И вопреки всему же.
Чтоб пережить огонь, дожди и стужу,
Мы встретились
На стыке немоты

С потребностью все мысли донести.
Во тьме и на свету одновременно.
Давай дышать
Безудержно,
Безмерно,
Чтоб мир — насквозь! —
Однажды прорасти.

И, через лёд, сквозь холод и бетон,
Асфальт и пыль,
Кирпич и черепицу,
Свои листочки (буквы и страницы)
Впечатать
В заалевший
Небосклон.

* * *

Распуская волосы, а не руки,
Расскажу о счастье, а не разлуке.
Расскажу о вере и волшебстве,
А не о том, что прячется в голове,
Не о том, что бьётся на сгибах венных,
А о том, что сбудется непременно:
О тебе и мне, о коротком лете,
О холодной лампе, что тускло светит,
И лепнине старой под потолком...
Проходи, садись. Расскажу о том,
Как спастись от пламени, в нём пылая,
Как вообще все любят — и выживают,
Как себя кусают за хвост кометы,
Как внутри взрывается вспышкой света
Фейерверк из имени... Просто имя.
Как мы были нами, а станем ими —
Как мы ляжем вместе и вместе встанем,
Как мне даст пощадку моё же пламя,
Как я рассыплю звёзд, что не перечесть,
Отыщу на левом твоём плече
(И соединю их друг с другом пальцем).
Как придёшь ко мне, чтоб со мной остаться,
Как диван устанет о стенку биться,
Как уткнёшься носом в мою ключицу,
Как тебя поглажу по волосам...
Я была за правду, но знаешь сам,
Как она жестоко умеет ранить.
...Как мы были ими, а стали — нами,
Как, за хвост поймавши свою комету,
Я дотла сгорела коротким летом,
Разрослась лепниной под потолком,
Сорвалась с петель, как, разрушив дом,
Из него я вышла к тебе навстречу —
И никто друг другом не изувечен,
И никто не мёртв, никому не больно.
Расскажу — уверенно и спокойно, —
Как нас мир запомнит по глупым танцам,
Как, навеки чтобы со мной остаться,
Ты буквально завтра ко мне придёшь, —
И сама поверю в свою же ложь.

* * *

Говорили: бесполезно,
Не дотянешься, не сможешь.
Будь хоть сотню раз железной,
Хоть сними с себя же кожу,
Дуй на цветик-семицветик,
Башню выстрой из развалин —
Никому ещё на свете
Звёзды в руки не давались.
Никому — и всё тут. Слышишь?
Так что даже не пытайся.
Не карабкайся на крышу,
Не тяни навстречу пальцы.
Отыщи чего попроще —
И живи в глуши уездной.
Можешь плакать, если хочешь,
Только это — бесполезно.
Хочешь — спорь, а хочешь — требуй,
Свят закон и непреклонен.

...Я стою под тёмным небом,
Звёзды
жгут
мои
ладони.

Альбина Мамаева

Так говорят кежмари

Рождённая во Дворце

Родилась я на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района. Родилась в то время, когда там ещё слыхом не слыхивали о детских садах. Поэтому мы не были замучены педагогическим воспитанием, а выросли на бабушкиных руках, с которыми мы находились день и ночь. Из их рук мы ели и пили, получали ласку, а заодно и подзатыльники. Они, как могли, учили нас уму-разуму. Неудивительно, что в детстве мы все свободно владели этим загадочным ангарским говором. Учитывая удалённость и обособленность приангарских деревень, нам просто негде было услышать другой.

А вот в соседнем Балтурино, где была наша средняя школа, почти все были приезжими — учителя, врачи, работники леспромхоза, сосланные и завербованные, разных национальностей.

Весь первый год для меня самым большим потрясением была речь учителей. Как они говорили! Красиво, складно и не всегда понятно. Даже многие из знакомых нам слов были «исковерканы» произношением и казались чужими. Признаюсь, я стеснялась отвечать на уроках, потому что приходилось с ходу подбирать малознакомые слова. Чем дальше, тем больше. А как же? Я любила читать, но ни в одной книге, ни в одном учебнике не встречалось ангарских слов. Поневоле закрадывалась мысль: неужели с нашим языком что-то не так? Пришлось заново учиться говорить.

Но выходные-то и каникулы мы проводили дома... И классе в восьмом или девятом опять с удовольствием стала слушать родную речь. Я и сейчас не знаю, почему начала вести записи. Что подтолкнуло? И не только отдельные слова писала, но и пословицы, поговорки, обороты речи, словосочетания. Записывала коротенькие истории.

Почти сразу обратила внимание, что у нас мало ласкательных слов. Чтобы проверить, стала все слова условно делить на темы. Кроме того, заметила, что по-ангарски хорошо разговаривать, диалоги получаются живыми и выразительными. А вот если нужно что-то описать... Видно, ангарцы — люди если не суровые, то очень сдержанные. Или некогда им было восхищаться красотами природы? Они просто жили в ней, вместе с ней. И не гребли лопатой, а брали от неё ровно столько, сколько было нужно. Поэтому на столе всегда были мясо, рыба, грибы и ягода...

После школы была учёба, потом семья, работа... А моя тетрадь жила на Ангаре. Во время приездов перечитывала её. И всегда что-то добавлялось. Кабы знать, что ещё при нашей жизни кого-то заинтересует этот разговор! Да я бы свою тетрадку из рук не выпускала, хранила бы как зеницу ока. Но что теперь об этом говорить?

В конце восьмидесят первого года родители срочно, добровольно-принудительно, переехали из зоны будущего затопления. А тетрадка то ли потерялась в суматохе, то ли осталась во Дворце.

Наконец случилась пенсия. Наступила эра Интернета, «Одноклассников». Все ударились в ностальгию. И оказалось, что забыто не всё. Позже попал в руки словарь А. Ф. Карнаухова

Меня радует, что даже несколько лет спустя нет-нет да опять к случаю всплывёт в памяти какое-то словцо или забавное выражение. Или какая-то интересная история... Спасибо всем, кто делится своими воспоминаниями и просит «перевести» их на ангарский.

РЫБАЛКА, РЕКА

Бакалка поплавок из лиственничной коры, привязанный к úде самолова.

Бежáть 1) ехать на лодке («С той стороны кто-то хлёско на моторке бежит»);

2) протекáть, пропускать воду («Лодка-то бегúча, не успею воду вычерпывать»).

Белкí, бельё пена на волнах («Ветри́на поднялся — ужась! Белкí-то так и ходят!»).

Бережнiк клеч береговой при рыбалке неводом («Я на лодке, а ты с бережником иди»).

Бережнiчать идти по берегу с клечом.

Берестянка лодка из бересты, плавать по речкам, по мелководью.

Борозда основной поток реки, фарватер («Бороздой надо плыть, середьшем»).

Булькнуть быстро уйти под воду («Выпал из лодки — только булькнул!»).

Бык утёс, скала над рекой.

Быстерь быстрое течение («Хто добрый на быстере сетушки-то ставит?»).

Вгрéби на вёслах («Мотор заглох, вгрéби ворочáлись, вот и долго»).

Вешалá козлы для сушки сетей («Брось на вешалá, скорей обся́хнет»).

Внатяг держать натянутым («Клеч-то держи внатяг, слабины не давай»).

Внизú, нанизú ниже по течению («Он уж давно нанизú живёт, ишши́ там»).

Вóдом без рывков, плавно («Порвёшь невод-от! Не торопись, вóдом тyani»).

Впритрúт вплотную («Шли рядом, лодка к лодке впритрúт»).

Вúтыч тычком («Ты почево вúтыч-то пристáл, но-ка отверни маленько»).

Голéц каменистое дно, без травы.

Гóлок глиняное грузило («Пóплавень не оседат, голков мало»).

Гольиш гладкий, обкатанный камень.

Грéби место в носу лодки («У меня крыльца болят, в грéби сам садись»).

Животнiк рыболовная снасть для ловли на живую наживку.

За́берега свежая корка льда у берега (до начала ледостава).

Заде́ва коряга на дне, цепляются снасти («Не ставь, тут заде́ва на заде́ве»).

Зае́здох перегородка поперёк реки, чтоб скапливалась рыба в этом месте.

За́лавок место в реке сразу за ва́лом (за порогом, за камнем).

Замоде́ть изменить вид, посинеть («Брёвна выташши, замодели уж в воде-то»).

Замби́на коряга в воде, уже замытая (занесённая) илом или песком.

И́зголовь окончание острова («От верхней до нижней и́зголови с кило́метр будет»).

Или́мка большая крытая лодка (па́узок) для перевозки грузов.

Ка́мешник каменистое дно реки, галечник.

Касте́рёнок молодой осе́рёнок.

Кати́ш гладкий круглый камень.

Ки́бас грузило, обёрнутое берестой, на неводе.

Клеч верёвка, за которую тянут невод.

Корчага ловушка.

Коза решётка для огня на носу лодки (рыбалка лучом).

Кокора коряга в воде.

Красна́ рыба осетрина («Сеогоды красной нескóль не до́был, хоть бы нарошно...»).

Ку́рья узкий длинный залив.

Лову́шки снасти для рыбалки (удочки, сети, самолосы и т. д.).

Лопушник водное растение с большими листьями.

Лучба́— рыбалка лучом («С сырыми дровами кака́ лучба́? Никово не видать»).

Лучо́к крепкая палка в носу лодки, за которую привязывается бечёвка.

Ма́кса налимыа печень («Ме́рзла-то ма́кса сла́шше шикаладу»).

Матера́ суша, материк (не остров).

Матня́ кошель невода.

Мезга́ мелкая рыбёшка («В часту́ сеть до́бра рыба не попаде́т, одна мезга́»).

Мета́тца выпрыгивать из воды («Се́дни с добычей будем — вишь, как рыба ме́четца»).

Мо́дом постепенно, плавно («Река нонче мо́дом прошла, без заторов»).

Мокче́н пескарь («Мы мокче́нов не едим — доброй рыбы, слава Бох, хватат»).

Набо́и набитые на борта лодки доски (для высоты).

Намо́бина намытый (нанесённый) водой ил.

Наплава́ полавки для большой сети.

Наше́сть сиденье в носу лодки для гребца.

Обмели́тца доплыть до мелкого места, где можно достать ногами дно («Гребли-гребли, у и́зголови кое-как обмели́лись»).

Оплóтина большая льдина.

Опру́жить перевернуть («Лодка полна воды, давай опру́жим, пушшай сохнет»).

Охича́ть очистить, прибрать сеть после рыбалки.

Плаве́ж когда сеть натягивается поперёк реки, плывёт по течению, натянутая между двумя лодками.

- Пóдберг* резкий рывок, подсечка («Удочку с пóдбергом ведем, а то сорвётца»).
- Пóплавень* сеть, с которой плывут по реке.
- Прилу́ка* излу́чина, вогнутый изгиб реки.
- Приплёсок* полоса берега, которую омывает волна.
- Прогользи́на* открытая вода между льдинами (в ледоход).
- Распали́тца* вскрыться («Река-то как распали́лась, до потопа недалёко»).
- Режь* дополнительная крупная сеть к поплавному.
- Сак* снасть с сетью на шесте (ловить мелочь для наживки).
- Самоло́в* ловушка с удами для ловли крупной рыбы (запрещён).
- Са́чить* ловить мальков саком («Поехал са́чить мокчён»).
- Серёдыш* самая середина («На мель бы не сясы, плóвь серёдышем»).
- Ситня́к* травянистое место.
- Смо́льё* 1) смолистые дрова; 2) полешки на козу для рыбалки лучом.
- Соро́га, сорожня́к* всякая малоценная рыба («Сёдни нико́во не попало, один сорожня́к»).
- Спира́тца* идти против течения («Часа два спи́рались, из мо́чи вышли»).
- Стень* ширина (высота) сети («Сетушка у тебя стенистая»).
- Сту́кать* поставить сети а потом объезжать их кругом, стукая во воде, чтобы загнать рыбу в ловушку.
- Тетива́* крайняя верёвка у сети для подтягивания.
- Тонь* один заезд неводом (пóплавнем) («Тут ме́ста на одну Тонь»).
- У́да* большой крючо́к на крупную рыбу (налим, таймень).
- У́лово* глубокое место в реке, омут (часто рыбное).
- Упру́г* поперечный брус в лодке (óстов).
- Урыву́н* большой острый крюк (вытаскивать крупную рыбу из воды).
- У́хнуть* неожиданно провалиться («Ахнуть не успел, как у́хнул в воду!»).
- Хре́бти́на* основная верёвка на самоло́ве, к ней привязывают поводки с крючками (у́дами).
- Цёвка* поплавок на сети из берестяной трубки, через которую продёргивается тетива.
- Части́к* сеть с мелкими ячейками («Сетушка-то часта́, разе што на ельца го́дитца»).
- Черезь* плыть на другой берег («В такую па́деру тебя почево лешак через-ту повёл?»).
- Чо́кур* нагромождение льда у берега, на мели (в ледоход).
- Широколо́бка* байкальский бычок.
- Ши́тик* лодка с набóями.
- Юро́* стая (скопление) рыбы.

ПРИРОДА, ОХОТА

- Бéлочить* охотиться на белку.
- Бокари́* высокая обувь из оленьей замши. Носить можно по сухой погоде.

Брѡдни мягкая непромокаемая кожаная обувь с голенищами.

Букáра букашка, жук.

Бус мелкий дождик, ситняк («Што из сита сеет»).

Верхѡвка ветер с верховьев реки.

Вѡлок расстояние между зимовьями.

Вострохвѡст утка шилохвость.

Вцелик без дороги по снегу («Поедем вцелик, ближе будет»).

Гайнѡ дупло с беличьим гнездом.

Голѡицы широкие охотничьи лыжи, без камуса.

Губá гриб на дереве (нарост, чага).

Желѣзница жук с металлическим оттенком.

Закоковѣть околеть, окоченеть («Руки закоковѣли, нады было мохнатки одеть»).

Заморочáло небо заносит тучами.

Занáтрина задир в ружье.

Зеленѣц зелёная, неспелая ягода («Никак не дают чернице поспеть, всю зеленцѡм вытаскали!»).

Зыбун трясина («Тут конѡм не проедешь, звон как земля зыбатца»).

Йзголовь окончание острова, есть нижняя и верхняя (по течению реки).

Камáсья камус.

Кáмусны лыжи широкие охотничьи лыжи с камусом.

Кáтко скользко («Хожу с бадогом — кáтко не на белай свет, упась боюсь»).

Кокѡльды толстые, вязанные особым способом рукавицы с разрезом на запястье, чтобы снятые висели на руках.

Кѡпоть, копѡти́шша густой туман при сильном морозе.

Косáрь большой нож.

Кружáть блудить, плохо ориентироваться («В лесу нисколь ходить не может — кружáт»).

Кулѣмка охотничья ловушка на среднего зверька (песец, соболь).

Кулѡга узкая поляна, ответвление покоса в лес.

Курѣнки мясо с беличьих задкѡв.

Куряшѡк несколько кустов с обильной ягодой («Трафилась на курышѡк, сразу тѣес набрала»).

Кухтá куржáк («Задел ветки головой, вся кухтá за ворот осыпалась»).

Логовѡна ложбина.

Лѡва лужа («Лѡвы по всѣй дороге — не пробрестѡ»).

Матерá сѡша, материк (не остров).

Медунѡца шмель, пчела.

Метлѡк бабочка.

Мизгѡрь паук.

Мокрѣц мелкий слепень, овод.

Морнѡй дожджик мелкий, тихий дождь, без ветра.

Мóрошно пасмурно.

Мочажíна болотистое место.

Наволóк низина, седловина между двумя возвышенностями.

Накочётки тёплые меховые носки.

Накухтáрник кусок ткани, пришитый на затылочную часть шапки, чтобы снег и изморозь с деревьев не сыпались за шиворот.

Напáлок отдельный съёмный мешочек специально для большого пальца.

Напру́ска пороховница.

Непогодь затяжное ненастье («Што за не́погодь — сено всё сгноили, ягод нету!»).

Низóвка ветер с низовьев рек.

Обíрки (обóрыши) остатки ягоды, после того как их кто-то уже обобрал.

Ободня́ло разяснилось, погода налаживается («С утра дождь, а счас ободняло»).

Околева́нне холодно («Оно што за погода пошла? В августе э́ко околева́нне!»).

О́пушни самодельные голяшки к черкам из плотной ткани, чтобы снег внутри не попадал.

Оснять, оснимáть ободрать, снять шкурку (соболя, белки) и обработать.

Отемня́ть задержаться дотемна.

Па́берега ровный, удобный низкий берег.

Па́дера сильный ветер, буря на реке.

Па́льма широкий обоюдоострый нож для охоты на медведя.

Пальни́к тетерев.

Палю́ха самка пальника.

Пасть охотничья снасть на крупную птицу (груз — жерди).

Первосёнок собака на охоте первую осень (хорошо, если есть и взрослая опытная собака — она научит).

Пла́шка ловушка на мышей («Мыши расплодились, пла́шку нады насторожить»).

Пли́шка трясогузка.

Поголу́ до того, как ляжет снег.

Пóдпаль мех белки несозревший («Нонче полно белки с пóдпалью»).

Полева́на 1) поляна в лесу, засеянная хлебом; 2) трава на запущенном поле.

Полудённый южный ветер.

Поня́га доска с ляжками для ношения на спине охотничьего снаряжения.

По обóрину по щиколотку, до обóрок (завязок) («Снегу навалило по обóрину»).

Правья́нт оружие.

Прíморозок время после утреннего заморозка, пока земля ещё не оттаяла («Сбегал бы по прíморозку, а то оттаёт — будешь грязь месить»).

Пя́ло специальной формы дощечка, на которой сушат и расправляют шкурки.

Рёлка бугор, возвышение.

Свя́шишк напарник.

Сеногно́й затяжное ненастье в сенокос.

Сíвер, сиверíт северный ветер («Сивер потянул — холодат»).

Слопцы́ снасть на зверя и крупную птицу.

Собака зверова́ идёт на крупного зверя (не боится, умеет держать).

Собака оши́ршивела оцети́нилась, шерсть дыбом.
Сóбра низина, ручей, заросший мелким лесом.
Спóлохи зарница («Ишь какі спóлохи — это к сухорóсу».)
Сті́унец одноствольное охотничье ружьё.
Субо́й сугроб, глубокий снег.
Сухорóс утро без росы (по приметам — перед дождём).

Тягу́н, тяни́гус длинный пологий подъём дороги.

Утренник в начале осени утренние заморозки («Рано нонче утренники начались».)
У́хожей охотничье зимовье с участком в лесу.
Ушкáн заяц.

Хляши́ый мороз сильный мороз («По капканам сходить не могу, другу неделю хляши́ый мороз стоит».)

Хорькі́ суконные наколенники или отдельные штанины для защиты от снежной сырости.

Целі́к нетронутый, нехоженный снег (без дороги и лыжни́).

Чепы́жник колючий непроходимый кустарник.
Черкі́ самодельная мягкая кожаная обувь с оборками.

Ю́ксы ремешки на охотничьих лыжах, замена креплениям.

Ямури́нник на покосе место с кочками да ямами («Тут ково накóсим — один ямури́нник!»).

ПОДВОРЬЕ С ЗАБОТАМИ

Ахичáть прибирать, чистить («Баня-то протопéлась, ахичáть нады идти»).

Ба́бка маленькая наковальня для отбивки косы (литовки).

Балáн крепкое, толстое строевое бревно.

Балкáн короткий обрубок дерева («Переколешь дрова, дак балкáнья-то тоже подбери»).

Бастри́к жердь, при помощи которой затягивают воз.

Бахтарма́ верхняя плёнка бересты.

Бито́к совок для сбора ягоды («Битком-то дивья брать, хорошо подаётца»).

Бри́ткий острый («Топорик-от дочево бриткий, из рук бы не выпускал!»).

Буро́вить 1) тащить во́локом, сдвига́ть («Весь половик в кучу сбуровил»); 2) много нагрузить («Куды есколь набуро́вил? Конём не увезёшь»).

Бу́сый, буска́ окрас животного, неопределённый цвет («Бу́са-то корова и смірна, и удо́йна»).

Буты́рить 1) переворачивать («Всю завозню перебутырил, вилы не нашёл»); 2) тяжёлая работа («Одна всю работу перебутырила!»).

Бы́гать подсохнуть на солнышке, выветриться («Земля подбы́гат, нады огород пахать»).

Веснова́ть провести весну на острове («Скот колхозный на острова увезли. Кто с ним веснова́ть-то поедет?»).

Воднёрыдь на один раз («Поле заборонил воднёрыдь, опосле нады ишшо пройтись»).

Водяник изгородь, уходящая в воду, чтобы скот не мог по воде попасть в посевы.

Волочуга воз сена, травы («На одну волочугу сёдни накосили, дождж помешал»).

Вольный жар после выгреба углей («Боле не подкладывай, на вольном жару дойдёт»).

Выбуравливать выгребать, вычищать («Я не нанималась за всемя выбуравливать»).

Вы́мнет вымя увеличивается, наливается молоком («Корова вы́мнет, скоро отёлитца»).

Выпа́ривать высушивать цыплят.

Выстыть остыть («Ково долго собирася? Баня-то выстыла, пару не будет»).

Глы́за замёрзший помёт («По всёй ограде глызы, убрать некому»).

Гнездо пара («Мы все шибко паримся, к зиме запасам по сорок гнезд веников!»).

Говяш засохший конский помёт («Не хошь учитца, будешь говяши подметать»).

Гребь скошенная трава («Гребь поспела, нады ехать метать»).

Долготё дерево, сваленное на дрова, но ещё не распиленное на чурки.

Доспёт сделать, соорудить («Опеть никоно не доспёл, просидел с мужиками...»).

Драни́ца скóлотая (не распиленная) доска.

Драньё от «драни́ца» («Зимовё драньём крыто»).

Дровокóл колун, топор для колки дров.

Дуплени́ца промежуток между двумя западнями.

Дуплё подвал с ледником («Сметану в дуплё спусти, а то до утра вся сбудёнитца»).

Дымоку́р дымный костёр из травы или мха для отпугивания гнуса.

Ела́нь большое ровное поле.

Жнитво́ уборка зерновых («Скоро жнитво́, а вы ишшо сено не прибрали»).

Заббина недавний забой скотины, свежее мясо.

Завёя место за забором или стеной, которое всегда заносит снегом.

Заво́зня сарай для инвентаря («Полну заво́зню своих железяк натаскали, затти нельзя!»).

Заво́ры засов у ворот, жердь («Там заво́рина переломилась, нады в лес ехать по жерди»).

Зада́ задворье («Сено-то сколь на зада́х лежать будет? Чужи коровёнки съедят!»).

Заку́ржеветь покрыться куржаком (от дыхания) («Ночью-то, видать, мороз был — во клеву дверь заку́ржевела»).

Замётыш остатки сена, соломы.

Заплóт плотный забор.

Заплóтина доска, плаха из забора («Ночёсь хорька сгоняли в огурчишки — двух заплóтин нету»).

Зарóд стог сена («Сёдни за Железной метали — хороший зарóд вышел»).

Зауго́лок угол дома с торцами брёвен («Опеть по зауго́лкам ползашь, желтяк?!»).

Зауго́лье место, не видное за углом («Последне дело — по зауго́льям прятатца»).

Зау́лок переулок («Коровёнка не пришла. Погляди в зау́лке — не там ли лежит?»).

Звоз спуск к реке.

Зелёнка посев овса на зелёный корм («Зелёнка хороша будет — што шшети́на взошла!»).

Злы́дни крохи («Какой урожай? Одни злы́дни»).

Исправля́тца управляться (всё делать) по дому, по хозяйству («Ну всё, исправилась, можно и поить»).

Каменка 1) печка в бане; 2) разовая подтопка («Пáритца не будешь, дак две каменки хватит»).

Клев хлев для скота («Молоко пить все любят, а кле́в вычистить некому»).

Конюхо́вка избушка конюха, там ремонтировали и шили у́пряжь, там же он отдыхал («Паря, в гараже работать некому — все мужики в конюховке сидят, анекдоты травят»).

Косови́шше рукоять косы («Хто косови́шше-то строгал? Все руки в занозах!»).

Коше́нина скошенная трава («Дожди зарядили — вся коше́нина сгниёт!..»).

Ладом как надо, как следует («Не торопись, ладом делай»).

Метельник берёзовые прутья на метлу («Сходи-ка наломай метельнику»).

Мётка сгребание и стогование сена («Слава Бох, успели до дождя, всё сметали»).

Модеть мокнуть, напиться водой («Дрова-то сколь модеть будут? Пилить нады»).

Мухорко масть, гнедой конь с подпалинами.

Наби́рка совок, кружка, куда набирают ягоду, чтоб потом её пересыпать в туюс.

Наверши́ной верхом на лошади.

Надсади́тца надорваться («Неско́ль себя не бережёт, вот и надсадился»).

Нале́пом кое-как («Навроде себе делаешь, а не стараешься — всё у тебя на ле́пом»).

Направитъ 1) приготовить («По́ воду схожу, да ужну направлять буду»); 2) отремонтировать («Хто напару́хал, тот пушшай и направля́т»).

Натодель на совесть («Натодель делат, за ним проверять не нады»).

Оборозди́тца сделать первую борозду плугом («Не успел оборозди́тца, дож пошёл»).

Обся́хнутъ ещё не вышло, но вода стекла («Брось сету́шку на вешалá, пушшай обся́хнет, потом в завозню уташшим»).

Окорёнок осколок от пня.

Осто́жье изгородь вокруг стога («Пойду осто́жье поставлю, а то кони всё сено съедят»).

Пару́нья курица-наседка, которая высиживает цыплят («Вот пару́нья — выси-дела целый выводок!»).

Перевозня большая лодка для перевоза через реку сена, скота.

Пехло́ широкая лопата для уборки снега.

Плавни́к дрова из брёвен, которые достали из воды.

Пове́ть (повить) сеновал над хлевом.

По́катъ небольшой наклон, уклон («Тут по́катъ, не подсклизнись»).

Понюжа́ть погонять лошадь («Наготово остановилась, но-ка понюжní хорошенько!»).

Полеви́на запущенное, брошенное поле, заросшее травой.

По́лотье прополка сорняков («Што за трави́шша, из мо́чи вышла с по́лотьем»).

Потни́к 1) мягкая подкладка под седло; 2) плотный матрац, набитый куделей.

Предамба́рье помост у амбара.

Прёсница приспособление для ручного прядения.

Притруси́ть присыпать («Солому притруси́ мукой, а то те́лка ни за што ись не будет»).

Пу́танне бестолковщина, неразбериха («Кака́ работа с тобой? Одно пу́танне!»).

Расчи́нџа начинать большое дело («Сёдни расчи́нџа неохота, давай с утра»).

Рогальо́ха соха.

Рыть копать («Картошки-то вырыли или ишшо не зачинали?»).

Складчи́на купленное на паях («У нас все ловушки в складчи́ну на́браны, арте́льные»).

Скóлотень береста, снятая со ствола «чулком», для изготовления туесов.

Су́порос беременная свинья.

Суту́нок короткое толстое бревно.

Тарта́ть утащить («Куды лавку-ту утарта́ли?»).

Ужи́ише толстая верёвка для подтаскивания копён сена.

Узга́ уголки рта («Ты почево коня эдак де́ргяшь? Все узга порвал удилами»).

Упру́г поперечный брус в деревянной лодке.

Череди́ть готовить, убирать баню.

Чи́лькя́ть доить корову («Сбегай, родна, почи́лькяй коровёнку, я че́-то пристала»).

Шабурча́ть шелестеть, шуршать («Ты ковды там шабурча́ть перестанешь?»).

Ша́ять тлеть («Дрова-то сыры — шают и шают, а тепла нету»).

О ДЕТЯХ

Бакря́к здоровяк, крепыш («Ишь какой бакря́к вырос!»).

Берёзовый квас прут для наказания («Фулюган растёт. Берёзовово квасу напрохот опровёдыват»).

Борона́ много детей («Как овдовела, так одна и живу. Кому нужна с такой бороно́й?»).

Ва́дить потакать, баловать («Сама испова́дила, вот и у́росит»).

Восста́ть заступиться («Не восста́нь за нево Иван, дак избили бы всево!»).

Всклы́ктывать всхлипывать («Изревелась вся, счас ишшо всклыктыват лежит»).

Вы́патрать вымазать, залапать («Кофту-то чем вы́патрала, не отстирать будет...»).

Грэ́зить хулиганить, что-то портить («Чё притаился? Нагрёзил успел?»).

Дало́сь иметь талант, способность («Петь да плясать — это ей дало́сь!»).

Де́коватца баловаться («Вы сколь там де́коватца будете? Ну-ка спите!»).

Допéливатца дотягиваться до чего-то на цыпочках («Захочет достать — хоть докúль допéлитца!»).

Доперéть допытать («Все лампасейки кончили, так и не могла доперéть, хто банку нашёл...»).

Завязíть защемить («Ногу в шшель завязíл, ревёт лихоматом»).

Заклóчитца спутаться («Волосёнки-то заклóчились, не могу расчесать»).

Заянвивать провоцировать драку («Получил на орехи? Не будешь заянвивать!»).

Кáвкать жалобно плакать («Всю ночь прокáвкал. Не брюшко ли у нево болит?»).

Калюкальцы прятки («Весь день в калюкальцы играют, никому не мешают»).

Кáпошный маленький, крошечный («Парнишка-то капелю 'шешный, на руки взять боязно!»).

Кáять слёзно выпрашивать («Она сколь кáять будет? Дай ты ей этот пряник!»).

Кíснуть долго ныть, хныкать («Перестань кíснуть, пока ремня не получила!»).

Клевíть (ребёнка) доводить до слёз («Добился всё же, расклевил девчонку!»).

Кокúрки нести ребёнка на кокúрках (на спине).

Косоплётка тесьма или лента, вплетённая в косу («Вся раскосматилась, косо-плёткой волосы подбери»).

Лалы́кать неразборчиво говорить («Лешак тебя разберёт, ково лалы́кашь...»).

Лёля няня (старшая сестра, тётя), которая вóдится с ребёнком («Я мамёнку молодой-то не помлю, на лёлиных руках выросла»).

Лы́ха большая, взрослая (с осуждением) («Не малá лы́ха выросла, за женихами бегашь, а матери помощчи не можешь»).

Напарúхать сломать, испортить («Ничё в руки дать нельзя — счас же напарúхать!»).

Напахáтца обеспечить, припасти (Куды у парня ножи́шша растёт? Обúток напахáтца не могу»).

Нарачí умышленно («Думай-ка, ведь нарачí изорвал рубаху. Дал Бох карахтер!»).

Насдавáть отлупить («Я ему хорошо насдавáл, долго не забудет»).

Нáстовать опекать, ухаживать («Тебе чё не рожать-то — свекровка нáстует, не сама сидишь с нимя '»).

Находíть походить на кого-то («Лицом-то какэсь на мать находíшь»).

Не знáтко не видно от грязи («Это вы где играли? Одежу-то не знáтко»).

Не кáзнитца не делает правильных выводов («Хоть сколь бей — ему не кáзнитца!»).

Облеkwáситца испачкаться («Ложку ишшо худо дёржит, за столом весь облеkwáсился»).

Ожгнúть резко ударить ремнём, прутом («Ожгнúть бы тебя по голяшкам-ту!..»).

Пикúшка самодельный свисток из тальниковой ветки («А мне тятя с покóсу пикúшку привёз!»).

Пошибáть напоминать кого-то («Со шшеки́ бытто на дедушку пошибáт»).

Прúдить пíсать («Всю перíну опрúдил — хоть счас выбрасывай»).

Пя́литца кривляться, дразниться («Ты у меня допáлишься — получишь ремня»).

Резóн «Хоть говори, хоть нет — он в резóн не берёт» (не обращает внимания).

Сдверяживать наказывать ремнём («Мало я тебя сдверяживал, раз не научил слушатца»).

Седун со слабыми ногами («Парень-то седун — три года скоро, а он не ходит»).

Сосить кормить грудью («Хватит её сосить, приучай ложкой исть»).

Табунитца собираться кучками («Эвон моложежь табунитца у сельпа»).

Тютю нету («Конфеток тютю, ешь кашу»).

Уросить капризничать, упрямиться («Скоро в школу, а ты уросишь, как маленький»).

Урыльник ночной горшок («Урыльник под койкой, а он на постелю чишат»).

Уфка больное место («Ой, больно! У меня тут уфка»).

Фычкать брызгать водой изо рта или из трубки («Хватит фычкать, весь пол залили!»).

Челядёнок (*челядь, челядишки*) ребёнок (дети, ребятишки).

Чёча хороший («Уж ты-то у меня чёча, всех башше»).

Чёчка игрушка («Чёчек набрали, а подбирать некому. Ходят, запинаятца об них»).

Чишатъ писать, мочиться («Все штаны обчишал, надеть нечево»).

Чишкать сажать на горшок («Приучай к урыльнику, чишкой ево. Сам вить не научитца»).

Шпиговать дрессировать, приучать («Никово не слушатца, хоть бы ты наспиговал ево!»).

ВЗИМООТНОШЕНИЯ

Бачить, баять говорить («Бабы на днях бачили: мол приедет.— Не бай! Год уж едет»).

Беспутый (*беспуть*) бестолковый («Ты в ково екай беспутый-то?»).

Буровить говорить ерунду (Напился, дак лежи, нечево буровить чё ни попада»).

Бывать ведь («Она с чево состаритца? Бывать не переработала...»).

Варначить мошенничать («Нёпочево его было кладовщиком ставить — сам знашь, што варначить будет»).

Возгудать петь громко и нескладно («Эвон, твои идут — возгудают на всю деревню!»).

Втолчки выгонять, выталкивая («Девка домой явилась под утро, дак отец-от выгнал втолчки!»).

Выговорить высказать правду в глаза («Вчераш не вытерпела, выговорила бригадиру — седни на саму тяжёлу работу пошлёт»).

Выжить вынудить уйти («Всё же выжили старуху из избы, до чево бессовесны!»).

Выставить осмеять, опозорить принародно («Выставил меня всяко в конторе»).

Вьямки обхватив друг друга («Пушшай по-чесному, вьямки борютца»).

Гадить срамить, позорить («Ты не с лешака ли на меня налетела, выгадила при всём народе?»).

Галитца насмехаться, издеваться («Сидит у Катьки на шее и над ней же изгалятца»).

Глянетца нравится («Глянетца она тебе — посылай сватów, а то останесся на бобах»).

Гнать судить по кому-нибудь («По себе гонит — сам вор, думат, и все таки же»).

Грызья непрестанно ругать, упрекать («С ней хто уживётца? Бедново Кольшу грызья грызёт...»).

Дерябнуть 1) огреть, ударить («Дерябнуть тебя, штоб замольчал?»); 2) крепко выпить («Где опеть дерябнул? Кое-как на ногах стоишь»).

Диковина непонятно что («Она, паря, какá диковина: то сойдутца, то разойдутца — народ смешат!»).

Дичать потерять рассудок («Не одичал — матери перечешишь?!»).

Доказать выдать, донести («Иван украл, а на Михаила доказал. Чуть не посадили мужика ни за што»).

Задавнóй ужас как много («Челядь умыть некому — задавна вошь!»).

Започаять зачастить («Ишь, започаял в гости ходить! Как ужнать — он уж тут как тут»).

Знять учинить драку («Ни с тово ни с сево драку зняли»).

Їздива очень сильно удивиться («Я їздива вышла, как узнала ваши новости!»).

Изурóчить сглазить («Нёмочь привязалась — хто-то изурóчил»).

Истывátь ныть, жалеть себя («Опохмелитца нечем, дак весь день лежал истывал»).

Козыритца бодриться, глядеть козырем («Едва уж ползат, а тоже козыритца!»).

Кóнчить погубить, уничтожить («Кóнчил девку-то, не пожалел»).

Косыритца долго сердиться, коситься («Мы уж думать забыли, а она всё косярится»).

Крáдчи скрытно, тайно («Хватит крáдчи к Маруське ходить, давно бы женился»).

Лезóm лезть настырно, нахально («Бессовесна рож — лезóm лезет в чужу семью!»).

Нáстовать опекать, помогать («Я уеду скоро — стариков-то не забывай, нáстуй»).

Натокáть посоветовать, наставить («Мама натокála травками полечитца»).

Найчитца нарваться на неприятности («Сама драчунья, да на еково же найчилась»).

Неможнó невозможно («Паря, ты хлёско бегашь, догнать неможнó!»).

Обессудить осуждать («Тебе лишь бы обессудить, нет бы помогчи!»).

Обзáритца чему-то позавидовать, хотеть чужого («Ишь, обзáрился на чужó добро!»).

Обопнóтца приостановиться на миг («Хоть бы обопнóлся — так и прошёл мимо, бытто не признал»).

Обреветь окликнуть, позвать («Я тебя утресь из окошка обревела, ты бежишь, не слышишь»).

Обробёть опоздать («Ты чё лежишь? Обробеешь на собранне-то»).

Окинуть накрыть («Околола, однако, хоть платком окинься»).

Омуля́тца 1) ухмыляться, ехидничать («Чем омуля́тца, помог бы старухе»); 2) облизываться, ожидая подарок («Здря омуля́шься, тебе тут ничё не перепадёт»).

Опровéдать навесить, проверить («Проходи, садись — давно не опровéдывала»).
Отвáживатца приводить в чувство («Чуть не помер, кое-как отводились!»).
Отгáшшиватца принимать гостей в ответ («На Новай год у вас гуляли, на майских мы отгáшшиватца будем»).

Оши́ршеветь оцетиниться, насторожиться («Чё оши́ршевел? Никто тебя за девáть не собиратца»).

Ошшúчить крепко ударить («Но, паря, ты легоньку шлёпнуть никак не можешь, обязательно ошшúчить надо!»).

Пéжить давить, угнетать («Отвяжись от парнишки, за што ты ево пéжишь?»).

Пелéговатца заниматься пустяками («Нады в огород, а ты с челядью пелéгуеяся»).

Повестítь позвать, пригласить («Не забудь хрёсну на именины повестítь»).

Погадáть вóвремя успеть («Нюх-от хорошей, самай раз к стóпочке погадáл»).

Подéковатца сделаться, случиться («Сбéгай-ка узнай, чё у них подéковалось»).

Поднаúмить напомнить («Ты уж не дашь забыть, живо поднаúмишь»).

Подражать раздражать («Не подражай лучче! Без тебя тошно!»).

Подфигúривать подшучивать («Над старухой чё не подфигúривать, раз не слышу?»).

Пóнага очень сильно («Пóнага ненавижу враньё!»).

Приякши́тца напроситься в приятели, присоединиться.

Провергáть критиковать («Чем всех провергáть, сам бы сделал ково-нить»).

Распрáсорить раздать, потратить на что-то ненужное («Мужик телéшшетца, копейку зарабатыват, а эта простодыра всё распрáсорит»).

Сбúривать смотреть исподлобья («Чо сбúривашь? Нéлбо правду-то слушать?»).

Сжáбать угробить («Такí врачи попали, сжáбали девуку, не подавились!»).

Сомустítь уговорить, соблазнить («Скáзывай, хто сомустíл купатца?»).

Спирáть свалить вину на другого («До чево дóшлый — нагрéзит, а сопрёт на сестру!»).

Стýрить спорить, ругаться («Ты не одичал — со старшими стýрить?!»).

Сьякши́тца сговориться («На ково бы дóбро, а как варнáчить, дак живо съякши́лись»).

Тáкать поддакивать («Сам думай, нечево тáкать!»).

Тóркать стучать, толкать («Тóркалась-тóркалась, так и не отворили воротá»).

Тоскнúть тосковать («Всё ли ладно у ребят? Ково-то сердце шибко тоскнёт...»).

Турнúть срочно отпрáвить («Кúрево кончилось, турни́ свою в ларёк — пушшай возьмёт»).

Удёрнуть украсть, взять без спроса («Хватилась ведра, а ево уж хто-то удёрнул!»).

Уноровítь угодить («Вреднушша свекровка-то, не знашь, как ей уноровítь»).

Упéточить так прибрать, что потом не найти («Никово старухе в руки дать нельзя! Упéточит — всёй семьёй натти не можем!»).

У́росить капризничать («Тебя Гошка вызнал, вот и у́росит — знат, што по-ево сделашь!»).

Урóчить навести порчу («Изурóчили девуку, сжáбали, не подавились»).

Утуру́ить отправить много раз («Утуру́или им бешшóтно и посылк, и деньгами»).

Фрякатица брезговать, выказывать отвращение («Гол как сокол, а тоже фрякатица!»).

Хомута́тца нечестно играть, плутовать («С ним играть неинтересно — он хомута́тца»).

Черезь из-за («Мать-то черезь тебя все глаза выплакала!»).

Чикóвка драка, потасовка («Што за петухи! Как сойдутца — так у них чикóвка»).

Чирчигáть скрипеть зубами, злиться («Слово поперёк сказать нельзя — вот и заглядит, зубами зачирчигáт!..»).

Чихвóстить отчитать как следует («Отчихвóстила — счас как шёлковый»).

Шану́ть толкнуть («Пьянай-пьянай, а шану́л — я кое-как на ногах устояла»).

Шумáркать возражать, сопротивляться («Ты хоть не шумáркай!»).

ЗДОРОВЬЕ

Без языка лежит (речь отнялась) не может говорить (после инсульта, например).

Буркотня́ урчание в животе («Што за буркотня? Видать, съел ково-то»).

Валёж навалился эпидемия, паде́ж («На вас што за валёж навалился? Все сразу захворали!»).

Вздóхи грудь, лёгкие («Простыл, все вздóхи болят»).

Во плотé в силе, в крепости («Мы уж все состарились, а отец ишо во плотé, дай Бох ему здоровья!»).

Впрыску́ в расцвете, в самой силе («Взамуж нады отдавать, докуль впрыску́. Потом кому нужна будет?»).

Глухомя́тье слабослышащий человек («Вот глухомя́тте, реву-реву, а ты и не оглянешься»).

Гомозит чешется, свербит («Вчерась в носу загомозило, к утру обои нóрки залóжило»).

Зáвить запястье («Рука развилась, зáвить опухла»).

Зы́бать долго, надсадно кашлять («Сколь уж зы́башь, лечитца нады»).

Зы́кать оглушительно кашлять («Спать никому нé дал, всю ночь зы́кал»).

Из годов выжила пережила всех ровесников.

Кáвкать жалобно плакать («Опеть ночь прока́вкал, хто-то всё же болит у нево»).

Камчу́к нарыв, похожий на чирей («Камчу́к на глазу́ соскочил, глядеть не даёт»).

Кашлю́н постоянно кашляющий («Ано што за кашлю́н? Не чихотка ли привязалась, оборонишна мать?»).

Кипéть зудеть, чесаться («В черках ножонки озноби́ла, счас оттаяли, дак какэсь кипя́т»).

Клемáть кое-как дюжить («Докуль клемáю, пособлю хоть с челядью водитца»).

Кóлотье острые боли («Вот заспéлось в грудях кóлотье — здохну́ть не даёт!»).

Кольга́ согнутая спина («От проклятой работы согнулась в три кольги!»).

Кружа́ть заговáриваться («Кружа́ть уж начала, долго не заживётца»).

Крыльца верхняя часть спины, лопатки («На сквозняке постояла, счас крыльца разламыват»).

Леготá облегчение («Уж по-всякому лечусь, а леготы́ в теле нету»).

Лён шейные позвонки («За шею не дави шибко, не дай Бох лён сломишь»).

Лихотит (*лихо мне*) тошнит («Ково-то, видать, нажабался, залихотило»).

Ломотá боль в суставах («Как к ночё, так делатца ломотá»).

Моготá сила, возможность («Какá уж счас моготá? Весь изработался»).

Можжит неутихающая боль («Коленка можжит и можжит, никаки ма́зи не помогают»).

Набря́кнуть отека́ть («Гли-ка, нога-то набря́кла, косточку не видать»).

Нага́вка повязка на пальце руки или ноги.

На гужи́ сял ослабел, выдохся («Тятя-то всё, на гужи́ сял. Не работник...»).

Надсади́ть надорвать («С этим та́сканьем хребёт надсади́л»).

Натрудíть перенапрячь («Руку натрудíла, не поверишь — ложку поднять не могу»).

Ная́читца наткнуться, налететь («На чей кулак ная́чился, с синяком ходишь?»).

Незажи́вный хилый, слабый («Невеска-то незажи́вна попала, нечем хвастать»).

Ногами ха́нул ноги болят («Не думал, што едак ногами ха́ну,— приступи́ть не могу»).

Но́рки ноздри («Где у лешака простыла — но́рки заложило»).

Оро́кать громко стонать («Брюхо заболело, всю ночь оро́кал»).

Отемня́ть ослепнуть («Баушка нагото́во отемня́ла, нисколь не видит»).

Очу́ствоватца прийти в сознание («Она чем хворат? Среди́ улицы брякнулась, думали, не очу́ствуетца»).

Поверну́тца умереть («Тятя давно уж не встаёт, без языка лежит. Тово гляди поверне́тца...»).

Поверту́ха эпидемия («Ясли на неделю закрыли, поверту́ха какá-то ходит»).

Разла́мыват боль, ломотá, трудно двигаться («С непривычки намахалась — крыльца какэсь разла́мыват!»).

Резо́та острые боли в животе («Брюхо никаку продухту не примат! Ково бы ни съел — резо́та!»).

Роди́мец припадки, эпилепсия («Капошный ишо испужался собаку. Дак счас чуть чево — роди́мец бьёт»).

Са́дко больно, саднит («Запнулась об камень. Так-то не болит, а всё же са́дко»).

Сдава́ть слабость («Сколь ни храбрись, а года своё берут — тоже сдава́ть стал»).

Стегно́ часть ноги от колена до бедра («Набегалась за́ день, аж стёгна болят»).

Сял на бабки обезножел («Говорили врачи: береги ноги! А счас всё — сял на бабки»).

То́кать толчки от боли, как пульс («Палец нарывáт, другой день то́кат — не знаю, куды руку девать...»).

Торóшшит саднить, побáливать («На сонцепёке поработала, а счас плечи покрасели и торóшшит»).

Утули́ть успокоить боль («Ноги болят, ночей не сплю. Не знаю, чем утули́ть»).

Ха́ннуть резко ослабеть («Да-а-а, х́анул наш старик! Другой месяц не подыма́тца...»).

ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ

Азия́т вредный, неправославный человек («Вредён, что тебе какой азия́т!»).

Ала́лька говорящий неразборчиво, бестолково («Говори добро́м, ково ала́лькашь!»).

Асмоде́й вредный, скупой («Асмоде́й, ребят-ту голодом заморил!»).

Ахе́за грязнуля, неряха («Ахе́за, весь облеква́сился, га́дко глядеть»).

Аи́шау́льник зубоскал («Аи́шау́льник, не стыдно над стариком шпанить?»).

Больше́ро́та крикливая («Ты ково реве́шь на всю деревню, лихоманка больше́ро́та?»).

Бо́тало болтливый («Ну ты и бо́тало, ме́лешь и ме́лешь»).

Бухре́тко нелюдимый («Ни с кем не разговариват, вот бухре́тка-то выросла»).

Варна́чина хулиганистый, выдумщик («Ты ково, варна́чина, опять выдумал?»).

Вилю́чий обманчивый, увёртливый («Вилю́ча рожа, на огне не допрёшь!»).

Волхи́тка ведьма, колдунья («До чево страшна, какэсь волхи́тка»).

Гладкий холёный («Ле́нька из городу-то гладкай явился, не изработался»).

Гнуси́на плакса, нытик («Ну и гнуси́на же ты, весь день ноешь»).

Говно́ёд, скупердя́й жадный, зимой снегу не выпросишь.

Заворо́тный отчаянный («Отец степенный, а ты заворóтный-то в ково?»).

За́рный азартный во всём («За́рный на работу — здря не посидит, пошёл и пошёл»).

Здры́к здоровяк, силач («Вы чем ево кормите? Десяти годов нету, а такой здры́к вымахал»).

Здряшнóй невыдержанный («Ну здряшной — с чево бытто соскочил, всех облаял!»).

Испáдчивый настырный («Как насядет, дак не отвяжесся!»).

Квашня́ полный, медлительный человек («Растолстела, што квашня́ сидишь»).

Коло́да тучный, неповоротливый («До чево уж разбрюх, коло́да и коло́да»).

Корысный видный, употребляется с частицей «не» («Жених-то ей попал неко́рысный»).

Кроха́ль прожорливый («Што кроха́ль, сутками бы ел»).

Кругова́й, круговня́ бестолковый («В ково выродилась, вся кругова́!»).

Лень оты́лая неисправимый лентяй («Лень оты́лая, весь день ле́жми лежит»).

Ли́хо лень («Обленился, ли́хо на белый свет глядеть»).

Лиходе́й злодей (Какой лиходе́й, шшенка́-то заморил!»).

Ля́д никудышный человек («Весь ля́д — ни укрась, ни покараулить»).

Ля́ля разиня, полоро́тый.

Мала́й невидный мужичонка («Где себе нашла эково мала́я?»).

Матеру́ший огромный («Ты как не боишься эково мате́рушшево?»).

Миро́шник собирает милостыню («Ходит миро́шничат, лишь бы не работать»).

Наря́дчик любитель наряжаться, веселить компанию в праздники.

Нату́жный настырный («В работе-то такой же нату́жный, как отец, будет»).

Немты́рь молчаливый («Што за немты́рь, слова не вытянешь!»).

Ненави́дный некрасивый, неприятный («Девчончишка вся ненави́дна выродилась»).

Порно́й работающий, старательный, упорный («Парнишка-то порно́й — на работе хво́шшетца наравне́ с большими!»).

Призна́ть узнать («Тебя кто призна́т? Мужичи́на вымахал!»).

Приставле́нник любит всех копировать, чтобы рассмешить.

Стрях вспыльчивый, псих («Ну ты, паря, и стрях, никаково слова до себя не допускашь»).

Суту́нок крепыш («Што тебе лисвини́шный сутунок — с ног не сшибёшь!»).

Храпи́на смелый, боевой («Ну-у-у, этот нахра́пом возьме́т!»).

Худо́й плохой («Родима, не ходи туды, там худо́й дядя сидит. Обидит»).

Шемелá непоседа («Шемелá, минуты на месте не сидит»).

Шиши́мора неуклюжая, копуша («Ну и шиши́мора! Два часа крыльцо моет!»).

Шпани́шша шутник, весельчак («Така шпани́шша, надцелись хохотать!»).

Ядь очень вредный, ехидный человек («До чево вреде́н — настояшша ядь!»).

СЕМЬЯ, ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Брате́льник двоюродный брат.

Бра́тка старший брат.

Бухре́тко (бу́ка) домовой («Спи давай, а то бухре́тко выскочит из-за печи»).

Водни́рядь в один слой («Нады рукавицы обшить — водни́рядь пальцы озно́бишь»).

Гбе́ец полка между стеной и печью, где сушили обувь, одежду.

Домови́шше гроб.

Дра́нки старые вещи рвали (драли) на полоски, из них ткали половики, вязали коврики.

Закрю́читца закрыть дверь на крючок («Сени закрю́чь, чужи собаки забегут»).

Зало́жить закрыть дверь на замок снаружи («Уходить будешь — дверь заложь»).

Зату́торить спрятать и не найти («Куды, к лешаку, десятку зату́торила? Нигде нету»).

Зник покой, тишина («И всё-то он в работе — никаково знику не знат»).

Казе́нка кладовка в сенях («Хорошо живут, полна казе́нка мяса да рыбы намо́рожена»).

Каржеве́ть загрязниться («Чё рукавицы-то не выстирашь? Закаржеве́ли уж, не гнутца»).

Красна́ домашний ткацкий станок («Баушка красна́ ставить наладилась. Эти половики не износились, она опеть собралась ткать»).

Кружок коврик, связанный из дра́нок крючком или плетённый.

Лебезно́й тонкий, хрупкий («Рюмки до чево лебезно́й, как бы не разбить»).

Лисвини́шный тяжёлый («У тебя рука-то лисвини́шна — как ударишь, так синяк»).

Малу́ха младшая дочь («Малу́ха тоже незаметно выросла»).

Мамаша свекровь («Без мамаша я бы сроду не управилась, хорошо пособлят»).

Мигáлка лампа без стекла («Зажги ланпу, че́ девка сидит с мигáлкой, глаза портит?»).

Ого́бить устроить, создать условия («Избушку ого́били, живём в тепле и в чистоте»).

Около́дошный живущий в околodge, сосед («Катерина-то от вас не вылезат. Она вам кем доводитца? — Вроде никем, так — наша околóдошна»).

Папаша свёкор («Папаша, ты бы прилёг отдохнул, с утра на ногах»).

Печатка кусок, штука («Сбегай по хлеб, да мыла возьми печатки три-четыре»).

Постегóнка дра́тва (толстая нить для починки валенок, черок, броден).

Стопа́ стены дома до крыши.

Сусе́дко домово́й («Няня, не уходи — я сусе́дку боюсь!»).

Тятя папа.

Углови́к полочка в углу комнаты.

Цело́ вход в русскую печь («Печь-то вы́стынет, цело́ закрой заслонкой»).

Чува́л у русской печи от выюшки до трубы.

ОДЕЖДА

Базарный (ла́вошный) не самодельный, купленный («Надень базарны носки, у них разуватца заставят»).

Бахторма́ внутренняя бахромистая сторона ткани.

Бо́рки складки («Нарядилась се́дни в нову юбку, да ишло с бо́рками»).

Борча́тка длинная шуба с обуженной талией («Ты в борча́тке-то што купчиха!»).

Брю́хнуть раскисать от влаги («Черки́-то разбрю́хли, не высушить будет»).

Взё́м «Сабоги хороши, да взё́м малой, одеть не можно́».

Впро́зелень зеленоватый цвет («Ну до чево баска́ кофта, цветом-ту впрозелень!»).

Высподе́ внизу под чем-то («Я с чево околею? Высподе́ рубаха байкова надета»).

Вытя́гиватца щеголять («Только бы форси́л да вытя́гивался»).

Вы́франтился надел самое лучшее («Вы́франтился — должно, к уха́жёрке пошёл»).

Вязанка вязанный платок («Невеска мне на подарок пухову вязанку отдала»).

Глядит смотрится, выглядит («Юбку сколь годов носишь, а она всё как нова глядит»).

Голоу́шем с непокрытой головой («Хто в мороз-от голоу́шем бегат?»).

Допи́мези до предела («Допи́мези до́жили, нагишом остались»).

Жакётка тёплая женская куртка строгого покроя, верх плюшевый.

Испóдки рукавицы, которые надевались под верхонки.

Испóдница женская сорочка.

Капóт байковый халат («Из бани-то надень байковый капóт, остынешь»).

Катётка цветастый платок («Парень из армии на подарок катётку матери привёз»).

Космачом с распущенными волосами («Не ходи космачом, мужика не позорь»).

Лабуты неуклюжая старая обувь («Нарядилась в жакетку, а на ногах лабуты, да и те мамины»).

Личи́нка волосяная сетка от овода, мошки («Мамаша личи́нок наткала́, нады сетки шить»).

Лóпоть, лопоти́на одежда («Хорошо живут — от лóпоти яшшики лóмятца»).

Лóскнуть заношенный до блеска («Пинжак затаскал, на локтях-то уж лоскнёт»).

Ма́ркий светлый, быстро марающийся материал («А ты чё на работу ма́ркий фартук надела?»).

Мохна́тка рукавица из собачьей шкуры, шерстью наверх.

Наго́ле не прикрыто одеждой (осуждение) («Стыд потеряла, ходит — всё наго́ле»).

На живу́линку кое-как («На живу́ нитку пришила, гляди, штоб не оторвалось»).

Наплати́ть наложить заплату («На коленки наплати́ла холшовину, не знаю, на сколь хватит»).

Наря́дчик «У тебя половчэ-то одёжи нету? Нарядчик и нарядчик идёшь...»

Нахлёстка заплата на обувь («Черки́ все истрепались, нахлёску пришей»).

Оболока́тца одеваться («Тепле́ оболока́йся, на реке не вспотёшь»).

Обóрина уровень оборки, щиколотка («Снегу-то уж по обóрину выпало»).

Обóрки шнурки, завязки («Распустил обóрки, наступишь — упадёшь»).

Обрестова́ть отрезать, укоротить («Шубу обрестова́ла, бегай в обдерга́йке»).

Óпушни самодельные голяшки к черкам, их завязывают оборками, чтобы внутрь не попал снег.

Отóпченки старая, изношенная обувь («Добрых обóток не на́шивала, всю жись в отóпченках»).

Пи́нка английская булавка с застёжкой («Опеть пугвицу потерял, давай хоть пи́нкой пристегну»).

Пологру́дом с открытой грудью («Хоть какой мороз, ты всё пологру́дом. Неуж не мёрзнешь?»).

Полуша́лок шаль небольшого размера, покрывали голову.

Починя́ть зашивать («Прирва́л всю рубашонку, не успею починя́ть»).

Разболока́тца раздеваться (Разболока́йся да проходи — гостем будешь»).

Расфу́фыритца нарядиться напоказ, на зависть («Расфу́фырилась, бытто не работать идёшь, а в клуб»).

Рему́га старая одежонка («Я в таких рему́гах и управлятца не хожу»).

С грязи лóпатца очень грязная («Кофта с грязи лóпатца — не стыдно?»).

Сетка накидка от мошки со вставкой для лица из волосяной личинки («В лесу нонче мо́шки видимо-невидимо. Без сетки съедят за́живо!»).

Собáчина собачья шкура (Шапку из собáчины сшил, дак голова-то што в печке»).

Тéлех изношено до дыр («Сколь годов в одной юбке ходишь? От неё уж тéлеху не осталось»).

Теплу́шка телогрейка, ватник («Сёдни не жарко, хоть теплушонку накинъ»).

Тужу́рка тёплая куртка полувоенного покроя (мужская) («Носи тужу́рку-то, так и так здря виситца»).

Тюрючо́к катушка для ниток («Малённе тебе с Любкой: тюрючки ей дашь — она весь день ими́ играт»).

Форси́стый всегда аккуратно и красиво одетый («Он у вас в ково — любит форси́сто ходить?»).

Франти́ть щеголять, одеваться франтом («Ему бы всё франти́ть, а работа бы на ум не шла»).

Худое рваное («Не стыдно в худых шкёрах ходить? Давно бы сама починила»).

Чепури́ться прихорашиваться у зеркала («Подчепури́сь маленько, в люди всё ж ки пошла!»).

Черки́ мягкая самодельная кожаная обувь с оборками.

Чёсанки нарядные тонкие валенки из белой шерсти.

Шабур домашняя одежо́нка.

Шкёры сатиновые шаровары («А мне мамка посулила шкёры сатиновы к весне сшить»).

ИЗБА

Бокову́шка задвижка у печки сбоку.

Борш 1) борщ (суп); 2) крупные листья, сорняк («Себгоды трава худá, на покосе один борш»).

Бубéнитца прокиснуть, запузыри́ться («Сахару пожалела, варенне всё сбубéнилось»).

Бурду́к кисель из ржаной муки.

Бухма брюква («Нонче бухма хорошо роди́лась, до весны хватит»).

Ва́ря один раз сварить («Мяса-то на одну ва́рю осталось. Ково ись будем?»).

Вдо́сталь досыта («Вдо́сталь нажа́бался, за глаза»).

Верхосы́тка после основной еды — вкусенькое («На-ка, съешь блинчик на-верхосы́тку»).

Визи́га сухожилие у красной рыбы вдоль хребта.

Вино всё спиртное из магазина («Тебе вина красново налить, или ты беленько (водку) уважашь?»).

Волва́шка гриб волнушка («В лесу себгоды рыжиков не видать, одне волва́шки»).

Во́сырь слегка недоваренное, сыроватое («Люблю, штоб картошки во́сырь были»).

Впрóгоречь горячеватое («Молоко-то впрóгоречь, не обожгись»).

Горóшница гороховая каша («Я горóшницу уважаю, каждый день бы ел»).

Губá гриб на дереве, чага («С губóй чай, сказывают, шибко пользителный»).

Губнiк пирог с грибами («Набрал какэсь на дёнышке, на один губнiк хватило»).

Губнiца суп грибной («Сварила бы губнiцу, в охотку все поедят»).

Давóк груз при засолке грибов, капусты, рыбы, кладётся на деревянный кружок.

До отворóта есть до отвала.

Драчéна картофельная запеканка, запечённая в русской печи.

Душнóй специальный посóл с характерным запахом («До смерти люблю душнóво окунька»).

Жаренiна всё жареное — мясо, рыба, грибы («Бычка забили, приходи на жаренiну»).

Жевóк чуть-чуть («Ково дала — мне тут на один жевóк, лени ишшо»).

Желудок в узелок завязался «Ись не могу, аппетиту нету. Желудок уж в узелок завязался».

Забыгать завётриться («Налим-от лежит давненька, забыгал, однако»).

Заваруха каша на воде из пшеничной муки.

Загнётка угол в русской печи, куда заматают угли.

Запáрник заварник для чая («Запáрник сёдни в сельпе взяла, до чево баской...»).

Захря́снуть покрыться коркой («Ешь живо, заваруха-то захря́снет»).

Зацвестi заплесневеть («Булка зацвелá, возьми в казёнке свежу»).

Икрáник запеканка из рыбной икры.

Кавáлок большой кусок мяса, сала.

Кваснiк кислая ржаная лепёшка; из неё делают квас.

Кiсель что-то очень кислое («Сметана испортилась, одна кiсель»).

Коробiца большая берестяная коробка («В коробице муку зачерпни, там просеяна стоит»).

Кружóк деревянная крышка для ёмкостей («Куды-то все кружкi уташшили, ведро нечем закрыть»).

Курёнки беличье мясо с задкóв («Мне заместо задкóв никако мясо не нады»).

Куть кухня.

Лагúн бочонок.

Ланскóй прошлогодний («Картошки свежи едим, а ланскiх ишшо полна яма»).

Лаптук (лафтáк) большой кусок («Куды воходит? Один весь лаптук сала съел!»).

Мáкса налимья печень («На закуску слашше максы никово нету!»).

Мокчён пескарь («Нам доброй рыбы хватáт, мокчёнов не едим»).

Мутóвка палка для помешивания теста, жидкости.

Муя суповая жидкость, муть («Хто эту похлёбку ись будет — одна муя?!»).

Мя́гки свежая стряпня («Я сёдни стряпаюсь, приходите на мя́гки»).

Налéвка сметанная начинка на шаньги («Мне картóшешны шаньги — дáром, а вот налёвны люблю»).

Нару́шать нарезать хлеб («Хлеб нару́шай да ставь на стол — счас обедать придут»).

Не́вдосоль недосол («У́ха-то маленькя не́вдосоль»).

Носу́ря носик у чайника, самовара.

Омзну́ть «У́трешно-то молоко в тепле стоит, омзну́ло успело».

Омоло́сниться впервые попробовать («Омоло́снися, халву первый раз опроверде́дал»).

Опу́пки очищенные желудочки птиц.

Отбить зубы набить оскомину («Не хватай ягоды-то, отобьёшь зубы с непривычки»).

Отымáлка прихватка для чугунков из русской печи («Штаны-то затаскал — хуже отымáлки»).

Ошурки шкварки, остатки от топлёного сала («С ошурками картошки подогрей, вот и наедимся»).

Па́ренки пареная репа, лакомство («Баба па́ренко засушила, пошли поедем!»).

Па́ужна полдник («Он какой голодный? В па́ужну пряник с простокишей съел»).

Па́хтанье сыворотка после смешивания масла сливочного («Я похмелье па́хтаньем лечу»).

Плюши́атка незрелый плоский стручок гороха («До чево сладки́ эти плюши́атки!»).

Подёнки остатки от топлёного масла.

При́гарь подгорелое («Кашу помешай, че́-то при́гарью пахнет»).

Притвори́ть квашню добавить в опару муки («Не забыть бы квашню притворить»).

Приторомко очень сладко, приторно.

Пучка лесное растение с сочным стеблем («Пучки пошли, можно окрошку делать»).

Раствори́ть квашню завести тесто.

Себо́дный нынешнего года урожай («Рыжики себо́дны, стары съели давно»).

Сласти́т нехарактерный сладкий привкус («Картошки-то сластят, подмёрзли в пополье»).

Солби́ший «Хоть ково дай — ест без разбору».

Твори́жники замороженные лепёшки из творога со сметаной и сахаром (лакомство).

Турсу́к заплечный короб для сбора грибов, ягоды.

Убо́ина свежее мясо от недавнего забоя скота.

Уки́снуть стать достаточно кислым («Сметана уки́сла, ташши в дупле́»).

Упровори́ть съесть (За один присест весь калачик упровори́л»).

Хлёбальна чашка миска алюминиевая или эмалированная, в ней ели суп, уху.

Холо́дное студень, холодец.

Чавкани́на нажёванный хлеб, печенье (для совсем маленьких).

Чувáл у русской печи от вьюшки до трубы.

Шарбá уха.

Шáглы рыбы щёчки, челюсти, мясо на жабрах («Одне шáглы остались»).

Шéина мясо от шеи.

Ярушник овсяной хлеб.

Евгения Андреева

Библиотека сказочника,
весёлого и печального

Что читал автор «Жихаря»

*Воину не стыдно плакать над погибшим
товарищем — стыдно не плакать.*

Михаил Успенский

Красноярский писатель Михаил Глебович Успенский (1950–2014) работал в «лёгких», как считается, литературных жанрах — юмористике, фэнтези, альтернативной истории. Сам относил свои сочинения к русской литературной сказке.

Не избалованный вниманием серьёзных критиков и литературоведов, Михаил Успенский пользовался огромным уважением коллег. Так, например, Борис Стругацкий, по-настоящему культовый фантаст, заявлял в офлайн-интервью: «Михаил Успенский — это, вероятно, самый смешной автор, который живёт, а может быть, и жил в России».

В среде ценителей фантастики бытует мнение, что чтение книг Успенского требует некоей искущённости. Особый интерес во всех его книгах представляют отсылки к архетипическим сюжетам мировой культуры и литературы, прецедентным именам и текстам. Как утверждал Дмитрий Быков в лекции «Успенский. Русское чудо» (лекция была прочитана на сороковой день после кончины писателя), «Успенский, юность которого прошла в интеллектуальной среде закрытого административно-территориального образования (г. Зеленогорск Красноярского края), по самой природе своей ориентировался на малый читательский круг, способный считать его „систему паролей“»².

Но и «наивному» читателю доставят удовольствие образный язык, бесконечные остроты, каламбуры и «гэги» Успенского. «Мне бы хотелось, — говорил писатель, — чтобы мои книги читали подростки.

-
1. OFF-LINE интервью с Борисом Стругацким. [Электронный ресурс] URL: <http://www.rusf.ru/abs/int.htm>
 2. *Быков Дмитрий*. Успенский. Русское чудо // Сборник лекций по литературе: Выпуск 2. [Электронный ресурс]: 9 лекций / Д. Быков; читает автор. — М.: Ди Ви Ди — Клуб, 2012. — 3 эл. опт. диска (CD-ROM) (Лекторий «Прямая речь»).

Чтобы они поддерживали человека в депрессии»³. «Мой идеал — старый сказочник, передающий мудрость внукам, а они бегают вокруг, бегают... и в радости своей сами не замечают, как он мирно отдаёт концы...»⁴

Понять индивидуальность писателя Михаила Успенского, его настоящую «идентичность» помогает книжная коллекция, которая после его кончины в 2014 году была приобретена у семьи писателя Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края. Это соответствовало пожеланиям писателя, бывшего добрым другом библиотеки, участником многих литературных встреч, душой и «неформальным лидером» клуба любителей фантастики при библиотеке.

Библиотекой было принято решение о создании в структуре отдела книгохранения «комнаты Успенского», где комплексно размещено большинство книг коллекции, что весьма способствует проникновению в творческую лабораторию писателя. Коллекция эта является большой по объёму (в фонд включено 2380 документов) и энциклопедической по содержанию. Многие издания, которые писатель приобретал во время многочисленных фестивалей фантастики, находятся в библиотеке, а возможно — и в крае, в единственном экземпляре. Собранная в едином пространстве коллекция воочию свидетельствует об огромном, почти, как утверждают друзья и коллеги, невероятном по нашим временам культурном багаже писателя.

Михаил Глебович весьма бережно относился к книгам собственной библиотеки. Книги не снабжались экслибрисами или личной подписью владельца. В них отсутствуют какие-либо пометки, нет загнутых уголков страниц. Лишь дарственные надписи демонстрируют литературные и личные связи писателя: «Мише Успенскому — поздравляю с Новым годом! Успехов, здоровья и всего хорошего в жизни. Пусть наступающий год будет лучше уходящего и воскреснет светлая Россия» (В. П. Астафьев); «Милый Миша, скажу честно — ты, конечно, гений. Но не уезжай от нас к москалям или даже атлантам, которые держат небо, — в Питер...» (Роман Солнцев); «Прекрасному писателю и мудрейшему из всех моих братьев по перу и по пирам — Мише Успенскому от автора» (Эдуард Русаков); «Сатирической персоне нынешней русской литературы (персона — в смысле главенствования в указанном жанре) на память от земляка...» (Евгений Попов); «Мише

3. Успенский Михаил Глебович. Россия — за Камнем // Создатель Жихаря — о разнице между сибирским фантастическим и русским народным патриотизмом: [Беседа с красноярским писателем-фантастом Михаилом Глебовичем Успенским / интервьюер — Владимир Ермольцев] // Русский репортёр. — 2013. — № 6. С. 54–56.
4. Успенский Михаил Глебович. Бахарь: [Интервью с красноярским писателем-фантастом Михаилом Глебовичем Успенским] / Беседу вёл Д. Быков // Литературная газета, 2001, 7–13 марта, № 13. С. 11.

и Нелли с самыми добрыми чувствами, искренним восхищением и пожеланиями самых желанных удач. Сергей» (Лукьяненко); «Мише и Нелли с любовью от Валерии Новодворской»; «Михаилу Успенскому — великому фантазмагористу и версификатору» (Олег Корабельников)...

Основу уникального собрания составляют мировая фантастика, памятники русского и славянского фольклора, мифы и сказки народов мира, священные, философские и эзотерические тексты, сочинения по истории религий и происхождению цивилизаций, книги по диалектологии и исторической поэтике. В круг профессиональных интересов писателя входили книги по антропологии и политическому прогнозированию, социологические исследования и альтернативные исторические теории, средневековые военные трактаты и вопросы экологической этики...

Именуя себя «бахарем», Михаил Успенский постоянно подчёркивал нелюбовь к реалистической литературе: «Вся литература была фантастикой, всё богословие. В китайской литературе не было реализма, в античной — разве только „Труды и дни“ Гесиода — инструктаж какой-то. Авторы рыцарских романов совмещали давно умерших и современных им исторических персонажей не по невежеству. Они прекрасно знали исторические реалии и совершенно сознательно творили фантастический мир»⁵.

Своими учителями и наставниками Михаил Успенский называл Дж. Свифта, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. М. Зощенко, Б. В. Шергина... Гордился тем, что, владея польским языком, ещё в 1970-е годы перечитал в оригинале всего Станислава Лема. Творчество братьев Стругацких оказало огромное влияние на все последующие поколения российских фантастов, но именно Михаила Успенского Борис Стругацкий называл своим прямым наследником. «И ещё один из моих любимых писателей — Рабле. Который был массовым, но в книгах которого столько заключено, что не могут разобраться до сих пор. Может быть, это дерзко сказано, но я пытаюсь делать так же»⁶. Естественно, что фантастическая литература — как книги современных, так и сочинения «старинных» авторов, предшествующих фантастике в современном понимании, — представлена в собрании писателя в блистательном многообразии.

«Оттого и пишу подолгу, что готовлюсь помногу», — говорил Михаил Глебович и работал, обложившись словарями: «Толковый словарь

5. *Успенский Михаил Глебович*. Бахарь: [Интервью с красноярским писателем-фантастом Михаилом Глебовичем Успенским] / Беседу вёл Д. Быков // Литературная газета, 2001, 7–13 марта, №13. С. 11.

6. *Успенский Михаил*. Если в книге две сюжетные линии — воспринимают с трудом. Не публиковавшееся интервью двухлетней давности. [Электронный ресурс] <https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/12/18/62416-mihail-uspenskiy-esli-v-knige-dve-syuzhetnye-linii-151-vosprinimayut-s-trudom>

живого великорусского языка» Владимира Даля, «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» Измаила Срезневского, «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера, «Русский словарь языкового расширения» Александра Солженицына... Это излюбленные словари писателя; вообще же в книжной коллекции Михаила Успенского более пятидесяти словарей, включая такие, как, например, «Словарь индоевропейских социальных терминов» Э. Бенвениста, «Словарь тысячелетнего русского арго» и «Толковый словарь названий женщин» Н. Колесникова, около сорока изданий энциклопедического типа.

Писатель глубоко знал труды отечественных историков литературы и фольклористов Александра Афанасьева, Фёдора Буслаева и Елеазара Мелетинского, Владимира Проппа и даже Юрия Мирянова (писателя, считающегося вероятным автором-фальсификатором Велесовой книги), изучал классиков европейской этнологии и антропологии Джеймса Джорджа Фрэзера, Люсьена Леви-Брюля, Клода Леви-Стросса и других.

Думается, что ни один гуманитарий — будь то историк, философ, преподаватель-словесник или студент — не останется равнодушным к таким изданиям из коллекции Успенского, как, например, «Смех как мировоззрение» Дмитрия Лихачёва, «Поэтические воззрения славян на природу» Александра Афанасьева, «Белая богиня» Роберта Грейвса или «Постижение истории» Арнольда Тойнби... Сложно удержаться от весёлого любопытства, увидев на полке либо в каталоге книги, озаглавленные в стиле «Потерянная книга Энки: воспоминания и пророчества Неземного Бога», «Параллельная мифология», или даже так: «Охотники за головами: магический инвентарь шаманов, ядовитые деликатесы, цивилизация каннибалов, красота уродства, сексуальное гостеприимство, кровавые ритуалы...»

Как известно, основоположник учения о коллективном бессознательном Карл Густав Юнг подлинным выразителем архетипических феноменов считал фольклор. Но и в классических произведениях мировой литературы также прослеживаются повторяющиеся сюжетные линии: странствия героя, возвращение, борьба отца с неузнанным сыном и так далее. В рамках этих вечных самовоспроизводящихся мировых сюжетов и выявленных фольклористами основных сказочных схем сознательно выстроены сюжеты главных книг Михаила Успенского.

Особым расположением писателя пользовался Владимир Яковлевич Пропп — выдающийся советский фольклорист, деревянные и каменные кумиры которого Михаил Успенский своей авторской волей воздвиг в мифологическом пространстве трилогии о Жихаре, идеальном русском богатыре (романы «Там, где нас нет», «Время Оно» и «Кого за смертью посылать»). «Первоначально идея была что-то вроде русской „Алисы“, условное фольклорное пространство, в котором действуют ожившие идиомы. Ну, например, князь образуется из

грязи. Среди вятичей, кривичей, гораздых лечить скотину ветврачей, веселых бонвиван и рудознатцев-колчедан живёт племя многоборцев, им никто не княжит; многоборцам это надоело, они все дружно плюнули на землю, замесили грязь, она вскипела, и в ней зашевелился князь, который тут же стал их строить... Жихарь — это вообще-то я, если скромно»⁷, — рассказывал писатель.

Одним из главных фантастических произведений 1990–2000-х годов признан цикл романов под общим названием «Гиперборейская чума» («Посмотри в глаза чудовищ», «Гиперборейская чума», «Марш экклезиастов»), написанный Михаилом Успенским и Андреем Лазарчуком в соавторстве, в жанре тайной, или криптоистории. Пристрастное внимание к романам со стороны как любителей авантурных сложносочинённых сюжетов, так и знатоков поэзии, обеспечило присутствие в качестве главного героя Николая Гумилёва. Поэт, избежав расстрела, становится Посвящённым, рыцарем-путешественником по эпохам. О замысле первого, ставшего культовым, романа «Посмотри в глаза чудовищ» авторы рассказывали каждый по-своему. «И вот я прочитал „Маятник Фуко“ Умберто Эко и вдруг понял: там ведь нет ничего, чего бы я не знал раньше. А давай, говорю, напишем оккультистскую историю двадцатого века. Пошли мы за грибами, на сопку, обсудили всё»⁸ (Михаил Успенский). Андрей Лазарчук усматривает в возникновении идеи романа момент мистического прозрения... «Слой гумилёвских реминисценций, — отзывался критик Андрей Немзер, — в книге богат и причудлив, хотя и не так бросается в глаза, как другие остроумные историко-литературные аттракционы... Чем дальше продвигался я по роману, тем больше верил: это, правда, про Гумилёва (или даже: это правда про Гумилёва). Это его неповторимое сочетание оккультных игр и внутренней чистоты, эстетства и мужества, мальчишества и учительства, русскости и космополитизма... Это тот непонятый, непрочитанный Гумилёв, о котором таинственно, лаконично и настойчиво говорила Ахматова»⁹.

Самый серьёзный, даже трагический роман Михаила Успенского «Райская машина» написан в 2009 году в традициях социальной сатиры и антиутопии, или, как определил один из безымянных комментаторов на сайте «Лаборатория фантастики», «маскарадапокалипсиса». Первоначальным названием романа было: «В доме отца моего». Автор отказался от этого названия потому, что отсылка к Евангелию от

7. Успенский Михаил Глебович. Бахарь: [Интервью с красноярским писателем-фантастом Михаилом Глебовичем Успенским] / Беседу вёл Д. Быков // Литературная газета, 2001, 7–13 марта, № 13. С. 11.

8. «Больше всего меня поражает нежелание удивить». Беседа с Михаилом Успенским. [Электронный ресурс] <http://old.mirf.ru/Articles/art4579.htm>

9. Немзер А. Взгляд на русскую прозу в 1997 году // Дружба народов, 1998, № 1. С.173.

Иоанна: «В доме Отца Моего обители многи суть», — показала ему излишне прямолинейной. Вероятно, он основывался на известной в западной и постсоветской социологии теории о «золотом миллиарде». В книгах Жака Аттали будущая система описывается так: «Число побеждённых, конечно, превысит число победителей... Они окажутся в загоне, будут задыхаться от отравленной атмосферы, а на них никто не станет обращать внимания из-за простого безразличия»; «деньги покончат со всем, что им может помешать, включая государства»; «человеческое бытие станет артефактом, предметом массового спроса»¹⁰. Далеко не все читатели и критики, привычно ожидавшие от помрачневшего автора безудержной словесной клоунады, приняли роман благосклонно. Инстинктивное, порождённое чувством самосохранения отторжение вызывал страшенький афоризм, как бы случайно обронённый одним из героев романа: «Фашизм — естественное состояние человечества». Но... «для того и создана складная речь, чтобы людей от зверства отвлечь. Да вот беда — срабатывает не всегда!» (Михаил Успенский).

В последние годы Михаил Успенский тяжело переживал утрату высокого статуса русского писателя в современном мире: «Власть поняла, что писатель — существо безобидное и безответное, вроде врача, учителя или пенсионера, и можно на него — наконец-то! — не обращать ну никакого внимания. Писатель как общественный деятель исчез»¹¹, — сокрушался он в статье, написанной на годовщину кончины Виктора Петровича Астафьева.

Стремясь противостоять читательской деградации, в конце жизни писатель издал книги, которые напрямую называл «беллетризованным научпопом», призванные повысить читательскую грамотность подростков, мотивировать их к изучению русской и европейской культуры: «Богатыристика Кости Жихарева» и «Алхимистика Кости Жихарева». Книги эти, свидетельствует Дмитрий Быков, «смешны, как „Янки при дворе короля Артура“, хотя Успенский и жаловался постоянно на усталость и апатию: страшно подумать, чего ему стоило учить детей уму-разуму и добру, когда всё вокруг свидетельствовало о бессмысленности и обречённости этого занятия. А писал он всё равно празднично и триумфально, потому что иначе не умел»¹².

На самом деле, насыщенные особым юмором, полные забавных аллюзий и лингвистической игры, все лучшие книги Михаила Успенского

10. Цит. по: 4. *Осипов Геннадий Васильевич, Кара-Мурза Сергей Георгиевич.*

Общество знания: история модернизации на Западе и в СССР.— Москва: URSS: Либроком, 2013. (Будущая Россия.) 370 с. С.73.

11. *Успенский Михаил Глебович.* Золотое русское слово // Затесь, 2011, № 1. С. 12.

12. *Быков Д.* Успение. Утешений никаких нет, кроме разве мысли о том, что Успенский в раю. [Электронный ресурс] <https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/12/13/62353-uspenie>

несут огромный просветительский посыл, способны увлечь читателя любого возраста и «образовательного ценза». Приведём пример. В трилогии о богатыре Жихаре носителем некоей высшей, апокалиптической премудрости является «высокоучёнейший Коркис-Боркис», автор запретной книги, где «даже буквы одна страшнее другой, а уж складываются они в такие ужасные слова, что и не придумаешь». «...За бесконечный период число вероятных сочетаний будет исчерпано, и Вселенная повторится, — горячился старец. — Ты вновь выйдешь из чрева, вновь окрепнет твоя кость, вновь в твои, те же руки попадёт та же самая страница, и ты вновь всё переживёшь, вплоть до своей немыслимой смерти...» «Продвинутый» читатель распознает здесь (собственно, и цитируемого персонажами «жихарианы») Хорхе Луиса Борхеса. Или, может быть, в первой части имени автор намекает на испанского конкистадора, уничтожившего государственность ацтеков, как уничтожена «дожихарева» цивилизация? Несуществующий автор популярных книжек с созвучным именем — коммерческий проект издательства «ЭКМО»? Карабас-Барабас, наконец? Каждый заполнит в этом забавном кроссворде столько клеточек, сколько захочет, в зависимости от возраста, библиотеки и своего личного читательского глоссария. Во многих случаях отсылки Михаила Успенского достаточно прозрачны: король Яр-тур, «отважный муж древности Дыр-Танан» на жёлтом коне, в котором даже десятилетний книгочей без труда распознает д'Артаньяна...

Теперь, спустя четыре года после ухода Михаила Успенского, становится понятно, что это был серьёзный, феноменально эрудированный автор. Книги из собранной им коллекции востребованы пользователями Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края — любителями фантастики, литературоведами, исследователями фольклора, мифологии, истории и литературы. Его собственные книги, так же как произведения учителей — Аркадия и Бориса Стругацких, зарубежного «двойника» британца Терри Пратчетта и соратников из «четвёртой волны фантастики» — Генри Лайон Олди, Марины и Сергея Дьяченко, Геннадия Прашкевича, Евгения Лукина, — не залеживаются на магазинных или библиотечных полках.

Популяризация творчества Михаила Успенского дарит возможность прикоснуться к интереснейшим культурным пластам, стимулировать воображение и страсть к познанию.

О культурном багаже писателя свидетельствует собранная им книжная коллекция, которая доступна для заинтересованных исследователей в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края.

Ольга Немежикова

«Надо бы вызвать огонь на себя и выжить...»

Поэзия Ольги Гуляевой

Ольга Гуляева. Не Париж: книга стихотворений.— Красноярск: «Литера-Принт», 2015.— 140 с. Тираж 100 экз.

Стихотворения Ольги Гуляевой запоминаются. Она из тех поэтов, к кому лирические герои приходят отовсюду: с улицы, из автобуса, школы, больницы, из кинофильмов и книг. Из бывшего. Её публицистическая поэзия взволнует кого угодно.

Книга «Не Париж» пропитана драматизмом без тени уныния и распада, персонажи её кажутся давно знакомыми, только нам показали их так, что заурядными быть они уже не могут. Многие стихотворения несложно пересказать — эта пылкая нарративная поэзия так и просится в экранизацию, настолько она наглядна и актуальна, неожиданна и свежа.

В ряду современной поэзии в творчестве Ольги Гуляевой обращает на себя внимание едва не забытая сегодня тема Великой Отечественной войны. Её стихи о войне говорят напрямую с сердцем. Бои, ордена, госпитали, привалы. Память и живая боль за каждого, кто стал *одним из пятидесяти миллионов* («Орден Красной Звезды»). Неудивительно, что татуировка на плече молодого человека не могла не отозваться гражданской лирикой самого высокого, яростного накала.

Колотят маршевые припевы,
в три слоя трупы лежат у Ржева;
Она красивая — фрау Ева,
на фоне Евы — немецкий крест.
<...>
Солдаты рейха идут когортой,
за кадром люди второго сорта,
И Гитлер смотрит со снимка гордо —
в Дахау хватит на всех печей.
Как человеку второго сорта,
мне Гитлер нравится только мёртвым,
И мне без разницы, как повёрнут
немецкий крест на твоём плече.
(«Немецкий крест»)

Душа болит за народ — это про Ольгу Гуляеву. Топоним «Не Париж», понятно, провинция, лишь Ангара и Енисей («Она бы не убежала») указывают в книге на Восточную Сибирь. Ольга Гуляева родилась в 1972 году в городе Енисейске. Живёт и работает в Красноярске. Её, как бывшего журналиста, прежде всего волнуют картины постперестроечные.

Это не был урок английского.
Вышивала осень каплями острыми.
Пассажиры с кирпичными лицами.
«Следующая остановка — „Предмостная“».
Шумной стайкой ввалились школьники —
И кондуктору удивлённо: «Здравствуйте.
Вы уволились?.. Вас уволили?..
Нам ничё не сказала классная».
Слово за слово — и до «Острова».
Дальше были слова английские.
Говорила. Поправляла. «А просто ли?
А до бывшей работы — близко ли?..»
А кроссовки у неё были с дырами.
На «Аптеке» школьники выскочили.
Пассажиры зааплодировали.
Ей бы в шляпке... в обществе где-нибудь...
А её в автобус сплюнуло общество.
«Как тебя по отчеству, девонька?»
«Просто Катя. Не надо отчества».
(«Урок английского»)

Однако ни в коей мере нельзя сказать, что взгляд автора устремлён только на «беды народные». Большинство историй рассказано с иронией, которая может как вскипать до сарказма, а то и до инвективы («Приворожите мужа ради Христа»), так и держаться на комфортной температуре юмора. Но самое замечательное, пожалуй, то, что чувств героиням отмерено не меньше, чем легендарным историческим личностям и сказочным героям.

Клеопатра не ездит в Рим.
Клеопатра, царственная особа,
Как нормальная баба, желает, чтобы
К ней спешили сами — воины и цари.

А Египет где? Где он, её Египет?
Брошка с камушком, медный браслет и кошка.
(«Антоний»)

Тема российской женщины из современной провинции в книге преобладает. Взгляд на различные события и на мужчин, которых на страницах немало, узнаваемо женский. Лирические героини Ольги

Гуляевой, вне сомнений, особы земные. Никто не освобождал их от повседневных забот ни о хлебе насущном, ни о детях и стариках. Они либо учатся, либо работают, а то и принимают принудительное лечение, но точно не томятся в роскоши бутиков и райских побережий. При том чувствам в книге, наряду с социально-историческим фоном, отдано сполна: любовь не костыль, а способ бытования души, и наряду с осовремененными любовными ритмами звучат ветхозаветные органные мотивы.

Охранники рьяны, когда стерегут виноград.
В крови заиграли гремучие древние яды.
Столетия назад. На мгновение раньше. Вчера.
Иди же ко мне, господин моего винограда.
(«Виноград»)

Стихи Ольги Гуляевой поражают находками там, где их ожидаешь меньше всего: так, рассуждения о поэзии, о призвании, о сути поэта лирически обращаются к неожиданно убедительному образу зимней птицы.

снегири —
кровавые слёзы
ангелов
на белом
теле
упакованных в холод
кристаллов,
ангелы плачут кровью
алой,
только редко и мало.
(«Снегири»)

Быть может, ещё и потому стихи Ольги Гуляевой не забываются, что перед нами исповедальная опись мира, где автор не прячется за строками, а так и стоит на их баррикадах, за которыми его, автора, правда. *«Надо бы вызвать огонь на себя и выжить»* («Дурацкие книжки»). Он готов: поймут не все и не всё, но на то, что слова не растворятся всеу, он рассчитывать вправе.

Всегда узнаваемая интонация, всегда без проигрышей мощно взятый первый аккорд, чёткая сюжетная линия, до финала не спадающая энергетика строф — в первой своей книге в твёрдой обложке Ольга Гуляева пробует собрать в целое разные подборки, не всегда равнокалиберные. Нередко неожиданные сравнения и метафоры балансируют на грани норм разговорной речи, на грани фола.

Не все стихотворения книги, что называется, прозрачны, но это не особенно беспокоит, как не беспокоит многое, чего в жизни просто не понимаешь и, быть может, не поймёшь никогда. Сокрытый смысл витает музыкой — в страстной лирике Ольги Гуляевой так много всего,

она так умело вбирает детали любого масштаба в интересные строки, что ловишься на восхитительном ощущении, когда к себе через её поэзию *примеряешь мир и понимаешь — тесен* («Субботнее»). Время покажет, какой язык она отточит для своего голоса, потому что книга «Не Париж» воспринимается предтечей книг последующих, в которых каждое стихотворение будет из когорты избранных, каждое встанет на своё место в творческой биографии.

Ольга Немежикова

«Я всё от этой жизни получил...»¹

Рецензия на книгу лирики Александра Ёлтышева «Рваная верста»

А. В. Ёлтышев. Рваная верста: сборник стихов.— Красноярск: ООО «Палитра», 2017.— 148 с.

Обложка цвета ночного неба, снимок Луны, тени влюблённых на скамейке под деревом — так встречает читателя книга Александра Ёлтышева «Рваная верста». Небольшой, приятный ладоням формат. По страницам следуют размышления о судьбе, о прихотливом её маршруте, измеренном поэтической меркой — той самой рваной верстой, испещрённой перекрёстками, развилками и остановками, когда философская лирика перемежается то гражданской, то любовной, то иронической, воспоминания — текущими раздумьями.

Книгу можно открыть наугад, читать с любой страницы, но сколько ни перемешивай — в итоге складывается характерный узор. В нём не встретишь уныния и стенаний: лирический герой при завидном здравомыслии полон жизнеутверждающего пафоса, он неизменно в пути, он любит и любим.

В книге нашлось место сюрреалистическим снам и реальности, городу и родной природе, исцарапанному ветвями небу и земле, сердце которой трепещет обречённым воронёнком. Лирический герой, как любой человек, не избежал блуждания в трёх соснах, болота мелко-темья, житейских слабостей, предательства друга, потери любимых людей. Но такие, как он, не боятся страданий и стычек — словно заговорённым, даровано им возрождение. Видимо, за этим стоит какая-то тайна; вот и у нашего героя есть амулет — осина в осеннем наряде. Лирический герой не из тех, кто хватается звёзды с неба, гордыня и зависть не душат его, он надёжный и здешний — свой, на наших просторах. Рядом с ним близкие и друзья, которым в книге посвящено немало стихотворений.

Булат Окуджава и Владимир Высоцкий, эхо ВОВ, Афганистан и Чечня, перестройка и выборы, Красноярская ГЭС и часовня, что изображена на десятирублёвой купюре, — гражданская лирика Александра Ёлтышева не обошла ни одной для него значимой исторической вехи, будь то личность, событие или сооружение.

1. Рецензия написана для Международного литературного Волошинского конкурса «Лучшая поэтическая книга 2017 года».

Само название «Рваная верста» подразумевает движение со спонтанными остановками, и остановки эти воплощаются в свежих поэтических образах среди прозаического, по-житейски узнаваемого мира:

Тормозни, пилот, за этим облаком —
навешу знакомые места.

Любовная лирика «Рваной версты» чарующе незабываема. Быть может, потому, что на словах скупа по-мужски? Этих стихотворений немного, но каждое волнует бережным отношением к чувству. Облака нежности скрывают вулкан. Взгляд любимой женщины подобен стихии. Лишь образы, спаявшие жизнь и смерть, способны передать его накал. Вспышка имён — и мы в сердце Куликова поля:

Как выдержать твои глаза?
Молчат столетия об этом...
Знать, до сих пор Темир-мурза
летит на гибель с Пересветом.

Всё пространство книги пронизано символикой дороги и изменений, неизбежных в пути.

Опять дорога нас кидала,
Как потрясение основ...

Машины, поезда, суда, самолёты. Звездолёт. Велосипед, сани и даже дельтаплан. Мосты, реки, радуга, море, горы и горизонт. Времена года. И... открытие Америки с коллизией награды. Напоследок — ода колесу, под занавес — ироническая пьеса об азимуте.

На задней стороне обложки — портрет Александра Ёлтышева, бывалого путешественника. Енисей. Осень. Вереницей плывут облака — так в книге одно за другим сменяют друг друга стихотворения о том, что жизнь продолжается.

Авторы



АНДРЕЕВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА

Родилась в Красноярске. Окончила Иркутский государственный университет, по специальности историк. Работала в Краевой юношеской библиотеке, в школе, в Краевом научно-учебном центре кадров культуры, в настоящее время трудится в отделе литературы по искусству Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.



АХПАШЕВА НАТАЛЬЯ МАРКОВНА

Родилась в 1960 году в селе Аскиз Республики Хакасия. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт имени А. М. Горького. Автор шести поэтических книг и многочисленных публикаций в периодических изданиях, в том числе центральных и зарубежных. Призёр международного конкурса переводов тюркской поэзии «Ак Торна» (Уфа, 2011), лауреат премии журнала «Сибирские огни» (Новосибирск, 2015), лауреат литературной премии имени Моисея Баинова (Абакан, 2017). Награждена медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, орденом Совета старейшин хакасского народа «За благие дела». Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Кандидат филологических наук. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Живёт в Абакане, работает в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова.



ВЕСНИНА ТАТЬЯНА

Родилась в Красноярском крае. Окончила Красноярский политехнический институт. Живёт в Норильске, работает инженером.



ГАЙДУК НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился на Алтае в 1953 году. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные курсы в Москве. Российскому читателю известен как поэт и прозаик, автор книг стихов и прозы, вышедших в разные годы в нашей стране и за рубежом: «Калинушка-калина», «С любовью и нежностью», «Волхитка», «Лирика», «Святая грусть», «Царь-Север», «Избранное», «Златоуст и Златоустка», «Зачем звезда герою», «Понять и простить», «Божество пастухов и поэтов». «Для Николая Гайдука характерна пьянящая музыка простора и слова», — так раннее творчество автора оценил один из ведущих российских критиков В. Я. Курбатов. Член союза писателей России.



ГОРОШКИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА

Родилась 5 августа 1982 в Красноярске, где и проживает. Член Союза российских писателей. Приз зрительских симпатий в конкурсе «Король поэтов Красноярья» в 2012 и 2016 годах, в 2018-м вошла в пятёрку финалистов конкурса. Выпустила книгу стихов «Никто не умер», вошедшую в лонг-лист Международной Волошинской премии в номинации «Лучшая поэтическая книга 2016 года». Публиковалась в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Культура Алтайского края», альманахе «Паровозъ». Обладатель приза симпатий портала «Stihi.lv» в номинации «Неконкурсные стихи» на Международном литературном конкурсе «7-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии». Победитель краевого литературного конкурса имени Игнатия Рождественского в 2018 году в номинации «Поэзия».



КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Родился 4 августа 1947 года в селе Строганово Минусинского района, в семье председателя колхоза «Путь Ильича», Героя Социалистического Труда Козловского Д. Х. Окончив географический факультет КГПИ в Красноярске, много лет проработал в Хакасии учителем географии. Первая подборка стихов «Рыжий календарь» появилась в газете «Красноярский комсомолец» в 1970 году. Печатался в журналах «Смена», «Молодая гвардия», «Наш современник», «День и ночь», «Сибирские огни» и других изданиях. Первая книга стихов «Дни осени» вышла в 1977 году по итогам 6-го Всесоюзного совещания молодых литераторов в Москве, проходившего в 1975 году, где он был отмечен в числе лучших среди начинающих поэтов. Потом были 17 книг стихов и прозы. По итогам Всесоюзного совещания в Горно-Алтайске в 1994 году был принят в Союз писателей России. Участник 3-го съезда писателей Сибири в Новосибирске в 1999 году. В октябре 2012-го от Московской городской организации СП России получил литературную премию с вручением медали А. П. Чехова «За верное служение отечественной литературе». Заслуженный учитель школы РСФСР.



ЛЫСЕНКО ДАРЬЯ

Родилась 9 сентября 1988 года в городе Абаза Республики Хакасия. С золотой медалью окончила школу, с красным дипломом — институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Работает в природоохранной сфере. Победительница межрегионального литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэтическая библиотека „Времени“» (2015). Дипломантка II международного литературного конкурса «Верлибр» (2015). Финалистка международного литературного фестиваля «Славянская лира» (2015). Публиковалась в ряде периодических изданий, журнале «Сельская новь», альманахе «Часовенка». Издано

пять авторских поэтических сборников: «Дарья-птица» (2001), «Из-под ресниц твоих» (2002), «Две меня» (2006), «Графика тени и плоти» (2008), «В никуда» (2015). В 2008 году вышла первая книга прозы «Поймай мою душу».



МАМАЕВА АЛЬБИНА РОМАНОВНА

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Живёт в Красноярске.



МАМОНТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

Родился в 1964 году. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 1993 году. Лауреат премии имени Виктора Астафьева в номинации «Проза» (2004). Публиковался в журналах и альманахах «День и ночь», «Дальний Восток», «Октябрь», «Рубеж». Жил и работал во Владивостоке. С 2014 года — преподаватель Красноярского литературного лица, руководитель творческой мастерской начинающих писателей. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь» по прозе.



НЕМЕЖИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Живёт в Красноярске, где и родилась в 1965 году. Окончила с отличием два факультета в КИЦМ (ныне ИЦМиМ СФУ) по специальностям «горный инженер-геолог» (ленинская стипендиатка, 1987), «экономист» (1993). Финалист литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2016). Публикации в жанрах малой прозы, критики — журнал «День и ночь».



ПЕТРОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (1932–2011)

Родился 2 января 1932 года в Туле. В 1954 году окончил историко-филологический факультет пединститута в Куйбышеве (ныне Самара) и уехал учительствовать в глухое степное село. Потом был призван в армию, участвовал в известных событиях 1956 года в Венгрии. После увольнения в запас уехал в Сибирь, в Тюменскую область. Но и на этот раз в учителях не задержался — был «призван» на работу в райком партии. Правда, через несколько лет понял, что по натуре не аппаратчик, а настоящее его место — в газете. Почти 20 лет был журналистом, прошёл путь от «районки» до правительственных «Известий». В качестве собкора-известинца в 1968 году приехал в Красноярск. В 1979 году принят в Союз писателей СССР, и с этих пор «биография» как переход с должности на должность закончилась, остались только книги. Первая вышла в 1966 году в Куйбышеве, последняя («Жизненный круг») — в 2006 году в Красноярске. Были и московские издательства. А всего под его именем увидело свет около 20 изданий, не считая участия в коллективных сборниках, журнальных повестей и тьмы рассказов, очерков, статей в различной периодике.



РУСАКОВ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ

Писатель, журналист. Родился в 1942 году в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт имени А. М. Горького (1979). Работал врачом-психиатром (1966–1981), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при красноярском Дворце культуры (1982–1991), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–1998). Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки. Член Союза писателей России, Международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр, сибирский филиал), экспертного совета благотворительного общественного фонда имени В. П. Астафьева.



СЕЛЯНИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1935 году в Красноярске. Окончил Сибирский технологический институт, готовил диссертацию в МИСИ имени В. В. Куйбышева. В 1963-м, имея статус беженца, жил в ФРГ, Франции. Работал сборщиком утильсырья, грузчиком. Вернувшись в СССР, находился в 1964–1965 годах в заключении в следственном изоляторе на Лубянке. В строительной отрасли Красноярского края проработал более сорока лет. Трудился землекопом, главным экономистом строительно-монтажного треста. Во время перестройки, работая слесарем, организовал и учредил предприятие по производству отделочных строительных материалов. По вероисповеданию — православный. С 1979-го пишет портреты (холст, масло). Работы, экспонировавшиеся на краевой выставке-конкурсе художников-непрофессионалов, отмечены дипломом. Писать прозу начал в 1986 году, жанр произведений определяет как социально-психологическую драму. Автор четырёх книг прозы, публикаций в журналах, альманахах, газетах. Некоторые из иллюстраций к ним выполнены самим автором. Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.



СУТОЦКИЙ СЕРГЕЙ

Родился в 1952 году. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Работает врачом. Пишет прозу. Живёт в Зеленогорске.



ТАРАН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1938–1994)

Родился в Красноярске. После окончания Красноярского медицинского института в 1962 году работал в психиатрической больнице №2 (село Овсянка), потом поступил в ординатуру и переехал в город Дмитров. При жизни издал два поэтических сборника с интервалом в двадцать один год. Первый — «Дежурство» — в Красноярске в 1969 году, второй — «Повторение пройденного» — в издательстве «Советский писатель».



ISBN 978-5-6041944-0-9



9 785604 194409